



В. П. ЗИЛОТИ

■

В доме
Третьякова



В. П. З И Л О Т И

В доме Третьякова



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк • 1954

COPYRIGHT 1954 BY
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

IN TRETYAKOV'S HOUSE

by

VERA ZILOTI

PRINTED IN THE U.S.A.

*Посвящается
дочери Кириене*

ПРЕДИСЛОВИЕ

На первый взгляд воспоминания Веры Павловны Зилоти могут показаться носящими преимущественно личный характер. На склоне своей жизни (Вера Павловна скончалась в Нью-Йорке в 1940 году 74-х лет от роду) она начала писать нечто вроде семейной хроники и успела довести ее вплоть до своего замужества. В ее книге много семейно-бытовых подробностей, много личных характеристик близких ей людей.

Конечно, и в такого рода воспоминаниях есть своя ценность — особенно когда они касаются ушедшего в прошлое уклада жизни. Но в данном случае личные воспоминания имеют еще и значительный общественный интерес. Случилось так, что происхождение и семейные связи поставили В. П. очень близко к самому центру русской культуры. Она была дочерью Павла Михайловича Третьякова, создателя знаменитой Третьяковской галереи, и женой Александра Ильича Зилоти, бывшего не только замечательным пианистом, но и выдающимся деятелем в истории русской музыкальной культуры. Если добавить к этому, что и сама Вера Павловна была отличной музыкантшей и человеком широких культурных интересов, то станет ясно, каким образом ее бесхитрое, не претендующее на особую «литературность» повествование само собой

выходит из рамок семейной хроники и личных воспоминаний.

Можно сказать, что вся атмосфера третьяковского дома, в котором она выросла, была насыщена культурными интересами. «У нас за столом, — пишет В. П. — всё время говорили о картинах, выставках, итальянской опере, о Малом театре, о балете, и симфонических собраниях». Так живопись и музыка сопровождала В. П. на ее жизненном пути с самого детства. На ее глазах создавалась и росла Третьяковская галерея — как неотъемлемая часть семейного быта и центра семейных интересов. Сначала собиравшиеся П. М. Третьяковым картины размещались в самом доме. Когда их накопилось так много, что на стенах комнат для них уже не было места, построили галерею в саду при доме — и вот этот-то домашний музей и стал впоследствии знаменитым национальным хранилищем. Неудивительно, что для В. П., он до конца жизни оставался «нашей галереей».

Атмосфера культурных интересов распространилась и на многочисленную третьяковскую родню. Брат П. М. Третьякова, Сергей Михайлович, как известно, тоже был собирателем картин и вложил в дело создания Третьяковской галереи. Мать В. П. одаренная музыкантша и хорошо образованная женщина, была урожденная Мамонтова, а Мамонтовы и музыкальность, по словам В. П., «стали в Москве синонимами». Особую известность приобрел Савва Иванович Мамонтов, основатель Русской оперы — той самой, в которой расцвел гений Шаляпина, и где были поставлены (в некоторых случаях — впервые) многие оперы композиторов «национальной школы». Из числа Третьяковских родственников и свойственников вышли также такие выдающиеся деятели русского искусства, как К. С. Алексеев-Станиславский и известная художница Якунчикова. Всё это была московская купеческая среда, и если вспом-

нить, что многое из того, о чем рассказывает В. П., происходило в 70-х годах прошлого столетия, то придется внести весьма существенные поправки в традиционное представление об этой среде, как о сплошном «темном царстве» (по Островскому, в интерпретации Добролюбова).

П. М. Третьяков был не только меценатом, покупавшим и заказывавшим картины, а человеком, для которого русская живопись была главным интересом в жизни. При таком подходе к делу у него естественно завязались очень близкие отношения с художниками, некоторые из которых стали его интимными друзьями. Все они часто и на протяжении многих лет бывали в третьяковском доме, многие стали там своими людьми, и это дало возможность Вере Павловне зарисовать их образы, как они сохранились в ее памяти, с любопытными подробностями, приближающими их к нам и их оживляющими. В главе, носящей характерное заглавие «Наши художники», перед нами проходят Перов, Репин, Васнецов, Суриков, Ге, Поленов, Верещагин, братья Маковские, (а в отдельном, посвященном ему очерке еще Крамской) — весь цвет передвижничества!

Такие же интимные, личные связи были у В. П. и в русской музыке. Частым посетителем третьяковского дома и близким другом всей семьи был Чайковский. Позднее, уже после своего замужества, В. П. узнала его ближе и, ссылаясь на это последнее впечатление, она говорит о нем, как «о самой патетической личности», которую ей довелось встретить в жизни. Но тогда, в пору ее молодости, несмотря на всю переменчивость его настроений, Чайковский поразил ее главным образом своим «обожанием всего характерного и бытового», своей способностью «веселиться над каждым пустяком», и своим «невероятным любопытством».

В более романтических тонах изображен Антон Рубинштейн, которого В. П. не знала близко, но которому она была представлена. Первый слышанный ею концерт Рубинштейна был одним из больших событий ее жизни. Впечатление было настолько сильно, что спустя больше чем полстолетие Вера Павловна всё еще помнила не только то, что Рубинштейн играл на этом концерте, но и «до подробностей, как он играл те или иные вещи».

На страницах этой книги появляются еще Николай Рубинштейн, Толстой, Тургенев и другие. В последней части воспоминаний в центре внимания оказывается необычайно привлекательный образ молодого Зилоти, истории своего замужества с которым, не лишённой драматических моментов, В. П. естественно уделяет много места. Зилоти был одним из последних и любимейших учеников Листа, и это дало В. П. возможность встретиться с великим пианистом и композитором незадолго до его смерти. Мы как бы чувствуем веяние духа истории, когда после этой встречи с Листом, В. П. знакомит нас с двумя 14-тилетними учениками Московской консерватории. Одного из них звали Сережа, он «был маленький, толстый, с лицом, круглым как луна, и уморительно говорил «шам» вместо «сам». Другой, «маленький кадетик, очень скромный, симпатичный, лицом напоминавший лягушечку, сыграл свой собственный этюд *cis-moll*, только что им сочиненный». Первый был Рахманинов, второй — Скрябин.

Эти немногие примеры дадут, я надеюсь, некоторое представление о том, что можно найти в книге Зилоти. Есть в ней еще и другое — для меня, по крайней мере, очень ценное. Вера Павловна писателем не была и литературных задач себе не ставила. Но ей как-то удалось передать и атмосферу московской жизни того отдаленного времени, и своеобразное очаро-

вание подмосковного пейзажа — хочется думать, не очень изменившегося. О нем она говорит верными и трогательными словами: «Нет ничего дороже, ласковее душе и московскому сердцу — подмосковной скромной, милой природы. Ходишь и хвалишь Бога».

М. Карпович

О Т А В Т О Р А

Хочется записать то, что еще живо и дорого в воспоминаниях о жизни в нашей Белокаменной, о жизни — когда-то...

Говорю «когда-то», т. к. я почти накануне моих 70-ти лет и чуть ли не полвека, как покинула ее. Скоро 15 лет, как занесло нас за море-океан, в Нью-Йорк, в этот новый Вавилон.

Хочется сохранить эти воспоминания для тех, более молодых близких, которые, несмотря на нашу кажущуюся бездомность, несмотря на весь наш типично-русский интернационализм, всё же остались русскими в глубине души.

Не столько хочется описать факты или картины, сколько типы и атмосферу жизни нашего именитого московского купечества в тот quasi Медичивский период, среди которого я имела счастье родиться и вырасти.

Это не будет ни в какой степени чьей-нибудь биографией. За хронологию не ручаюсь. Напишу по «живой хронологии», как будет вспоминаться. Мои, быть может, слишком подробные описания «Толмачей» смогут послужить материалом для истории галереи, когда-нибудь. Не умею избегать и длиннот (мы ведь воспитаны на Тургеневе) — и это в стиле нашего поколения.

Во всем мире качества отдельных личностей, народов и рас, более или менее, в зависимости от степени культурности — однородны, общи, почти тождествен-

ны; а недостатки так разнообразны. Чем развитее жизнь, тем однороднее высокие качества и разнообразнее особенности, слабости, а иногда и пороки. Вспоминаю слугу Н. С. Зверева, Матвея, который говаривал: «Жизнь — углубленная и несть ей ни в чем конца»...

Лишь бесконечный «контрапункт» качеств с недостатками образует индивидуальность. Коли любишь человека лишь за его добрые качества — не значит ли слепо любить? — так как понимать его и ценить можно лишь видя и любя и недостатки, то есть всю личность. Федор Иванович Буслаев этому учил меня, когда пришел со мной познакомиться и подарить мне свои книги, в декабре 1886 года, когда я стала невестой Александра Зилоти, его ученика и любимца Москвы.

Постараюсь описать людей, с которыми мне довелось познакомиться, встречаться, видаться или даже жить вместе — объективно, по своему разумению. Часто буду говорить об их недостатках, характерных для их образа и личности. Может быть напишу то, что мне потом покажется, что лучше было бы и не писать, — возможно. Часто любила я кого-нибудь из родных или друзей десятками лет, не задумываясь, хороший ли это был человек. Пленяешься иногда всего более их кажущимися слабостями. Не ради сплетни, не ради осуждения буду описывать правду, как она мне представляется. Верю, что любя или жалея, не оскорблю образов, всё уходящих вдаль...

Я на сто процентов «Московка» (как называл меня впоследствии Владимир Васильевич Стасов) — люблю мою родную Белокаменную, люблю ее ушедший быт.

25 июня, 1936 г.

Нью-Йорк.

В ДОМЕ ТРЕТЬЯКОВА

Г л а в а I

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Помню — была у меня няня-Таня; высокая, стройная, милая-милая; она баловала меня. Я знала, что была у нее где-то дочка Саша; я понимала, что няня-Таня любила нас обеих; она часто плакала, мне было ее так жалко и я еще больше любила свою няню-Таню. Впоследствии, когда она нас навещала, то приходила с нею и Саша; моя мать платила за нее в гимназию. Помогать образованию молодежи было как бы специальностью мамочки всю жизнь.

Помню — как я, проснувшись утром, сидела в кровати с игрушками, а няня-Таня, давно вставшая и уже одетая, пила чай за столом, у окна; и как приходил наш истопник, Григорий Иваныч с большой кочергой; заходил раза три помешать угли в лежанке, в углу детской; в последний раз он собирал кочергой красную, горячую золу, захлопывал медную заслонку, закрывал трубу в стене и уходил до следующего утра. А то приходил он с жирным, желтым блином в руке — замазкой, со стамеской и тряпкой, замазывать окна и щели на лежанке; запах замазки нравился мне и на всю жизнь остался связанным с воспоминанием о Григории Ивановиче, с его желтыми, мочалистыми волосами, хитрыми глазками и доброй улыбкой.

Помню и другое: когда кончали обедать в нашей угловой столовой, — приходил с большущим подносом наш преданный слуга Андрей Осипович собирать

стаканы со стола; стаканы большие, граненые, все в ямочках; он сажал меня, необыкновенно маленькую по годам, на поднос, а рядом со мною ставил стакан за стаканом, и перед тем, как уносить нас в буфетную, производил, кладя за щеку палец, какой-то необычайный, меня пленявший звук, что было словно свисток, — и мы неслись опрометью через «антрэ» и ставились на буфетный стол; стаканы снимались, а я летела на подносе обратно в столовую и ставилась на обеденный стол, то перед мамой, то перед папой, который обыкновенно после обеда за столом читал газету, куря свою единственную в день сигару, и, увидав меня на столе, тер нос платком совсем по-особенному, ухмыляясь.

Помню — проснулась я как-то утром и мне сказали, что сегодня мое рождение и что мне три года. Мне подарили куклу Лизу, с длинным, лайковым туловищем, фаянсовой головой, с голубыми глазками, кривыми бровками и фаянсовыми, черными локонами. Как непохожи были наши старые куклы на теперешние! А как мы их любили! Вскоре подарили мне брата ей, такого же брюнета, но с гладенькими фаянсовыми волосами, с атласными, черными ногами, в плисовых шароварах и в русской рубахе. Я назвала его Серей; я слышала, что папу-крестного звали Сергеем, я его любила и мне нравилось сходство этих созвучий.

Папа-крестный, единственный наш дядя со стороны Третьяковых, крестил нас всех шестерых. Меня, как первую, крестили с особым торжеством; рассказывали, что вся купель была в маленьких, живых розанчиках.. Крестной моей была бабушка, Александра Даниловна, мать моего отца. Николай Николаевич Мамонтов, брат моей матери, шутил, что приехал на крестины нарочно для того, чтобы убедиться, что действительно родилась у него племянница: он еще так недавно отплясывал вальс со своей сестрой в день ее именин, 16 сентября.

Папа-крестный заходил к нам в детскую каждый день, когда по делам приезжал в контору к своему старшему брату, Павлу Михайловичу в Толмачи.

Павел Михайлович души не чаял в брате Сереже. Ведь они остались после смерти отца своего, Михаила Захаревича, почти мальчиками, 16-ти и 17-ти лет. Оба торговали в лавке; оба с юности беззаветно любили искусство и скромно собирали картины: сидя в райке, млели перед великими актерами, московскими и приезжими — заграничными, и оба обожали оперу.

Павел Михайлович на всю жизнь сохранил к брату нежность и заботливость, хотя впоследствии не всегда соглашался с его образом действия в его общественной деятельности в качестве городского головы города Москвы; не любил снобистических и генеральских замашек его жены, Елены Андреевны, и приписывал ей дурное влияние на мужа; печалился этим и страшно его жалел.

Павел Михайлович почти никогда не говорил о своем детстве, однако, помню, как-то рассказывал с большим юмором о том, как хаживал к ним в лавку, в рядах на Красной площади, какой-то «странный человек», странник что ли, который молился и просил подаяния, но если кто-нибудь ему отказывал, то он сердился и грозно кричал: «Я ти взвóщу, я ти взбуте-теню». Это отец нам рассказывал, смеясь до слез, и с чувством восхищения перед красочностью этих непонятных слов. Любил он вспоминать, как они с братом Сережей на Бабьем Городке ходили в купальни на «Москва-реку» с мальчиками Рубинштейнами, Антоном и Николаем, у отца которых была неподалеку карандашная фабрика. «Николай Григорьевич был *большой* шалун», — прибавлял Павел Михайлович с милой, лукавой улыбкой, так как знал, что таяли перед Николаем Григорьевичем не только он сам и все мы, но и вся Москва.

Странно, а в сущности и не странно, а естественно, что эти детские товарищеские отношения гораздо позже дали основу чудесному дружескому пониманию между этими четверьмя людьми, жившими всю жизнь служением искусству, каждый в своей сфере; у Павла Михайловича было главным образом поклонение гению братьев Рубинштейнов, а у Сергея Михайловича, кроме того, была с ними близкая душевная дружба до конца дней.

Как минуло мне три года, ушла от нас няня-Таня и что-то скучно стало; да и дни были серые, короткие. И слышу я, как-то утром, за столом, как отец говорит тете Манечке, наливавшей ему кофе, что мамочке что-то нездоровится, а погода прибавил, как он рад, что Тимофей Ефимович, с женой и старшей дочкой Оленькой, собирается приехать из Саратова к нам погостить.

Через некоторое время, в непроглядное осеннее утро, когда еще горела над столом большая, керосиновая лампа, под которой отец читал матери, между глотками кофе, «Московские Ведомости», услышали мы звонок «на парадной» и снизу голос Андрея Осиповича: «Павел Михайлович, Тимофей Ефимович приехали». Через несколько минут в столовую, быстрыми шагами, вошел человек среднего роста, плотный, курчавый, с проседью, с тонким носом, сияющими голубыми глазами, приветливой улыбкой, с бодрым и в то же время нежным голосом. Вот каким я вижу в моей памяти, более чем через 70 лет, Т. Е. Жегина.

Помню радость моих родителей, объятия, поцелуи.

За Тимофеем Ефимовичем шла дама, полная брюнетка, — смутили меня ее черные усики, — а за дамой шла барышня, стройная, голубоглазая, с русыми косами вокруг головы, красивая и такая милая.

Т. Е. Жегин был Саратовским купцом, с которым Павел Михайлович вел дела. Когда и где они подру-

жились, до сих пор не знаю. Женат Т. Е. был на Е. Ф. Шехтель, из саратовской немецкой колонии. Было у них пять красавиц-дочек. Дядя Тима привез мне в подарок маленькие, золотые ножницы. Я наглядеться не могла на них. Взяв в руки, я их больше не выпускала и, держа около уха, сжимая и разжимая их, с блаженством слушала звук трущейся стали; в конце концов, разумеется, я оцарапала себе ухо. Папа испугался, отобрал у меня ножницы и сейчас же, своими длинными руками, повесил их на люстру, над обеденным столом; а сам, вечером, вернувшись из магазина, с Ильинки, принес мне такие же золотые, маленькие ножницы, но с тупыми концами. Но это были — не те...

Не вспомню, сколько лет висели эти ножницы у меня над головой, манили, дразнили; а папа часто, видя меня сидящую с глазами, устремленными на люстру, тер свой нос платком, постепенно складывая его, и с хитрой улыбкой декламировал: «Зелен, зелен виноград»; или на распев поддразнивал: «Взять Верку под сомнение давно бы уж пора». Мне это казалось тогда очень обидным. Не могу себе представить до сих пор, откуда папа выудил эту фразу; наверное, как театрал, — из какой-нибудь оперетки, подставив имя — Верка.

Дядя Тима разъезжал то в Саратов, то снова к нам. Вносил столько уюта, веселости. Не помню за всё свое детство, чтобы мой отец так тепло и нежно относился к кому-нибудь из своих друзей.

Наша дружба с Оленькой росла. Ее вывозили. Уезжая в оперу или в гости, она показывалась нам, разодетая. Ах, как она была мила; как я ее обожала! Но вдруг пришел этой радости конец. Пролетело три, четыре месяца, Жегины уехали от нас, обещали мне прислать маленькую сестрицу; и мне захотелось, чтобы ее звали Оленькой.

Первого марта действительно родилась у меня еще одна сестрица, но ее назвали Любой. Я была безутешна. Лишь милая тетя Манечка сумела успокоить и утешить меня тем, что Люба будет именинницей в один день с мамочкой и со мной.

Скоро мы услышали, что Оленька выходит замуж за Алекс. Максим. Попова, сына известного московского суконного фабриканта. Следующей осенью она привезла с собой к нам своего мужа; была мила, но это уже не была *моя* Оленька, а чья-то чужая.

В то самое время, когда у нее родился сын, Коля, у ее матери в Саратове, тоже родился сын, и тоже Коля. Помню, как родители наши поехали в Саратов; мамочка моя должна была быть крестной матерью; главной же причиной поездки была долгая болезнь дяди Тимы; собственно родители поехали его навестить, а может быть, и проститься с ним навсегда. Вскоре после крестин Коли и отъезда наших, Тимофей Ефимович скончался. Часто, часто вспоминали наши родители своего друга.

Г л а в а II

У НИКОЛЫ В ТОЛМАЧАХ

Церковь Св. Николая Чудотворца, что в Толмачах, — стояла среди Замоскворечья, к югу от Москва-реки, за Канавой. Обнесенная белой каменной решеткой, церковная земля занимала угол, на перекрестке Малого и Большого Толмачевских переулков. Очевидно, в старину жилали здесь, толмачи, переводчики. (Слово толмачи происходит, я думаю, от немецкого слова Dolmetscher).

На этой земле, среди плакучих берез и кустов сирени, стоял белый каменный домик, для просвирен и богоделок. Церковь была не очень старая и не интересная, особенно внутри; живопись была сравнительно новая и мало художественная, но любила я смотреть на ангелов и архангелов, по одному в каждом из четырех углов сводчатого потолка, в каждом из трех приделов «зимней церкви». Икон, ни старинных, ни чудотворных, не было.

Приводили нас маленькими к началу службы и ставили рядом с тетей Манечкой; а когда стали побольше, — сами приходили, одни, из дому, через сад и становились рядом с нею. Она учила нас, как стоять, как креститься и кланяться. То ласково ткнет в спину, чтоб напомнить не смотреть по сторонам, то, встав на колени, дернет нас за подол платица, чтоб и мы опустились на колени.

Наш батюшка, Василий Петрович Нечаев, обладал

необычайно верной интонацией в возгласах; они были обдуманно, торжественно, убедительно и трогательно. Были у него маленькие, сонные глаза и заплывшее лицо, старавшееся казаться строгим; мы его не боялись и любили. Он был большим ученым богословом, а впоследствии, овдовев, принял сан архиерея. Тогда я была уже далеко, на западе. Когда мы стали взрослыми девицами, Василий Петрович приходил нас учить катехизису, истории церкви и не прочь был побеседовать о старообрядцах, которых не любил. Он всегда кончал урок словами: «Ну, деточки, вот оно вещи какие!».

Мы знали попадью Варвару Никифоровну, — высокую и стройную, и всех дочерей, очень образованных и красивых, и сына студента-медика. Мы ходили поздравлять Василия Петровича в день его именин и любовались массою чудесно вышитых (шелками или бисером) подушек, лежавших на мебели красного дерева.

Дьякон наш, Федор Алексеевич, внешне был идеальным типом апостола; на службах, обладая симпатичным, круглым баритоном, как нельзя более гармонично вторил батюшке.

И дьячок наш старенький, и толстый пономарь, и трапезник — пели верно, чисто, всё такие простые напевы; но часто делали и такие витиеватые переходы в херувимских и других важных молитвах, что нельзя было не заслушаться. Это осталось для меня, в воспоминании, идеальным церковным православным пением. Пели они часто, по словам батюшки и «по крюкам». Позже я поняла, что это были, в большинстве случаев, напевы нашего обихода; многие из них я нашла впоследствии у Кастальского. Особенно трогательно были рождественские, «постные» и пасхальные напевы, о которых до сих пор не могу без внутреннего волнения вспоминать. Всё, и продажа свечей, и сбор

денег, велось чинно — без тени торгашества. Бесменным старостой был Андрей Николаевич Ферапонтов, (у него на Никольской был магазин церковных книг и вообще духовной литературы). Андрей Николаевич с женой своей, Елизаветой Мефодиевной, были люди хорошего образования; Елизавета Мефодиевна была любезная, «тонная» дама. Их дочери и четыре сына были хорошо воспитаны, почти «породисты», а некоторые и красивы. Их младшая дочка Серафима, наша сверстница, длинноногая шалунья, слабенькая и, как нам казалось, избалованная, очаровывала нас почти до зависти свободою своих красивых движений. Когда няня ее, уже десятилетней, приводила в Церковь и ставила на «место» около церковного ящика — то мы слышали тихий голос ее матери: «Вот и наша красавица пришла». Мы их знали лишь по приходу.

Папа ходил изредка ко всеобщей, а к ранней обедне — каждое воскресенье и во все большие праздники; становился совсем впереди, недалеко от амвона, носом в угол около мраморной, квадратной колонны; скромно, тихо крестился, подходил тихонько ко кресту и шел домой пить кофе с мамочкой и тетей Манечкой, которая приносила всегда несколько просвирок, «вынутых» и «невнутых»; мы были любителями последних, которые тетя Манечка позволяла есть с меньшей осторожностью.

Мамочка ходила в церковь редко; ходила не столько молиться, сколько из-за пения и из-за настроения; становилась в конце церкви на возвышении рядом с нами и с тетей Манечкой. Слушая любимые старинные напевы, сама, от души, невольно подпевала, часто слезы умиления блестели на ее серых, лучистых, миндалевидных глазах с длинными ресницами, и выражение лица ее бывало такое особенное. Любила преждеосвященные обедни, и вспоминала, как ее брат Валериан — на Разгуляе — певал «Да исправится», в алтаре в трио мальчиков.

Мы по воскресениям ходили в церковь по обязанности; нас поднимали в шесть часов к ранней обедне. Когда мы подросли и обленились, наша старая горничная Катя нас будила-будила. Я-то вскакивала легче, а сестра Саша — любила поспать. Катя топталась-топталась по комнате, подварчивая: «С вечера не уложишь, утром не добудисься». Шли мы сонные, чуть-чуть светало; в церквях Замоскворечья, — где ударяли, где благовестили; галки и вороны сонно каркали, зяблось...

«Для себя» — любили мы ходить во время Великого поста в Великую Пятницу на вынос Плащаницы, а в Великую Субботу ходили «Христа хоронить»: четыре часа утра, весна, тепло, у церкви вербы распускаются, солнце встает, поют «Воскресни Боже». Потом дома красили яйца. Весь день ждали вечера. В шесть часов спать ложились и думали, как нас разбудят одеваться к Заутрени. Теплая ночь, в саду по дорожке в церковь горят шкалики с купоросом; вот ударил колокол на Иване Великом, вот подхватили колокола всех Сорока Сороков нашей белокаменной.

Батюшка Василий Петрович с тройным, золотым подсвечником в руках, в котором горят три красные, перевитые золотом, восковые свечи, с букетом гиацинтов от мамочки, привязанным лентой к подсвечнику; и отец дьякон с кадилом, — оба в золотых ризах шли на «Гроб Господень» через паперть; за ними крестный ход двигался вокруг церкви с грустным песнопением; мы, внутри в умилении, ожидали стук в запертую чугунную церковную дверь; дверь распаивалась, врывалось радостное «Христос Воскресе из Мертвых» и толпа молящихся, с пылающими свечками, вносила в церковь столько огня, света, радости, а с платьями — и весеннего воздуха.

Свое незабываемое настроение бывало и в сочельник. Тетя Манечка не ела, ждала «звезды». Я и

сейчас, когда вспомню, о кануне Рождества, пою себе «Рождество Твое Христе Боже наш» и «Дева днесь При-существеннаго рождает». Выйдешь, бывало, от вечерни — смеркается; холодно на улице, а на душе тепло, а дома ждет большая, еще неукрашенная, елка. Пахнет смолой, и наши детские души полны ожиданием юного, веселого зимнего праздника Младенца Христа. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение»...

Г л а в а Ш

Н А Ш И Т О Л М А Ч И

К церковной земле, с севера, примыкал участок, принадлежавший братьям Третьяковым; между Малым Толмачевским и, параллельным ему, Лаврушенским переулком. (Там стоял наш дом, с садом и службами. Мы назвали его «Толмачами»).

Въезд был с Лаврушенского переулка. Вдоль него тянулась каменная ограда с чугунной решеткой, со стрелками наверху; посреди ограды были железные ворота. Всё было выкрашено в светлую краску. Ворота весь день были открыты, а на запоре бывали только ночью. По бокам ворот были железные калитки. Внутри двора, у правой калитки, стояла деревянная сторожка для дежурного дворника (дежурили и день и ночь). Направо, во дворе, вдоль переулка весь угол занимало большое каменное здание с «галдереею» и навесом. Здесь помещалась наша кухня, где готовили нам два повара, Иван Ульянович и сын его Адриан Иванович; затем шли: кухня, людская, прачешная, кладовая, с большим подвалом: там спали кухарки, прачки и коровница Арина, всё народ помоложе. Подалее, направо, по северной границе земли, стоял двухэтажный каменный, светлый домик, где жили и обедали приказчики; у них была отдельная кухарка. Между этими двумя зданиями был громадный погреб с подвалами для запасов на зиму: кислой, шинкован-

ной капусты, соленых огурцов, моченых яблок и так далее.

Налево от ворот стоял каменный каретный сарай; около него конюшни для наших лошадей; затем, параллельно южной границе, шел каменный забор, отделявший наш двор «господский» от «заднего двора», где под длинным навесом стояли полки и сани для перевоза товаров. А рядом конюшни для наших ломовых лошадей. В углу заднего двора находилась «дворницкая», под тенью церковных и наших деревьев в саду; там жили: кучер наш Сергей Максимович со своей женой — Еленой Фоминишной, конюха и дворники; а после смерти Сергея Максимовича его заменил кучер Петрович; благообразный и чрезвычайно симпатичный. Посреди двора, против ворот, стоял наш дом со стеклянным подъездом.

Он выстроен был давно, без фундамента, на бугре. В двенадцатом году горел с одного угла; чей он был тогда — не вспомню, вероятно знала когда-нибудь. От левого угла дома, вровень с фасадом, начинался сад, отделенный от двора оградой, шел до самого Толмачевского переулка, во всю ширину нашей земли. Сад был обсажен, по левой — церковной стороне и по переулку, — большими, раскидистыми, серебристыми тополями, дававшими летом черную тень. Зрели в нем китайские яблоки, цвели кусты сирени, шиповника, жасмина. Весной пестрели клумбы крокусами, тюльпанами и гиацинтами, которые мамочка с тетей Манечкой пересаживали из горшков после зимы; а летом — неизвестными нам тогда цветами. Гордо росли «штампованные» розы, всех сортов, самых редких, от белых до темно-пунцовых. Кое-где стояли, под тополями, скамейки.

В деревянном заборе, шедшем вдоль Толмачевского переулка, были две калитки. Одна, на юге, по дороге в церковь, мимо «будочника», который жил с оравой ребят как раз между нами и церковью, а дру-

гая, на севере сада, — вела к домику «Маленьких Третьяковых». Так называли сестер тети Манечки — тетю Аню, тетю Лизу, тетю Наташу и тетю Надю; были они все маленькие, худенькие и черненькие. Тетя Манечка и тетя Надя были в молодости, наверное, очень хорошенькими; тетя Манечка была оригинальна и привлекательна и позже. Не знаю, сохранился ли теперь где-нибудь ее портрет в черной кружевной косынке, на голове, — работы Н. В. Неврева, который был большим поклонником ее красоты.

Они были дочками Ивана Захарьевича Третьякова, брата нашего дедушки Михаила Захарьевича. Жена Иван Захарьевич был на Александре Петровне Владимировой; они жили все на Бабьем городке у Ивана Воина.

Рассказывали, что мамочка возила меня, маленькую, на Бабий городок, показать матери тети Манечки.

После смерти родителей маленькие Третьяковы переехали в Толмачи. Павел Михайлович построил для них, в нашем саду, бревенчатый домик, словно маленький скит; как его строили я не помню. При доме был у барышень и дворик, и сарай, где они разводили кур. Они чудесно готовили, и мы ждали, как праздника, поесть у них постного пирога с маком или вареньем, прямо со сковородки.

Все окна выходили в сад (на ту же сторону). Тетя Надя и тетя Наташа — два дружка — спали в одной комнате. На их окне стояли всегда цветы: герань и бегоний. Была у них угловая крохотная «зала» и, рядом, гостинная, с мебелью красного дерева, от их родителей; обито было всё штофом винного цвета; лежали филейные салфеточки, бисером шитые подушки; но всё настроение создавали старинные образа, с громадными темными ликами, в киотах с темным стеклом, перед которыми горели всегда лампадки. Это был для нас — маленький рай. Там девицы молились, постились, вспоминали, наверное, свою моло-

дость, свои разочарования, и может быть, и счастливые минуты...

Слыхала я, что Павел Михайлович выстроил этот домик «под крылышко» тети Манечки, чтоб ей было покойно за сестер. Она каждый день ходила к ним, а в постные дни у них обедала. Сама же тетя Манечка жила в большом доме и жила там с тех пор, как переехали в него Третьяковы с Бабыяго городка, от Ивана Воина. По моему расчету — в начале 50-х годов. Комната ее была наверху; ее итальянское окно, в центре дома, под карнизом, смотрело в сад; потолок низкий, уютный, почти рукой достанешь; по бокам окна, в обоих углах низенькие, полукруглые шифоньерки полированного ореха, а над ними по два образа, один над другим, как и у «Маленьких Третьяковых», с громадными темными-темными ликами: Иисуса Христа, Божьей Матери, Иоанна Крестителя и Николая Чудотворца. По праздникам тетя Манечка зажигала перед ними лампадки, красные, таинственные...

В комнате было два выхода: один, против окна — в «темненькую», проходную комнатку, ведущую и на чердак; другой направо в детскую, куда меня перевели с Машенькой Соц, после ухода моей няни-Тани.

По ней я тосковала и была рада спать рядом с тетей Манечкой: я могла, подняв ногу на высокий порог, одним махом очутиться в ее комнате.

В углу, у двери в «темненькую», стояла постель тети Манечки, полированного ореха, дальше по стене, ближе к окну, диван красного дерева с малиновым штофным сидением; над ним висело длинное зеркало, перед окном стоял стол, на котором тетя Манечка, постукивая на счетах, сводила расходы по хозяйству. По правой стороне около моей двери стоял причесывательный столик, и висело зеркало поменьше; а между двумя дверьми — старинная стеклянная шифоньерка, полная самых соблазнительных вещиц: фарфоро-

вых фигурок, вазочек, бронзовых и мозаиковых итальянских шкатулок.

«Что это, тетя Манечка?» — «А это осталось после покойницы Елизаветы Сергеевны, матери Коли Третьякова». Позже слышала я от тети Ани, что Елизавета Сергеевна Третьякова, первая жена Сергея Михайловича, перед смертью, подарила всё это на память своему лучшему другу — Машеньке. Так звали тетю Манечку папа и мамочка.

Как себя помню, — в детстве, и в юности и в молодости, и позже уже замужем, — часто сиживала я в этой комнате на красном диване. Сколько всего было переговорено, пересказано милого и дорогого с тетей Манечкой, моим верным другом, всегда всё понимавшим.

При выходе из тети-Манечкиной комнаты, в проходной «темненькой» комнатке, в углу налево, между дверьми, стояла железная кровать, покрытая белым пикейным одеялом, с горою белых, высоких, взбитых подушек. Здесь спала Степанида Захаровна, высокая, худощавая старушка, в белом чепчике. Когда ей было всего шестнадцать лет, она поступила прачкой в служение к бабушке Александре Даниловне и проработала в нашей семье всю свою долгую жизнь.

Часто, утром рано, в коридоре, или на лестнице, я встречала Степаниду Захаровну; мы ее любили и радовались с нею поболтать:

— Здравствуйте, Степанида Захаровна.

— Здравствуйте, милая барышня.

— Хорошо ли вы спали, Степанида Захаровна?

— Ничего, барышня, только вот он-то всё, батюшка, сегодня ночью по чердачку как похаживал, туфельками, как пошлепывал и гудел: у-у-у!

— Да кто же это, Степанида Захаровна?

— А хозяин-то...

И делалось так страшно, что убегала подальше от «темненькой». А потом спросишь тетю Манечку:

— Да кто же это? Домовой?

— А это, — имени которого в жизни и помянуть никогда не надо.

И верилось, и не верилось (но было страшно).

В «темненькой», насупротив двери тети Манечки, была дверь, всегда запертая на ключ. Бывало тетя Манечка, когда ярко светило солнце и пахло весной, вдруг утром скажет: «А сегодня я пойду в темненькую убирать шубы на лето». Брала свечку и связку больших ключей; мы шли за ней следом; отпиралась дверь; спертый, пропитанный перцем и камфарой воздух бросался в нос и начиналось очарование. Входили через маленькую «темненькую» в большую, где стояли громадные деревянные сундуки, другие — кованые, и большие и поменьше; все на запоре.

С утра еще раздавался снизу крик Андрея Осиповича: «Марья Ивановна, скорняки пришли». Во дворе, около погреба, выставлялись длинные столы. На них скорняки, в больших фартуках с рукавами, раскладывали шубу за шубой и все «пóльта», по очереди, и выколачивали их палками, задавая безумную ритмическую гонку; то крупными ударами, то перебоем, то мелкой дробью; мягче по меху шуб, громче, когда палки ударялись о стол. Шуб наших, шуб приказчиков, шуб прислуг и кучеров, и тулупов дворников — было видимо-невидимо. Лишь к вечеру скорняки едва успевали кончить работу и спешили, чтобы получить начек. Днем их, конечно, кормили сытным обедом. Наши шубы приносились наверх, укладывались у тети Манечки в «темненькой» в красные деревянные сундуки; а другие — укладывались внизу, где-то в подвалах.

Сколько радости бывало, когда тетя Манечка открывала сундуки с мамочкиными старыми платьями, бальными с гирляндами цветов и с маскарадными костюмами. Особенно любили мы костюм «Marguerite de Valois»: эти бархатные фижмы, кружевной, накрахма-

ленный воротничок и светлый парик. Глядя на них, вспоминали мы, как давно, когда мы были совсем маленькими, мамочка с братом Николаем Николаевичем поехала раз вечером к Боткиным, — Дмитрию Петровичу и Софье Сергеевне, на маскарад, одетые в подлинные костюмы остяков, вышитые монистами, в монгольских масках. А на другое утро, когда мы пришли пить кофе, мамочка только что вернулась с маскарада, сидела в стеганом своем халатике и белокуром, высоком парике, утыканном шпильками с рубинами. Вся голова ее блестела, и улыбка сияла на ее лице. Такая она была красавица! Тетя Манечка и папа слушали ее рассказ, как было весело и у Боткиных, и у Каминских: они успели побывать на двух маскарадах в один вечер.

Был сундук и у тети Манечки. Там лежали куски бархата, кружева, масса шелков и вышивок. — «А это чье, тетя Манечка?» — «Это покойницы Елизаветы Сергеевны, матери Коли Третьякова». В «темненькой», направо в стене были какие-то полукруги: «Что это такое, тетя Манечка?» — «А это были арки, под картинами залы. Когда Сергей Михайлович женился и «задавал балы», то отсюда музыка гремела, а после, — их заложили кирпичем, после того, как Елизавета Сергеевна скончалась»...

Далее, наверху, окнами на север, были две «девочки». Первая, проходная, с чугунной лестницей вниз, в буфетную; вторая, проходная, с деревянной лестницей вниз в «ванную комнату» мамочки, рядом с ее спальней, чтоб горничной ее было ближе бежать на ее звонок, одевать «Веру Николаевну». Третья девочка была большая, непроходная. Сколько перемен видела эта комната!

При входе в дом через стеклянный «подъезд» — было «антрэ». Все мы, конечно, выговаривали это слово по-французски, но прислуга наша выговаривала по-русски: нравилось им это неведомое слово.

От «парадной» шел широкий проход внизу по середине; вверх с четырех сторон подымались ступеньки до средней площадки, с которой в «бель-этаж» вели только две лестницы в противоположные стороны. «Антрэ» было очень торжественно: на стенах были медальоны (копии с барельефов Торвалдсона). Обе лестницы кончались площадками, на которых стояли лепные высокие лампы и висели зеркала. Ковер на желтых мраморных ступеньках лежал красный с зеленым и синим. На площадке с большим итальянским окном во двор, над подъездом, стояли пальмы, в деревянных громадных кадках с железными обручами.

Налево, с тремя окнами на фасад, шел мамин кабинет. Узкий и холодный, а потому почти целый день в нем топился дровами камин, дававший много уюта; за нею, в два окна во двор, была спальня, где родилась я, Саша, Люба и Миша. А раньше там родились у покойницы Елизаветы Сергеевны, — Коля и Машенька (в честь Машеньки — тети Манечки), после рождения которой и умерла Елизавета Сергеевна — 18-ти лет от роду.

Направо от площадки с «антрэ» была высокая-высокая зала, угловая, — три окна выходили на фасад, а четыре — в сад, видом на церковный двор и церковь.

В зале стояли два концертных рояля Бехштейна и с десятков громадных тропических деревьев, тоже в деревянных кадках с железными обручами: филодендроны, аруокарии и пальмы. По середине залы, когда в доме были маленькие дети, — лежал ковер с ящиками кубиков и деревянных кирпичиков. Рядом с залой, с двумя окнами на церковь, была синяя штофная проходная гостиная, с двумя трельяжами, с полочками, уставленными тюльпанами и гиацинтами, которыми были полны все подоконники «парадных» комнат: залы, гостиных и столовой. По середине гостиной стоял большой круглый стол с тяжелыми, сафьянными-

ми, с бронзовыми застежками, альбомами знаменитых европейских галлерей. Перед тремя диванами стояли овальные столы с тяжелыми скатертями с бахромой и кистями; лепка потолка и все предметы в комнате были со сценами из охотничьей жизни; с бронзовыми медведями, газелями, лисою, волчатами и т. п. (остаток прежнего величия обстановки Сергея Михайловича и Елизаветы Сергеевны).

Затем шла угловая столовая, с окнами в сад и на Толмачевскую Церковь. Между залой, гостиной и столовой дверей не было, — были арки, по две симметрично. Потом по линии сада, с тремя окнами, помещалась наша детская.



В нижнем этаже, направо от «парадной», была небольшая передняя. Там висели пальто и шубы нашего отца и там же раздевались гости. За передней помещалась товарная кладовая, где был склад полотна и разных полотнянных изделий, выделываемых на фабрике братьев П. и С. Третьяковых и К. Я. Кашина в Костроме. Кладовая эта выходила на, как ее называла прислуга, «галдерею» с навесом, по которой носил нам буфетный мужик еду из кухни, через двор. Дальше, окнами на ту же «галдерею», находилась лакейская, где жил много лет и впоследствии скончался наш дорогой друг Андрей Осипович. Умер Андрей Осипович когда мне было лет тринадцать, умер от чахотки, оставив двух сыновей: Колю и Васю и жену Настасью Васильевну. Коля — Николай Андреевич Муругиленко, с молодости служил при Третьяковской галлерее, где остался и после ее «национализации» советским правительством. Вася служил на фабрике в Костроме.

Налево от «парадной» была передняя для конторщиков, а за нею, окнами на Толмачевскую Цер-

ковь, как раз под нашей залой, помещалась контора. Помню, в детстве моем, контора занимала всего две комнаты; во второй работало, сидя на высоких стульях перед своими конторками, друг против друга, только двое: Павел Михайлович и бухгалтер наш Петр Игнатьевич Щуров.

Под гостиной был в те годы папин зеленый репсовый кабинет, ставший впоследствии коричневым. Рядом с кабинетом, под столовой, находилась угловая комната, завешенная и заставленная, как и две следующие, выходявшие окнами в сад, — картинами в рамах и просто «полотнами», которые Павел Михайлович мыл и реставрировал.

Помню с детства: «Севастополь», громадную картину Филиппова; «Привал арестантов» Якоби; «Последнюю весну» Клодта, а также ряд портретов Кипренского, Тропинина, Брюллова и др. Брюлловский портрет кардинала Ланчи наводил на меня ужас остротою выражения лица. Помню и мою симпатию к лицу Гоголя, написанного Моллером.

В столовой долго висели картины Щедрина, Лагорио и Брюллова. В гостиной картины часто перевешивались, уносились вниз и заменялись другими. Внизу, в трех комнатах, становилось всё теснее. Мы иногда ходили туда с родителями и папа нам показывал новые приобретения, как бы между прочим. Мы смотрели с любопытством и не без волнения, несмотря на то, что нам с Сашей было не более шести и пяти лет.

Интриговала нас контора. Проходя внизу под лестницей «антрэ», мы слышали таинственный стук «щет». Считать быстро на счетах могли все конторщики; но отец довел это «искусство», как мне представлялось, до головокружительной быстроты. И когда мамочка случайно, бывало, спрашивала Андрея Осиповича, дома ли Павел Михайлович, Андрей Осипович

пович отвечал: «Слышно, Павел Михайлович в конторе на счетах считают».

Часто по утрам эта музыка шла дуэтом с Петром Игнатьевичем, а то трио с Романом Васильевичем Кормилицыным, главным конторщиком, а то и целым хором — с конторскими «мальчиками».

Петр Игнатьевич был очень симпатичный, кроткий образованный человек, в противоположность жене своей Елене Семеновне. Он был среднего роста, с проседью, с голубыми глазами, в которых светилась доброта и преданность.

Для меня бывало праздником, когда мамочка пошлет за карандашами, конвертами и бумагой к Петру Игнатьевичу; он их давал с такой лаской и вниманием. Я звала его «Петригнатечкой».

Елена Семеновна же была «типом из Островского»: маленькая, невероятно толстая, с щелками, вместо глаз, крючковатым носом и одутловатым, красным, лоснящимся лицом; голос у нее был сладкий и в то же время скрипуче-кислый. Даже в детстве мы не могли понять как мог милый Петригнатечка жениться на такой женщине.

Шестого октября 1866 года, в один день со мною, родился у них сын, Сережа. Наш отец крестил его и помогал его образованию. Сережа Щуров остался в памяти комическим или даже траги-комическим типом среди наших сверстников. Когда он, маленьким мальчиком, приходил к нам играть, в голубой шелковой рубашечке, был он очень миленьким, наблюдательным и находчивым. Щурил глаза и как-то смешно моргал. — «Зачем ты, Сережа, щуришься?» — спрашивали мы его. — «А затем, что имя мое — Щуров». Приходил он также с матерью поздравлять с праздником Веру Николаевну, на второй день Рождества и Пасхи; в «дамский» день, в отличие от первого дня — «мужского». Будучи еще подростком, как-то рано утром пришел

Сереза к своему крестному, Павлу Михайловичу, сообщить о внезапной кончине своего отца. Все в Толмачах были опечалены.

Потеряв отца, жил Сереза со своей матерью, где-то на Пятницкой, в Замоскворечьи, а учился в коммерческом училище, на стипендии Павла Михайловича. Сереза был очень способный, но воспитание его хромало и среда, очевидно, начинала его заедать, да и сам был непокладистого характера.

Кроме обычных поздравительных визитов, стали Сереза с матерью приезжать к нам и на дачу, раза два в лето, в воскресенье.

«Ну, Сереза, как твои дела?» — как-то спрашивает Павел Михайлович. Сереза молчит минуту, две, три, облизывается и моргает. Елена Семеновна сконфузилась и говорит: «Серезенька да ответь папаше крестному». — «А это я и сам знаю, мамаша, ответьте, если умеете», — выпалил Сереза и потупился. Что-нибудь, наверное, не ладилось, а лгать не хотелось. А в другой раз приехали они в полдень, в неистовую жару. Сели за завтрак. На столе стояли запотелые графины, один с водой, другой с квасом. Тетя Аня, старшая сестра тети Манечки, постоянно проводившая с нами летние месяцы на даче, заботливо предлагает: «Серезенька, да ты бы кваску-то выпил», — «Я жрать хочу, а вы меня кваском да кваском», — сказал с упреком Сереза. Обнесли блюда с пирогами с разными начинками. Через минуту, заметив пустую тарелку, тетя Аня спросила Серезу: — «Что же ты пирога то не скушаешь? Возьми кусочек». — «Да у меня есть». — «Да где же?» — «Да вот он», — как-то с налету пробурчал Сереза и вынул из под скатерти, зажатый в руку, кусок пирога с морковью. Всё это выходило у него прекомично и нас веселило.

Когда он окончил коммерческое училище, они приехали в начале лета, после выпускных экзаменов, благодарить Павла Михайловича за прежнюю, а также

и за будущую стипендию в Практической Академии. Сережа стал большой, плотный, с маленькими усиками. Увлекался гимнастикой и стал свободнее держаться. Мы его спрашиваем: «Ну, как живешь, Сережа? Небось рад, что окончил училище? Чего доброго еще скоро женишься?» — «Тоже, губа не дура! Невест — хоть ворота запирай», — говорит быстро, щурится и самодовольно улыбается. Опять хохоту не было конца.

Через несколько лет, окончив Академию самым блестящим образом, он женился на очень милой, хорошенькой и умненькой девушке, окончившей гимназию, из купеческой семьи. Она у нас охотно бывала. Когда мы ею восхищались, Сережа облизывался, моргал и, гордо улыбаясь, говорил: «Уж я ли не знаю как невест выбирать!» Была она с ним несчастна, и с каждым годом всё более. Был он, говорили люди, грубый и жестокий. Она бы зачахла, если бы не хватило у нее характера уйти от него. Наша мать жалела молодую женщину и старалась ее утешить и подбодрить; да и отец наш был всецело на ее стороне и о Сереже более не упоминал. Елена Семеновна вскоре умерла, а Сережину (бывшую) жену мы потеряли из виду. Как бы мучился бедный «Петригнатечка», если б всё это мог видеть.

Вспомнилось мне сейчас, как он приходил в пасхальную ночь разговляться с нами и «маленькими Третьяковыми» у нас в Толмачевской столовой. Приходил с ним иногда и Михаил Михайлович Шумовский, главный бухгалтер в нашем магазине на Ильинке, тоже пресимпатичный, скромный, образованный человек.

После заутрени и ранней обедни, часа в четыре утра, повар наш Иван Ульянович и сын его Адриан Иванович приносили нам кулич и пасху, украшенную сахаром, цветами и окруженную яйцами всех цветов и христосовались со всеми нами.

Разговевшись, — мы не засиживались, так как с девяти часов начинали приезжать поздравители и надо было всем нам, женщинам, быть на местах.

Рано утром, во всю длину столовой, накрывался стол, с белоснежной скатертью, заставленный самыми вкусными праздничными яствами: пасхой, куличами, громадными окороками ветчины, телятины, украшенными полосками «галантира», бесконечным рядом закусок и водок. Над всем царствовал фаршированный каплун, «specialité de la maison».

На конце стола, спиною к проходному «маленькому антрэ», сидела тетя Манечка, за самоваром и кофейником на «комфорке», как сидела она всю свою жизнь, разливая нам чай и кофе, а сбоку сидела спиною к гостиной Вера Николаевна и целый день угощала приходивших гостей. «Снимался» стол после пяти часов, когда бывало уже пора накрывать к обеду, к шести часам. На второй день праздника всё это возобновлялось, а подъедалось в последующие дни, что бывало для нас самым веселым.

То же самое происходило и на Рождество.

В первый день бывали многие, которые нас навещали лишь два раза в год, на Рождество и на Пасху, и о которых мы почти забывали. Главным же образом заезжали родственники, друзья и более близкие знакомые.

Нашу мать все страшно любили, а потому старались подогнать свои визиты так, чтобы успеть к нам к 12-ти часам: вкусно закусить, согреться, посмеяться, отдохнуть и лететь снова «Христа славить».

Вспоминается мне и словно встают, как тени прошлого, разные образы, и странные, и милые. Являлся всегда какой-то великан фантастической оригинальности — Егор Егорович Гикиш; под вечер приезжал Павел Петрович Боткин, старый холостяк, сладкий, круглолицый, как луна, ценитель красоты вообще и женской — в частности. Прелестный гоголевский

тип он целовал мамочкины руки так долго, говорил с типично-боткинским скрипом столько любезностей, что ей это, ясно, наскучивало, а мы не знали, куда деваться, так жалели ее и только ждали, чтобы он поскорее ушел. А тетя Манечка угощала чаем и ехидно подшучивала и дразнила Павла Петровича. Еще позднее заходил Николай Ефимович Рачков. Мы всегда его ждали. Он был не очень яркий художник, но воспитанный и веселый. Делал разные едкие замечания и рассказывал смешные вещи. Он приходил иногда к нам обедать в городе и приезжал и на дачу (в нашем детстве). Мы смеялись над тем, что казалось нам понятным и над тем, что не могли понять, но заражали смехом всех вокруг.

Заходил и Сергей Николаевич Лодыженский, который довольно часто обедал у нас запросто, когда не было гостей. Сергей Николаевич был добрый, застенчивый человек, но бывал и весел и шутлив у тех, где чувствовал себя хорошо; проделывал разные шалости, за столом сажал сестру Сашу, еще маленькую, к себе на колени, брал ее ручки в свои длинные «грабли» и играл на столе, как на клавишах. Говорил он в нос, а пел и в нос и выделял в тоже время что-то необычайное своими губами. Мы любили слушать песню «На фартучке петушки, шиты в тамбур гребешки», «Дай балалайку — на балалайку!» Его приход бывал для нас праздником. Он был врачом в московской глазной больнице, на Тверской, вместе с профессором Маклаковым.

На второй день праздника приходили дамы: «маленькие Третьяковы», Прасковья Петровна, двоюродная сестра их и Павла Михайловича, дочь Петра Захаровича Третьякова, знавшая весь свет: шумливая, «сплетница», неглупая, и очень добрая. Затем — Екатерина Федоровна Вагина, двоюродная сестра матери мамочки. Екатерина Федоровна была очень старенькая, и немного сгорбленная, но ясно было, что, при

ее тонкой фигуре, горбатым носе и черных глазах, она была в молодости прямо красавицей. «Тетя Настя», Анастасия Самсоновна Куклинская, приходила со своими племянницами, Соней и Верой Блезе, страшными театралками, за что мы их очень любили, — и разговорам нашим не было конца. Тетя Настя была старенькая, худенькая, всю жизнь дышала на ладан и прожила очень долго; она была как бы «соткана» из нервов, всё чувствовала, всех жалела и всем помогала, сколько могла. Она и Екатерина Федоровна Вагина знали мамочку и ее сестру Зину с детства и очень любили их. О тете Насте буду еще рассказывать в этих воспоминаниях.

Приходили учительницы городских школ, в которых мамочка была попечительницей, учительницы училища глухонемых, где попечителями были оба наши родители. Всё это был народ молодой, милый, все наши друзья; кто — мамочкины, а кто помоложе — наши. Приходила масса мамочкиных стипендиатов в школах, в семинарии Чепелевской, в гимназиях и т. д., — веселые, живые. Имя им — легион.

Приходила наша попадья Варвара Никифоровна; затем жена нашего доктора Юргенса, Анна Карловна, модная и любезная, да и много других дам, просто не припомнишь.

Сестры нашего отца и нашей матери сидели дома и сами «принимали». Отец наш, будучи страшно занятым человеком, ездил к родным и знакомым только в праздничные дни, разделяя число этих визитов на три части: на Рождество, на Новый год и на Пасху.

В день Нового года у нас принимали всех приезжавших с поздравлением, но закуского стола не накрывали.

Г л а в а I V

Т Р Е Т Ъ Я К О В Ы

Тетя Аня заходила к нам, в Толмачи, почти каждый день. Она была единственной из сестер тети Манечки, которая жаждала «социальной жизни»; радовалась бывать у нас и проводила лето с нами, где бы мы не жили. Спала она тогда вместе с тетей Манечкой в одной комнате.

Тетя Аня обладала большой памятью и наблюдательностью, а потому знала много из жизни; как я могу судить теперь, была она объективна и благожелательна. Была очень некрасива и, возможно, мало симпатична моим обоим родителям. Так мне это казалось, по крайней мере. Мы, дети, ее более жалели, чем любили. Часто я уводила ее после обеда, или чая, на угловой диван в столовой. Она любила рассказывать, а я любила слушать о прежнем, неведомом. Шли бесконечные расспросы. Она беседовала со мною, с ранних лет моих, как со взрослой, как с другом. О жизни, какой она была в ее представлении и понимании, и «сладкой и горькой», по ее же словам. На мой вопрос никогда не слышала от нее, что это мне рано знать; но, подумав, находила всегда ответ или объяснение, меня удовлетворявшее.

Это был и есть тот источник, из которого я черпала и черпаю до сих пор, что знала и еще помню о Третьяковых, а отчасти и о Мамонтовых.

Про дедушку, Николая Федоровича, про бабушку

Веру Степановну, про мамонтовский дом на Разгуляе, (так называлась одна улица в восточной части города), — я слыхала от мамочки.

Часто под вечер, перед обедом, она ложилась отдохнуть в синей гостиной, на самом длинном из трех диванов; клала под голову подушку, ее мягкой, бархатной изнанкой к лицу и, заслонив рукой глаза от ламп, — дремала. Я садилась к ней близко, прижавшись, и тихо ждала, как она «всхрапнет», а затем открывает свои близорукие глаза, улыбнется и начнет рассказывать про свое детство, свое отрочество, свою юность и как она выходила замуж за папочку. Для меня это была сказка, уносившая далёко-далёко.

Мамочка и тетя Аня были и остались моим «живым архивом».

**
*

Буду рассказывать словами тети Ани, добавляя тем, что видела и слышала сама.

«Дедушка твой, Михаил Захарьевич Третьяков, был добрый и жалостливый. Сниматься никогда не хотел и не осталось после него ни одного портрета, ни писанного, ни даггеротипного. А с батюшки нашего Ивана Захарьевича — даггеротипы, которые ты видела, висят у нас в маленьком домике». Действительно, даггеротип был занятный: лицо Ивана Захарьевича с длинным носиком, висячими вниз волосиками, с милым птичьим выражением глаз, похоже было на какого-то типа, могущего быть «из Гоголя». Портрет его жены Александры Петровны, масляный, работы Николая Васильевича Неврева, висел в гостиной маленького домика, неподалеку от тети-Манечкиного.

Дедушка Михаил Захарьевич женился на Александре Даниловне Борисовой, из купеческого рода; родилась она в 1812 г. «при французе». Получила образование, даже брала в молодости уроки на форте-

пиано, и, помню, как-то, по нашей просьбе, когда мы, одни подросточки, были в комнате, сыграла нам полонез Огинского, «тот самый полонез» — сказала бабушка — «который Огинский сыграл в оркестре и тут же застрелился». Сыграла бабушка наизусть, с ритмом и чувством, и на нас эта пьеса произвела большое впечатление.

Языков бабушка, собственно, не знала; но немного понимала или догадывалась. Была она некрасивая, с громадным умным лбом, маленькими серыми глазами, горбатым носом и выдвинутым, вероятно к старости, подбородком. Росту она была выше среднего, фигура была представительная. Одевалась она прекрасно: с утра в корсете и носила на голове великолепные наколки, большие светлые из лент и кружев, спускавшихся на плечи. Была стильная. Казалась она строгой и недоступной. Ее прекрасный портрет, работы Репина, написанный в бытность жизни его в Москве, в начале 80-х годов, висел в галлерее. Портрет этот передает бабушку целиком.

Михаил Захарьевич умер рано; было у них с Александрой Даниловной одиннадцать человек детей. Старшим был Павел Михайлович, родившийся 15 декабря 1832 года, в день Св. Павла. Вторым родился Сергей Михайлович, затем шли Елизавета и Софья Михайловны. Позже родилось, по словам самой бабушки — шесть детей. Был между ними Даня, была Саша; других как звали, я забыла.— «Две страшные эпидемии скарлатины, ходившие по Москве, унесли всех шестерых маленьких деточек; трое умерло в одно время; три гробика стояло рядом в церкви у «Ивана Воина», — рассказывала мне бабушка, когда я была уже взрослой девушкой, — рассказывала и смотрела куда-то вдаль...

Около 1850 года, кажется в год смерти Михаила Захарьевича, родилась их младшая дочка, Надежда Михайловна.

Позже, когда я подрастала и, особенно, когда выросла, я имела два случая убедиться в либеральности и глубокой сердечности бабушки и моей крестной матери.

Нас детьми она не любила, но была на то совсем особая причина, о которой расскажу позже.

Жили они с Михаилом Захарьевичем у «Ивана Воина» на «Бабьем городке». Михаил Захарьевич торговал полотняными товарами в рядах на Красной площади. Были ли с ним в деле его братья Иван и Петр Захарьевичи — я никогда об этом не слыхала. Сыновья Паша и Сережа помогали отцу в лавке. Где и когда мальчики учились, тоже не знаю; но оба, и папа, и дядя Сережа — писали красиво и литературно. Полагаю, что образовали себя, главным образом, они сами. Дочки же получили прекрасное домашнее образование, знали великолепно языки, все литературы; имели самых известных в то время учителей. Знаю это по тете Наде, которая ничем не отличалась от следующего, нашего поколения.

**
*

Михаил Захарьевич случайно набрел на одного молодого человека, показавшегося подходящим помощником в лавке; он был гораздо старше его сыновей. Михаил Захарьевич сразу оценил его коммерческие способности, его честность, доброту, отзывчивость и преданность. Звали его Владимиром Дмитриевичем Коншиным.

Когда Михаил Захарьевич умирал, он очень беспокоился о своей старшей дочке Лизаньке, которую он очень любил; ей не было в то время и 16-ти лет и была она слабого здоровья. У Александры Даниловны любимицей была Сонечка. И вот, Михаил Захарьевич, перед самой смертью, позвал к себе Лизаньку и стал умолять ее дать ему слово, что она, после его смерти, выйдет замуж за Владимира Дмитриевича. Лизанька,

обожавшая отца, не могла отказать ему и обещала. Схоронив отца, через некоторое время, она повенчалась. Владимир Дмитриевич души в ней не чаял. С женитьбой на Елизавете Михайловне, он стал товарищем в деле ее братьев; которое разрослось под фирмой «Братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин».

Я помню только Коншинский дом на Пречистенке, чудесный особняк второй половины 19-го столетия; там мы бывали, еще подростками, на семейных обедах.

Владимир Дмитриевич был большим хлебосолом. Был романтиком и «родился поэтом», как говорил он сам про себя; любил нежные романсы, которые напевал с пафосом и со слезою в голосе. В жизни много любил и много любили его. При недостатке образования, у него была редкая деликатность, тактичность и умение жить с людьми; что ему помогало в торговых сношениях с московскими и приезжими купцами, льнопрядильщиками и льняными фабрикантами; умел дела делать и любил угощать.

Наружность была у Владимира Дмитриевича необыкновенно изящная: он был выше среднего роста, поражали красотой его фигура, руки и ноги. Одевался элегантно и с изысканным вкусом. Носил баки, под старость их красил и нередко мы замечали, что на солнце один бак бывал лиловым, а другой зеленым. От него веяло спокойной величавостью. «Спокон веков, его называли английским лордом», — говорила тетя Аня. Его «выезд» в коляске на паре породистых лошадей — был картинен. Когда он приходил разодетый и раздушенный к нам на семейный обед, мы бежали ему радостно навстречу и громко кричали: «Здравствуйте, милый дядя Володя». — «Какой я тебе дался дядя Володя? Я тебе дядюшка Владимир Дмитриевич». Тогда мы стали его встречать попрежнему ласково, но не без некоторого скрываемого ехидства: «Здравствуйте, милый дядюшка Владимир Дмитриевич». Тогда он нежно и много раз нас целовал: и в нос,

и в глаза, и в щеки; и в полном удовольствии говорил: «Ну, здравствуй моя милая, очень рад тебя видеть, моя умница».

**
*

Вскоре после смерти Михаила Захаревича и свадьбы Елизаветы Михайловны — братья Третьяковы купили дом у Николы в Толмачах, и переехали в него с Бабьяго городка¹.

Красивый, веселый Сергей Михайлович собирался жениться на маленькой, тоненькой, «хорошенькой, как куколка», 16-тилетней Елизавете Сергеевне Мазуриной. Самому жениху было едва 20 лет. Отдельвали Толмачевский дом сообразно новым вкусам.

Павел Михайлович поселился внизу, рядом с конторой, в двух комнатах, где спал и собирал картины.

Павел Михайлович был очень высокий, худой, немножечко сутуловатый, с русой бородой, удлиненным носом, карими глазами, под густыми, «как лес», бровями, длинноватыми, белыми зубами, длинными руками и до того тонкими пальцами, что они, в конце миндалевидных ногтей, были не толще листа бумаги; руки красивые и характерные для его личности.

Когда он был серьезен, он был похож на отшельника со старинных, византийских образов, но его ласковая и часто лукавая улыбка заставляла сразу усомниться в этом определении. Еще меньше его можно было принять за «архимандрита», как, подшучивая, называли его в его семье. По общему же мнению — он больше всего был похож на англичанина.

Павел Михайлович жил замкнуто, рано вставал, «с петухами», читал «запоем» книги, после чаю шел в контору, потом в лавку. Вечером, когда бывал сво-

¹ Эти владения сохранились до наших дней, и были во время революции 1917 года «национализированы», как и все владения вообще.

боден, с юных лет потихоньку «удирал» в театр или оперу (концерты тогда были еще редки). Боготворил Базио, сестер Маркези, Ольдridжа, Живокини, Самойлова, Щепкина и всю плеяду звезд того времени. Постами не постился, но, из принципа воздержания, выбирал себе на весь Великий пост одно какое-нибудь блюдо: либо рябчика с соленым огурцом, либо шницель с яйцом и огурцом и т. п. И это одно блюдо ему подавалось ежедневно к обеду. В другое время пил кофе со сливками, хлебом и маслом; он не был крепок здоровьем, а работал уже и тогда за десятерых.

Когда бывали гости «наверху» — он запирался у себя вниз: либо сказывался больным, либо в отъезде. Но у него лично бывали друзья из художников, которых он приводил иногда представлять сестре Сонечке, жившей с маменькой (как называл Павел Михайлович всегда свою мать) и с сестрой Надей внизу в двух комнатах, смежных с его комнатами.

Сонечка была величественная, выше среднего роста, худая, с темными, пушистыми волосами, темными умными глазами и большой черной родинкой на щеке. Она при большом образовании, уме и доброте — умела пленять и властвовать.

Весь бельэтаж был отведен для «молодых».

Зала аршин 8 вышины, с хорами, с мебелью по стенам, обитой желтым штофом, с драпированными, штофными ламбрекенами с тяжелой бахромой и тонкими тюлевыми занавесками, на всех семи громадных окнах и тяжелыми штофными драпировками на обеих «арках», ведущих в «аванзалу», т. е. проходную синюю «Damas» гостиную, через которую еще две арки вели во вторую, угловую розовую атласную «большую» гостиную. (Это была наша будущая столовая). Столовая же была в той комнате с лежанкой, где я прожила мои три первые годы жизни. Обедала вся семья вместе, со старенькой гувернанткой Амалией Ивановной и несколькими самыми старыми при-

казчиками. Обедали с ними и Машенька (наша тетя Манечка).

Как переехали Третьяковы в Толмачи, — стали они ездить на дачу в Сокольники, так как Сонечка была слабого здоровья. Чтобы было ей веселее, приглашали на лето с собой Машеньку Третьякову, тоже здоровья слабого. Прошло лето, другое, — и так полюбили Машеньку, что больше ее домой не отпустили. И осталась она навсегда жить в Толмачах, в своей комнатке.

Спальня молодых была в той же комнате, где лет двенадцать спустя жили наши родители.

Когда Сергей Михайлович давал балы во время своего жениховства, играл оркестр на хорах, толпились красавицы и их кавалеры; танцевали «до упаду», «до зари».

Невеста переодевалась в вечер по три раза; то в вишневое-бархатное, с бриллиантами на корсаже, и бархаткой на шее, то в палевое — «тюль-иллюзион», то в белое атласное с золотыми колосьями на фижмах. Жених шел за своей невестой в комнату, где весь вечер ждал куафер² и горничная, и под руку вводил ее в зал; все ахали над юной красотой обоих нареченных, над роскошью невестиных платьев, шли поздравления, оркестр гремел туш.

Так женился младший сын, любимец своего старшего брата, а старший брат — «схимник» — не показывался. «Молодуха», почти ребенок, слабенькая, жила тихонько, любила своего молодого, веселого мужа и ожидала наследника, мало выезжала и всё время проводила с Машенькой, доброй, веселой и остроумной. Они подружились и не расставались более; обе они и Сонечка Третьякова были почти сверстницами.

² Парикмахер.

Родился Коля, а через год Машенька; но жила она недолго, а за нею скончалась и ее молоденькая мать. Сколько бывало нежности в голосе тети-Манечки при словах: «Покойница Елизавета Сергеевна». У Елизаветы Сергеевны, урожденной Мазуриной, были три сестры: Софья Сергеевна, жена Дмитрия Петровича Боткина, жившего в собственном доме на Покровке и собиравшего картинную галерею русских и иностранных художников. У них было трое детей: Елена, Петя и Сережа, впоследствии талантливый дипломат, оба наши сверстники. Варвара Сергеевна Прохорова, жена главы Трехгорной фабрики. У них были дети: Сергей Иванович, Николай Иванович, богатые женихи на Москве; дочери Анисья Ивановна Гвоздинович, Варвара Ивановна Бородкина и Екатерина Ивановна Беклемишева, жена скульптора и ректора Академии Художеств и сама скульпторша. Анна Сергеевна Алексеева, мать Сережи Алексеева и несколько девиц, очень славных и интеллигентных; они были гораздо старше нас. Братьев было двое: Алексей Сергеевич, женатый на прелестной актрисе Малого Театра — Ильинской; и Митрофан Сергеевич, — отец известной Московской красавицы и прекрасной пианистки Надежды Митрофановны, ученицы Николая Григорьевича Рубинштейна, гремевшей по всей Москве в конце 70-х годов, впоследствии вышедшей замуж за Анатолия Андреевича Брандукова, известного виолончелиста. В начале 20-го столетия, по моему возвращению в Россию, мы с Надеждой Митрофановной подружились. Мой сын Саша был дружен с ее сыном Сашей, удивительно симпатичным, талантливым мальчиком.

И вот тетя-Манечка посвятила себя маленькому Коле, который спал в комнате рядом с нею (в моей будущей второй детской).

Часто, когда тетя-Манечка на коленках молилась, она слышала, как какая-то мышка скреблась в дверь

и тоненький голосок шептал: «Тетя-Манечка, дай орешков, тетя-Манечка, дай орешков».

Няня Екатерина Федоровна ходила за Колей, тетя Соня муштровала его, а ласкала, баловала и воспитывала — тетя-Манечка. Коля рос, а его отец, оставшись молодым вдовцом в 20 с немногим лет, веселил всех и сам веселился на Москве, но и работал с братом и интересовался его собранием картин, да и сам стал понемногу собирать галерею корифеев иностранных школ.

Так протекло лет пятнадцать, покуда он не собрался жениться во второй раз.

В самом начале 60-х годов Павел Михайлович как-то привел с собой и представил сестре Сонечке красивого молодого человека, гигантского роста, с темными глазами и черными волосами и бородкой, одетого в черную бархатную жакетку, со светлыми брюками, в красном галстуке, веселого балагура. Это был талантливейший архитектор-художник, только что вернувшийся из Рима, где он провел несколько лет пансионером Академии Художеств, — Александр Степанович Каминский. Сонечка пленила его своим умом, своей величественностью, а он победил ее «сразу и безвозвратно», по ее словам, своей бесконечной добротой, своей бесшабашной веселостью и талантливостью. Скоро они повенчались.

Старшая дочь их была на три года старше меня, а сын был мне ровесником. Оба уже умерли женатыми от туберкулеза. Потом были две Лёли. Одна умерла маленькой девочкой, а другая, названная в ее память, жила долго, бесконечно хворала и умерла уже не молодою и тоже от туберкулеза, в Крыму.

Тетя Соня скончалась уже под старость.

По вечерам, когда Павел Михайлович был свободен, случайно, не шел ни в театр, ни в оперу, стал он бывать у Каминских, где собирались художники и друзья. Познакомился он там с Михаилом Николаеви-

чем Мамонтовым и его женой Елизаветой Ивановной урожденной Барановой. Они были Павлу Михайловичу симпатичны и он охотно с ними встречался.

Вся Москва в 60-х годах увлекалась «до безумия» итальянской оперой; русской оперы, хорошей в Москве еще не было; все, кто мог себе позволить, были абонированы в Большом театре. Абонированы были и супруги Мамонтовы; у них была ложа, налево в бельэтаже. Каминский же и Павел Михайлович были абонированы вместе в креслах.

И вот как-то Павел Михайлович снизу увидел входящую в ложу Мамонтовых такую красавицу, такую симпатичную, что не удержался и тут же спросил Каминского, кто это.

— А это Вера Мамонтова, сестра Михаила Николаевича. Хочешь, пойдем, я тебя ей представлю?

Павел Михайлович испугался, отказался и предпочел издали, снизу, любоваться Верой Николаевной в продолжении нескольких зим. А рядом с ложей Мамонтовых сидела со своим красивым мужем, Василием Ивановичем Якунчиковым, такая же красавица, старшая сестра Веры Николаевны, Зинаида Николаевна.

Видя восхищение Паши, Александр Степанович решил пойти на хитрость. Это было весной 1865 года. Михаила Николаевича уже не было на свете. Схронив любимого старшего брата и мать свою, Вера Николаевна поселилась с большим другом своим — Елизаветой Ивановной, вдовой Михаила Николаевича. Изредка они стали бывать у Каминских. Вера Николаевна, как и сестра ее Зинаида Николаевна, славились в Москве, как прекрасные пианистки и образованные музыкантши. Они любили иногда исполнять и камерную музыку. Александр Степанович устроил у себя музыкальный вечер, прося Веру Николаевну сыграть, что ей захочется. В то время у нее были «в руках» (как Вера Николаевна часто выражалась) септет Хумеля и трио Бетховена (какое — не помню). Пригла-

шен был на вечер и Павел Михайлович. Он спрятался в уголок, и жадно слушал музыку, которую очень любил. Когда Вера Николаевна окончила играть вторую пьесу, септет Хуммеля, Павел Михайлович попросил Александра Степановича познакомить его с «чудесной пианисткой» и, после первого поклона, сконфуженно сказал ей: «Превосходно, сударыня, превосходно». Вере Николаевне шел 21-й год, а Павлу Михайловичу — 33-й. Начал он бывать у Елизаветы Ивановны, которую всю жизнь «уважал» за ее доброту и общественную деятельность, часто просил Веру Николаевну сыграть ему что-нибудь и в начале лета сделал ей предложение. Она просила дать ей немного подумать.

22-го августа 1865 года они повенчались, в Кирееве, под Москвой, в имении Ивана Федоровича Мамонтова, дяди Веры Николаевны; Павел Михайлович знал его уже несколько лет. Ивану Федоровичу Павел Михайлович нравился, а Павел Михайлович «уважал» старика. Иван Федорович был крестным отцом Веры Николаевны и, по смерти ее отца, очень ранней, старался от всей души его заменить. Говорят, что он впоследствии очень баловал и меня, совсем крошечную.

**
*

Рассказывали, что свадьба была веселая. После великолепного обеда, молодые, переодевшись в дорожные костюмы, шли пешком до станции Химки, с оркестром впереди и сопровождаемые хозяином и гостями.

Молодые поехали прямо в Петербург и оттуда в Биариц — купаться.

Павел Михайлович успел уже много раз побывать за границей, и с маменькой и Сонечкой, и один. Вспоминал, как в одно из путешествий с матерью и сестрой,

в Голландии (где купил первые голландские картины, которые висели всегда у бабушки), он опоздал на какой-то станции на поезд, догнал его и повис на нем на ходу; поезд остановили и усадили с большим добродушием «бессловесного» чужестранца.

Павел Михайлович любил воду, любил плавать и плавал хорошо. Еще мальчиком, они с братом Сережей выплывали из купален на Москва-реке, и с мальчиками Рубинштейнами, о чем я уже упоминала, легко переплывали реку и обратно.

В Биарице, как-то утром, Павел Михайлович пошел купаться. Солнце было ясное, вода и небо синие. Плыл и плыл, наслаждался. Потом лег на спину и долго лежал, качаясь на волнах; был прилив, волны всё росли, он любовался бездонным небом, подымался на волнах. Вдруг он услышал «alarme», перевернулся и начал плыть к показавшейся в волнах лодке, с обеспокоенными лицами гребцов — басков, в красных и синих рубашках и беретах. Они ему что-то кричали. Он подплыл к ним ближе, весело поздоровался, спросил, как сумел, в чем дело и понял, что сторожевая лодка была послана за ним; его долгое отсутствие взволновало весь пляж. Одна Вера Николаевна была спокойна, так как слыхала от него, что он любил и мог далеко плавать. Павла Михайловича, встреченного овацией, высадили на берег, как героя. Он, сконфуженный, бегом убежал домой в отель; ночью уложил с Верой Николаевной все вещи, а утром их и след простыл.

Он уехал, помнится, в Париж, где легче скрыться и видеть лишь тех, кого хочется.

Павел Михайлович сейчас же повел свою молодую жену к своим друзьям «Овденкам» (Овденко), Савве Григорьевичу и жене его, некрасивой, умной, веселой и общей любимице — бургиньонке — Mme Anaïs. Савва Григорьевич был оптовым комиссионером; братья Третьяковы и Коншин вели с ним

дела и через него выписывали иностранные товары для магазина на Ильинке. Овденко, купец из города Лубны, на Украине, был другом всех московских купцов, приезжавших в Париж. Был он очень высокого роста и его лицо с умными, добрыми глазами, с седыми недлинными, висячими усами, имело что-то «гетманское!» Mme Anaïs и Georges, как она его звала, жили в то время в крохотной квартирке на авеню Трошо; в столовой, обвешанной до потолка старинными гобеленами (в зелено-голубых и суровых тонах) они за просто, чудесно принимали, было всем и всегда весело и уютно у них. Савва Григорьевич изредка и сам приезжал в Москву. Первые дни он говорил по-русски в нос, с французским акцентом, но это скоро проходило. Все его друзья, Третьяковы, Коншины, Боткины, Щукины и другие — его страшно любили, нарасхват к себе приглашали и угощали.

Овденко впоследствии стали близкими людьми всей нашей семьи, а потому хочу рассказать об этих чудеснейших людях. Мы с сестрою Сашей познакомились с ними в первый приезд наш в Париж, весной 1885 года. Mme Anaïs любила всю нашу родню и нашу семью, в особенности Mme Paul, как она называла мамочку.

Несколько раз живали мы в Париже под крылом Овденко, до моего замужества — с мамочкой, а впоследствии — с моим мужем, Александром Зилоти и нашими ребятами. В 80-х годах Овденко переехали с авеню Трошо — на Rue des Martyrs, а мы в январе 1892 года поселились на углу Avenue Trudaine и Rue Violet le Duc, где прожили до февраля 1895 года; там родилась наша вторая дочь (наш четвертый ребенок) — Оксана.

С Овденко мы видались ежедневно, а то и по нескольку раз в день; надо было перейти лишь через нашу улицу. Саша мой, кроме того, часто заходил к Савве Григорьевичу в его контору фирмы «Trouillet &

Aubry». Не менее, как раз в неделю, мы обедали у них, а также они — у нас. Савва Григорьевич заботился о нас, как отец родной; три года там болел наш второй сын Ваня, которого мы потеряли в 1897 г. в Антверпене.

С Mme Anaïs была у меня большая гармония во взглядах на жизнь и в убеждениях. Не забуду, как мы сидели с ней вдвоем в ее спальне во время казни Равашала, анархиста, бросившего бомбу в кафе де ля Пэ, убившую множество людей. Мы обе возмущались, как смеют люди убивать по холодному рассудку, в отмщение, не могли допустить смертной казни, не могли допустить, что можно отнять то, чего вернуть никогда не сможешь — жизнь.

Овденко был в хороших отношениях со всеми русскими художниками в Париже, жившими близ нас, вокруг Place Pigalle, в любимом Quartier des Artistes. Через Овденко и мы познакомились почти со всеми из них, а со многими и подружились. Была у нас интересная русская компания.

Много рассказывал Савва Григорьевич про Ивана Сергеевича Тургенева, которого хорошо знал. В последний год его жизни Савва Григорьевич особенно часто навещал его, больного, в Bougival; и по собственному почину, и по поручению моих родителей, которые и сами приезжали из Москвы повидать Ивана Сергеевича незадолго до его смерти.

Осенью 1894 года, в день рождения моего мужа, 10 октября, мы завтракали у Овденко. Савва Григорьевич вышел к Саше навстречу в переднюю, подал ему маленький красный розанчик и со слезами на глазах сказал: «Я хочу, чтоб вы знали, как я вас любил. Хотел успеть Вам это сказать, так как я долго не проживу, быть может».

Очень скоро после этого, помню, в одно ненастное ноябрьское утро прислали нам записочку о его внезапной смерти. Ночью он почувствовал себя плохо,

а к утру его не стало. Мы в то время уже наняли в Антверпене дом с садом, из-за больного сына нашего Вани, и собирались после Рождества туда переезжать. Это было большим огорчением для осиротевшей жены Саввы Григорьевича. Она недолго прожила, в тоске по Савве Григорьевиче. Их вещи продавались с аукциона. Мы, три старшие сестры, купили всё, разделили между собою и хранили до революции 1917 г. на память об этих чудесных друзьях.

**
*

Я упомянула, что иностранные товары получались для нашего магазина через Овденко, по большей части французские, но, судя по рождественским открыткам, присылаемым нашему отцу из Ирландии и Голландии, очевидно, что ирландское и голландское полотно выписывалось из этих стран, либо прямо, либо тоже через Овденко. Любили мы смотреть красивое столовое белье, полотенца, линобатисты и даже бумажные ткани для дамских платьев.

Иностранный отдел существовал, собственно, из-за убеждения Владимира Дмитриевича Коншина, что он необходим; это доставляло приятное разнообразие в его работе, но, я полагаю, серьезного значения не имело. Чем больше расширялось русское льнопрядильное, а также льняное ткацкое производство, тем быстрее увеличивался спрос на русские полотняные товары. Это естественно сокращало выписку нашей фирмой иностранных товаров.

С тех пор, как помню себя, помню наш милый первый магазин в центральной части Ильинки, между Красной площадью и Китайской стеной. Позже магазин был переведен на угол площади; где стояла Биржа, на Ильинке же, но ближе к Красной площади; там он оставался до конца дней Сергея Михайловича, Павла Михайловича и Владимира Дмитриевича.

Павел Михайлович завещал свою часть в магазине своим служащим, пропорционально годам их службы.

В магазине бухгалтером был, как я уже упоминала, симпатичный, скромный Михаил Михайлович Шумовский, в круглых, темно-синих очках; с ним сидел рядом за конторкой Роман Васильевич Кормилицын. Товар продавали: Василий Семенович (фамилии не помню), Алексей Иванович Шолохов и другие, лица которых вижу перед собою, но назвать по имени не могу. Более всех любили мы очаровательного Павла Ивановича Хохлова, с темными, «гоголевскими» волосами, с небольшими усами и черной родинкой на щеке.

Владимир Дмитриевич Коншин бывал в магазине с утра до вечера; был у него во втором этаже кабинет, где он принимал покупателей, продавцов полотна, закупщиков пряжи с нашей фабрики; ходил с ними завтракать в трактир, распивал с ними чай и поддерживал, в меру приятельские, деловые отношения.

Павел Михайлович бывал в магазине после трех часов; в половине третьего подавалась ему «одиночка», которая отвозила его «в мага́зин», как говорили тогда в Москве, и привозила обратно домой к шести часам, прямо к обеду. Утром же он работал в конторе.

В 1866, в год моего рождения, основана была льно-прядельная и льняно-ткацкая фабрика в Костроме, на самой Волге. Компанионом и директором фабрики был Константин Яковлевич Кашин, очаровательнейший, добрейший человек, которого мы очень любили. Он был высокого роста, довольно плотный, с волнистыми, с проседью волосами, длинной, курчавой, на две стороны натурально разделенной, бородой и глубокими синими глазами.

Он часто приезжал в Москву и всегда останавливался у нас; Павел Михайлович и сам ездил много раз в год в Кострому. Железная дорога, кажется, вы-

строенная Саввой Ивановичем Мамонтовым, шла в то время через Троицко-Сергиевскую Лавру — только до Ярославля; а от Ярославля до Костромы приходилось ехать либо на пароходе, либо по льду в возке. У Павла Михайловича была для этого оленья доха, оленья шапка, высоченные валенки; сверх жилетки надевал он, прямо под пиджак, — толстую вязаную кофту. Ехать приходилось верст 80, а то и все сто, как мне кажется, по льду, по морозу, во время вьюги; сколько раз волновалась мамочка с тетей-Манечкой и мы с ними, успеет ли папа проехать, проскочить через Волгу до ледохода. До Костромы железная дорога была проведена гораздо позже. В «Нижний» же, как называли в Москве Нижний Новгород, на ярмарку Павел Михайлович ездил в августе — по железной дороге. Владимир Дмитриевич Коншин жил в Нижнем в продолжении всей ярмарки, а Павел Михайлович ездил лишь под конец ее. Они закупали лён и продавали пряжу. Приезжал папа домой как раз ко дню своей свадьбы, 22 августа, который всегда справлялся на даче; долгие годы в Кунцеве, а потом в Куракине по Ярославской ж. д., где родители наши жили по летам до самой смерти.

Смерть три раза посетила наш дом в одну зиму: 4-го декабря 1898 г. скончался папа, в январе 1899 — бабушка Александра Даниловна, а 25-го марта, в день Благовещения, — мама. Я была далёко-далёко, в Лейпциге с хворавшими в то время детьми. Получив телеграмму от Саши, концертировавшего в России: «умоляю тебя остаться с моими детьми» — я сразу поняла, что мамочка скончалась.

Помню, как-то весной, когда мы с Сашей были уже большими девочками, лет 9-ти и 10-ти, папа взял нас с мамочкой на фабрику; останавливались в Ярославле, осмотрели все старинные церкви и на пароходе «Самолет» доплыли по полному разливу Волги, как по морю, до Костромы.

Фабрика произвела на нас громадное впечатление; машины, как громадные, сказочные драконы, шипели и наводили на нас почти что ужас. Никогда не забуду лиц многих рабочих, особенно подростков, в «чесальне». Рты были у них завязаны пряжей, как лентой. Какая забота была всегда для Павла Михайловича и друга его Константина Яковлевича Кашина — удаление льняной пыли в чесальнях.

Фабрика Костромской Льняной Мануфактуры была чуть ли не целым городом; было рабочих с их семьями около 5.000 или это мне теперь так представляется? Помню большие избы и дома для рабочих, читальня, школы, больницы — всё осталось в памяти, как что-то грандиозное. Никогда более я там не бывала.

Остановились мы тогда в доме Кашиных. Жену Константина Яковлевича, Екатерину Михайловну, мы хорошо знали, так как она приезжала к нам гостить в Толмачи; она была умная, энергичная, не выпускала папиросы изо рта, целый день «дымила». Была в ней мужская логика; мы ее очень любили, а также и дочку их Оленьку, очень либеральную, с уклоном «влево», с очень красивым лицом и необыкновенно громадной фигурой. Оленька нередко гащивала у нас, и подолгу. Познакомились мы в Костроме с сыном Кашиных — Николаем Константиновичем, который учился в Петербурге, в Технологическом Институте. После преждевременной кончины отца Николай Константинович стал директором фабрики. Павел Михайлович его очень ценил, но пришлось Павлу Михайловичу чаще ездить на фабрику, куда Николай Константинович набрался необходимого опыта. Как молодой человек, любил пробовать новые методы, и Павел Михайлович с ним терпеливо их пробовал ввести.

Г л а в а V

Р А З Г У Л Я Й

Что же слышала я от мамочки, сидя около нее на диване, когда она перед обедом дремала и, проснувшись, начинала рассказывать?

Было в России в то время «винное откупничество». И было на Москве два больших откупщика — Николай Федорович Мамонтов и Василий Александрович Кокарев. И Мамонтов, и Кокарев были в душе большими либералами, западниками; при каждой возможности ездили за границу; на перекладных до Варшавы, а там дальше — по железной дороге. Привозил Николай Федорович семье своей в подарок из Италии, которую особенно любил, кольцо, серьги из розовых и белых корралов; привозил камни с дианами, вакханками; привез дочкам камеи с изваянием Бетховена и Шопена; все эти вещи я помню. Привозили они, Николай Федорович с Василием Александровичем, из-за границы и новые идеи, решили завести на Москве нового типа отели, большие, в несколько этажей. Василий Александрович построил на Софийской набережной, против самого Кремля, между Москва-рекой и Канавой, громадную, красную кирпичную гостиницу, назвав ее «Кокаревской» (там впоследствии в 80-х годах жилал Петр Ильич Чайковский, около друга своего «Манечки» — Германа Августовича Лароша), а подальше, по другую сторону Замоскворецкого моста, ближе к Садовникам (так называлась эта часть

города) построил Николай Федорович — Мамонтовскую гостиницу.

Мамонтовых было два брата: Николай Федорович и Иван Федорович. Николай Федорович был полный, Иван Федорович — худой. У Николая Федоровича лицо круглое, у Ивана Федоровича — длинное. У Николая Федоровича по фотографиям, лицо улыбалось, у Ивана Федоровича — было серьезное, строгое. Ивана Федоровича по фотографиям, можно было принять за английского премьера: цилиндр, бритое лицо, изящный костюм. Портретов дедушки Николая Федоровича у мамочки было несколько: молодым — без бороды, старым — с белою бородою и длинными пушистыми волосами. Вид у него был — купеческий, а у Ивана Федоровича — аристократический. Зато с их женами дело обстояло совсем обратно: жена Ивана Федоровича Мария Тихоновна, была полная, смазливая, как богатая купчиха, а жена Николая Федоровича, Вера Степановна, урожденная Вагина, была высокая, худая, изящная, нос с горбинкой; шаль, спадающая с отлогих плеч — всё это делало ее величественной. Николай Федорович разбогател «откупщицеством». Не знаю, чем занимался и на чем разбогател Иван Федорович.

Николай Федорович с семьей жил на Разгуляе в чудном, барском особняке с колоннами, стоявшем во дворе, за зеленой чугунной решеткой и с большим садом в глубине; «парадная» белая мраморная лестница вела в бельэтаж, сначала в угловую залу. Там стояли концертный рояль и тропические растения. За залой, по фасаду, шла гостиная, а за нею спальня; по другой стороне лестницы, окнами в сад — была громадная столовая. Против окон висел во всю стену, между 2-мя дверьми, семейный портрет: Николай Федорович, Вера Степановна с массою детей различного возраста; мальчики с круглыми белыми отложными воротничками, а девочки в розовых шелковых платьи-

цах, в панталончиках, обшитых кружевом; и в атласных туфельках. Внизу, под столовой, был кабинет с окнами и дверью прямо в сад и другие комнаты. Наверху, над столовой, были детские. Комнаты в бельэтаже на фасад обычно строились высокими, а задние комнаты более низкими и помещалось по два целых этажа, как было и в Толмачах. Во дворе по ограде росли большие деревья; в них и тенистом саду пели весной птицы, а из окон неслись с ранних пор звуки Баха, Бетховена, Шопена и Листа.

У Веры Степановны было 17 человек детей, — 13 мальчиков и 4 девочки. Тетя Зина родилась в 1843-м году, а мамочка в 1844-м; до них родилось не менее полдюжины сыновей: Михаил, Александр, Николай, Виктор, Владимир, Валериан; из них два последних умерли юношами. После тети Зины и мамочки родились: Кирилл, Иван, тетя Дуня и Савва. Не знаю времени рождения Сони и остальных четырех мальчиков, умерших в детском возрасте, не знала даже имен последних. Но помню, что Дуня и Савва были самыми последними, младшими детьми Веры Степановны.

Николай Федорович много разъезжал по делам по всей России, в тарантасе летом, в возке — зимой. Брал он часто с собой и свою «Богородицу» — Веру Степановну: он ее по-настоящему боготворил. Вера Николаевна родилась по дороге, под Ряжском, в Рязанской губернии, 28-го апреля 1844 года, как я уже только что сказала.

Николай Федорович был необычайно добрым человеком, но все считали его самодуром. Некоторые из детей ярко унаследовали от него эти оба качества. Дети были все способные и многие из них обладали абсолютным слухом. Музыкальность и Мамонтовы было почти синонимом в Москве.

Образование получили блестящее. Трое старших сыновей окончили университет. Михаил и Николай бы-

ли высоко-культурными людьми. Николай Николаевич, если не ошибаюсь, жил и учился после университета, в Германии. Он превосходно знал немецкий язык и поражал меня впоследствии знанием всех литератур мира. Он был «психопатски» добр и ум у него был большой глубины. Михаила Николаевича, умершего в начале 60-х годов я, к сожалению, не могла знать; но помню, что Павел Михайлович его высоко ценил и любил больше всех братьев Мамонтовых.

Хочу для ясности характеристики тех девяти Мамонтовых, которых я знала, рассказать о них по старшинству; и историю каждого, поскольку помню ее.

Александр Николаевич, худой, высокий брюнет — был самым большим самодуром из всех Мамонтовых. Был большим эгоистом. Мы его сторонились. Как представлялось нам, сторонился его и Павел Михайлович, и не было дружеских отношений между Верой Николаевной и ее братом.

На Пресне была у Мамонтовых издавна лаковая и сургучная фабрика. На фабрике в мое время жили братья Иван и Савва со своими семьями. Полагаю, что все братья имели свою часть и что Александр Николаевич был крупным пайщиком.

Александр Николаевич был женат на Татьяне Алексеевне, урожденной Хлудовой. Хлудовский дом, старинный, барский, на горе, со спускавшимся садом до речки Яузы, стоял где-то около Вшивой горки, как выговаривалось вместо настоящего названия Швивой горки. Так назвалась часть города, где жили в старину царские швеи.

Много было самодуров в нашей Белокаменной, но самыми знаменитыми из них, по наслышке, были Мамонтовы и Хлудовы. Даже была специальная терминология: «Мамонтовщина» и «Хлудовщина». Какую тяжелую, сложную наследственность должны были получить дети Александра Николаевича и Татьяны Алексеевны!

Было два брата Хлудовых, из которых помню лишь Василия Алексеевича. Он ездил в путешествия на восток и один раз привез домой живого молодого тигра. Уже пожилым Василий Алексеевич женился на 20-тилетней красавице Вере Александровне; она скоро овдовела, жила широко и была знаменита своей веселостью, хлебосольством; любила Итальянскую оперу и принимала всех итальянских звезд того времени.

Помню писал ее портрет у нас в галлерее, внизу, — Константин Егорович Маковский; портрет мало передавал ее живость и привлекательность. Нам она нравилась и мы чувствовали большое уважение и симпатию к ней со стороны наших родителей.

Жизнь Татьяны Алексеевны с мужем (даже в детстве мы понимали) была непосильным крестом. Было у нее четверо детей: Вера, на три года старше меня, Саша — мой ровесник, Марина, на три года моложе меня, и Лёля, умершая еще ребенком. Вера была очень музыкальная, недурно играла на фортепиано и недурно пела, с большим темпераментом. Саша был добряк, оригинал и почти чужак. С обоими я была в большой дружбе до самого моего замужества, т. е. до тех пор, как я покинула Москву. Вера одновременно со мной вышла замуж за инженера Николая Кузьмича Зотова; у нее было несколько детей; умерла она еще молодой. Также и Саша недолго прожил.

Когда Татьяне Алексеевне стало более невтерпех, она ушла от Александра Николаевича, взяв с собой свою любимую Марину, очень милую и умную, всегда всё понимавшую. Ушла и жила открыто в «гражданском браке», как тотчас же объяснила мне тетя Аня, с очаровавшим всю Москву, знаменитым гинекологом Владимиром Федоровичем Снегиревым.

Марина жила с нею до замужества. Павел Михайлович делал Татьяне Алексеевне праздничный визит и прибавлял: «Всегда шапку сниму перед нею».

До ухода Татьяны Алексеевны Александр Николаевич с семьей жил на Разгуляе; мы у них изредка бывали, и потому я помню этот дом хорошо. Очень любила его, особенно сад. После ухода Татьяны Алексеевны, Александр Николаевич выстроил себе в Черниговском переулке двухэтажный особняк; внизу были «парадные» комнаты и жил сам Александр Николаевич, а наверху жили Вера, Саша, Верина бывшая воспитательница Мария Федоровна и Сашин бывший воспитатель, чех, Франц Михайлович, который читал вслух Александру Николаевичу. Александра Николаевича болезнь изменила до неузнаваемости и в конце концов он ослеп. Мы ненавидели и бывали в ужасе, когда он нас целовал. Он ударился в церковность, жертвовал на построение храмов. Когда он часами плакал — нам бывало его страшно жалко. Но полюбить мы его не могли. И мы, и его дети, хоть его и жалели, но боялись.

**
**

Николай Николаевич, которого я любила более всех дядей Мамонтовых, был умница, сколько могу судить сейчас, с прекрасными серыми глазами в молодости, — был хлебосолом; да и любил выпить. Как-то летом в Кунцеве, в половине 70-х годов, привез он к нам свою молоденькую жену Анну Петровну, урожденную Сушкину.

В начале этого столетия, когда мы вернулись всей семьей из-за границы и поселились в Петербурге, не помню после какого концерта, мы пошли вчетвером ужинать к «Кюба»; мы двое, Шаляпин и Константин Коровин. Меня не только заинтересовал, но и до некоторой степени взволновал рассказ Коровина. Знаю и его пылкую фантазию, знаю и свою доверчивость; но на свете нет ничего невозможного и я привожу его рассказ.

Коровин гостил лето у Шаляпина, в только что купленном имении во Владимирской губернии, мимо которого проходила знаменитая большая Владимирская дорога, по которой «гнали» преступников в Сибирь. Была в селе на этой дороге Церковь, со священником которой подружился Коровин. Этот священник показал ему разные интересные церковные записи и документы, хранившиеся при Церкви. По крестильным документам, жили там несколько столетий Третьяковы и Сушкины, которые были между собою в родстве по женской линии. Третьяковы были боярами при Грозном, попали в опалу за свободомыслие и были сосланы на поселение во Владимирскую губернию; они стали промышлять ямщицеством на Владимирской дороге, как и Сушкины («Третьяком» назывался жеребенок по третьему году). Когда вели преступников в кандалах и когда, бывало, слышится грохот их, родители только что родившегося ребенка выбегали на дорогу и просили кого-нибудь из каторжников окрестить их ребенка на счастье; таково было поверие. Один из Третьяковых, по бумагам судя, был крещен Пугачевым, когда его вели в Сибирь на каторгу. Мать Коровина была Сушкина, а я — урожденная Третьякова; Коровину нравилась мысль о нашем родстве.

Никому Николай Николаевич не сказал, что женится. Она нас обворожила «с места в карьер». И сейчас скажу, что она была одна из интереснейших женщин, которых я когда либо встречала в жизни. Высокая, тонкая, с лицом ласточки, или стрижа, черная, с умными, немного приподнятыми глазами, с длинными ресницами, с очень оригинальным ртом; она им очаровательно двигала, то вперед, то в бок и картавила неимоверно; после знакомства ее первая фраза была: «а вчеха мы с Николаем уже похугались». И сейчас слышу ее очаровательный голос.

У них было трое детей: Инна, — в замужестве

Шевалдышева, Маша, вышедшая замуж за своего кузена Мишу Мамонтова и Платон, умерший маленьким мальчиком.

Сестра Анны Петровны, Анастасия Петровна была замужем за знаменитым музыкальным ученым и композитором Германом Августовичем Ларошом; как говорили мне, гугенотом, выходцем из Франции. У них тоже было трое детей. Зина, впоследствии жена проф. Крашенинникова. Оля, ученица П. А. Пабста по классу фортепьяно, и товарка по классу композиции Скрябина, Буюкли, Левина и своего будущего мужа Николаши Авьерино, — тоже учеников Московской Консерватории.

Анастасия Петровна умерла когда дети ее были еще маленькими. Ларош, по своей бесшабашности, рассеянности — был в большом затруднении. Николай Николаевич и Анна Петровна взяли всех трех детей к себе и воспитали их вместе со своими, как шестерых собственных детей.

Николай Николаевич любил музыку и любил молодежь. Нет ничего мудреного, что, когда Оля подросла, то все товарищи ее, музыканты, постоянно стали бывать у Николая Николаевича; постоянно была в доме музыка. Николай Николаевич очень любил музыку Скрябина.

Было у Николая Николаевича много личного горя; он стал больше и больше пить. Мы его страшно жалели. Помню, какой он и тогда подчас бывал веселый и шутник. Когда мне было лет семнадцать, я была очень больна и только что начала выходить в столовую; мамочка сшила нам с Сашей очень красивые халаты, ярко красные на шелку, с шлейфом, как тогда полагалось. Как сейчас помню, входит дядя Николай Николаевич, я иду к нему навстречу, радостная; не успела я оглянуться, как я почувствовала себя где-то в воздухе, на его руках; он обежал со мною вокруг стола и поставил меня на ноги. Очень он был сильный

всегда. Он любил мамочку и она была с ним очень дружна.

Виктор Николаевич был необыкновенно добр, симпатичен и красив. Был музыкален до крайности; кроме мамочки и тети Зины абсолютный слух был еще у Валериана и у Виктора. Он кончил только гимназию и остался «музыкальным диллетантом». Накутившись, будучи еще молодым, Виктор Николаевич поступил в Большой Московский Театр хормейстером: беззаветно любил свой хор и хор любил его. Умер он на своем посту, еще не старым человеком. Имел массу друзей. К нам не ходил, но знаю, что мамочка его любила и относилась с большой нежностью.

Зина и Вера росли — две красавицы-погодки. Высокие, стройные, довольно полные, но элегантные. У обеих были каштановые, небольшие волосы, серые миндалевидные глаза с длинными ресницами, нос у обеих — с горбинкой, в форме лба у обеих было что-то, если можно так выразиться, бетховенское. Они были дружны, как близнецы. И всё же, несмотря на столько общего — так непохожи друг на друга. Вера была прототипом Николая Федоровича, а Зина — прототипом Веры Степановны. Зина — сдержаннее, казалась холодной; а Вера — веселее, ласковее и общительнее. Вера Николаевна любила Зинаиду Николаевну и всю жизнь болела за нее душой во всех ее горестях и несчатыях.

С детства у них были гувернантки, которых они любили; до сих пор помню их имена: одна была Пелагея Харитоновна, а другая — Евфимия Ивановна. Они научили девочек языкам: немецкому, французскому, которыми они владели прекрасно; позже был у них учитель английского языка.

С самых ранних лет обе они учились игре на фортепиано у чеха родом, Иосифа Вячеславича Рибо, органиста Католической Церкви, бывшего в Праге не только органистом, но и «колоратурным», как он сам

выражался, тенором; с большим теоретическим образованием и знанием музыкальной литературы. Он научил их любить Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, Листа. Они с ним изучали гармонию и прелестно сочинили маленькие пьесы, которые слышала я впоследствии от мамочки. Обе девицы были одинаково способны ко всему и особенно к музыке. Играли одинаково хорошо — и так непохоже друг на друга. Зинаида Николаевна играла лучше всего Баха, а впоследствии, уже старушкой, любила играть Скрябина.

Вера Николаевна играла Баха, но лучше всего исполняла Бетховена, Шопена и Листа «Этюды Паганини» (которые потом разносились по Толмачам каждое утро). Играли сестры много Баха на два фортепиано, любили исполнять и камерную музыку.

Когда тете Зине минуло 16 лет, за нею начал ухаживать красивый, молодой вдовец, «западник», «англофил», живавший в молодости в Англии и хорошо знавший английский язык — Василий Иванович Якунчиков. Тетя Зина влюбилась в него и сколько Вера Степановна не уговаривала ее не выходить замуж за вдовца с тремя детьми, — поступила по-своему, и 5-го июля 1860 года она повенчалась.

Было у Василия Ивановича трое милых детей, лет десяти, восьми и шести: Володя, Лилиша и Наташа.

Воспитала их добрая старушка — англичанка мисс Дериман, Елена Ивановна. Она жалела молоденькую Зинаиду Николаевну и старалась снять с нее, по возможности, всю ответственность за воспитание детей. Елена Ивановна давно привыкла заменять детям их покойную мать, Екатерину Владимировну, урожденную Алексееву.

У Екатерины Владимировны было две сестры и два брата: Вера Владимировна Сапожникова, у которой были сыновья Александр Григорьевич, Владимир Григорьевич и дочь Елизавета Григорьевна (жена Саввы Ивановича Мамонтова); Анна Владимировна

Кисловская с большой семьей; с девочками ее мы делали гимнастику у Бродерсона. Александр Владимирович был женат на красавице Елизавете Михайловной Бостанжогло. У них был единственный сын, Николай Александрович, женатый на Александре Владимировне Коншиной, будущий долголетний городской голова Москвы; и три дочери: Мария Александровна Четверикова и Елизавета Александровна Руперти. Сергей Владимирович, женатый на «красавице Яковлевой», Елизавете Васильевне. У них было девять человек детей; все красавцы: Владимир (прекрасный любитель пианист); один из них Константин (в будущем знаменитый по сцене Константин Сергеевич Станиславский, основавший вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко Московский Художественный театр).

Якунчиковы жили на Кисловке в большом особняке с флигелями. У тети Зины родились ребенок за ребенком. Один из них (род. в 1870 г.) Маша (в будущем знаменитая русская художница Мария Васильевна Якунчикова) была гениальных способностей — и в живописи, и в музыке одинаково. Была она идеалисткой чистой воды, чуткая, и добрая. Много тяжелого пришлось ей перенести в семье отца своего, что отозвалось на ее слабом здоровье. Впоследствии в Швейцарии вышла она замуж за юного кузена своего Вебера. Было у нее два мальчика. Здоровье ее всё слабело. Умерла она еще молодой женщиной, от туберкулеза легких, и горько плакала при виде своих мальчиков; так ей не хотелось умирать. А тетя Зина, не отходившая от нее, горевала больше нее, глядя на ее страдания. С нею тетя Зина потеряла всё.

Тетя Зина и мамочка оставались на всю жизнь теми же близнецами. Они видались не менее разу в неделю, то у одной из них, то у другой. Мы, дети, жили и воспитывались в разных домах, но росли вместе. Каждое воскресенье, с 2-х часов, мы всей гурь-

бой проводили вместе, одно воскресенье на Кисловке, другое — в Толмачах; вместе обедали и расставались лишь перед сном. Так было до самой свадьбы Зины, в 1882 году, когда ей было 19 лет, а мне — 16. Зина была и музыкальна, и способна к живописи. Она была замечательной, чисто классической, красоты. Помню, В. М. Васнецов сказал ей, что она «раскрашенная Венера Милосская». Все молодые люди нашего круга увлекались ею. Но она со своей стороны увлеклась необычно-интересным, культурным человеком, еврейского происхождения, вдовцом, Эмилом Юльевичем Мориц, с редко-оригинальным прекрасным лицом. Василий Иванович на все мольбы Зины ответил отказом на ее брак и Зина решила бежать. Тетя Зина, ценившая Морица и понимавшая Зину, решила взять этот смелый шаг на себя. Было воскресенье; утром тетя Зина одела Зину, благословила и довела ее до кареты, где ждал ее Мориц; они повенчались в лютеранской церкви и поселились в Москве.

Тетя Зина, придя домой, за завтраком, рассказала о том, что случилось и своем поступке. Василий Иванович взбесился от злобы. Он решил сделать самое больное для тети Зины на свете. Не говоря ни слова, уехал и сразу продал имение их Введенское, под Звенигородом, которое тетя Зина так любила. Там она жила среди природы, принимала гостей, которые были ей интересны и по душе.

Это было большим ударом для бедной тети Зины.

В то время здоровье моей бабушки Веры Степановны всё ухудшалось; уже в 50-х годах она страдала болезнью печени. Когда умер муж Николай Федорович, ее сын Михаил Николаевич, студент, взял мать и двух сестер, Зину и Веру, и уехал с ними на перекладных до Варшавы, а потом по железной дороге в Карлсбад. Михаил Николаевич и девицы купались до осени, ловили креветок сеточками, а мать отдыхала.

Так длилось в продолжение нескольких лет. Об этих поездках мамочка моя особенно любила мне рассказывать.

Несмотря на лечение заграницей, положение Веры Степановны становилось серьезным. Ей посоветовали позвать очень талантливого молодого врача, готовившего свою докторскую диссертацию — Григория Антоновича Захарьина (впоследствии знаменитейшего московского терапевта). Захарьин часто заходил лечить, а то и навещать Веру Степановну, которая его баловала; зная, что он любил сладкое, всегда имела наготове коробку конфет, на случай его прихода. Захарьин, шлепая своими толстыми губами, (как делал всю жизнь), спрашивал: «Вера Степановна, а где же мои конфеты?» — «Там, в шкафу, Григорий Антонович». Он шел и доставал и съедал в один присест! Эту привычку он сохранил до конца жизни. Когда он был знаменитостью и ему платили по сто рублей за визит, припасали и коробку «Захарьинских» конфет.

С Захарьиным часто приходил его товарищ-медик Мамонов (тоже впоследствии очень известный врач).

Мамонов и Вера Николаевна сразу полюбили друг друга, на огорчение Веры Степановны. Она боялась, что Вера выйдет замуж и будет так же несчастна, как Зина, а, может быть, и как она сама... Мамонов собирался жениться на Вере Николаевне, как только защитит свою докторскую диссертацию. Вера Степановна так плакала, так горевала от мысли расстаться с Верой Николаевной, что последняя, скрепя сердце, наконец, отказала Мамонову.

Мы уже знаем, что Вера Николаевна, схоронив мать, а Елизавета Ивановна, схоронив своего любимого мужа Михаила Николаевича, — поселились вместе.

На Разгуляй переехали Александр Николаевич с Татьяной Алексеевной, у которых пока остались жить

Дуня и Савва. И знаем, что Вера Николаевна в августе 1865 года, вышедшая замуж за Павла Михайловича Третьякова — поселилась в Толмачевском доме.

**
**

Кирилл Николаевич был самый тонкий по красоте из всех Мамонтовых; небольшой, несколько полноватый, блондин, с тонким прямым носом, бритый, с чарующей, немного иронической улыбкой; он что-то вечно острил, немного подергивая ноздрями. Женился он на чрезвычайно симпатичной и обворожительной Маргарите Оттовне (собственно Оттоновне) Лёвенштейн.

Кирилл Николаевич был, говорят, всегда «легкомысленного» характера. Так ли это — трудно сказать. Как-то был он на юге Франции, прокутился ли, проигрался ли, но, помню, пришло известие, что он в Марселе застрелился. Маргарита Оттовна осталась без всяких средств с двумя малютками. Уехала в Париж, научилась кроить, шить платья и белье. Вернулась в Москву, поехала с визитом ко всем знакомым дамам, где она была всегда принята, как друг, просила поддерживать ее заказами. Все дамы отнеслись к ней чрезвычайно сочувственно. Со временем считалось большим шиком иметь приданое, сшитое «Маргаритой Оттовной» как ее все звали в Москве. Редко можно было видеть такое всеобщее уважение, как это было по отношению к этой женщине, работавшей с невероятной энергией. Девочки учились в школе. По воскресеньям они часто бывали у нас: мать их завозила и оставляла у нас на целый день. Они были ровесницами моей младшей сестры Маши: Маргоша одним годом старше, а Лёля одним годом моложе Маши. Впоследствии Маргоша вышла замуж за Михаила Абрамовича Морозова. Маргоша любила всегда музыку. Брала

уроки у Александра Николаевича Скрябина, была другом его и его первой жены Веры Ивановны (урожденная Исакович); помогала им во всех бедах. Любила философию и была близким сотрудником кружка Владимира Соловьева и князя Евгения Николаевича Трубецкого. Обе сестры посвятили себя общественной деятельности.



Иван Николаевич был чудеснейший честнейший человек, идеальный семьянин; он жил с семьей на их лаково-сургучной фабрике на Пресне и был чем-то очень важным на Мальцевских заводах; он любил общественную деятельность, был долгое время гласным Московской городской Думы.

Иван Николаевич был скорее высокого роста, скорее плотный, был похож типом на Веру Николаевну.

Женат был на маленькой, энергичной, стриженной, с темными живыми глазами, очень музыкальной и милой Екатерине Александровне Робер.

Когда одна группа гласных Думы желала видеть Ивана Николаевича выбранным в головы Москвы, Екатерину Александровну поддразнивали, что тогда она будет не «головихой», а «головастиком»; она смеялась и продолжала дымить, так как без папирос ее не помню.

У них было много детей, из которых я могу назвать четырех сыновей и трех дочек. Екатерина Александровна была идеальная жена и мать, и дом их, хлебосольный в меру, был всегда полон молодежи. У них было на Волге, в Тверской губернии имение «Пекуново», где собиралась масса кузенов и товарищей их детей, многие из них между собою пережились.

Когда мне было около 10-ти лет, как-то мамочка

взяла нас с Сашей и поехала с нами без предупреждения, к Ивану Николаевичу и Екатерине Александровне. Мы попали случайно на крестины Сережи, их четвертого сына. Сережа был похож на мать и унаследовал и ее музыкальные способности; Сережа стал впоследствии хорошим пианистом. Женился он на знаменитой своей красотой в Москве Наташе Шеремтьевской. Наталия Сергеевна во втором браке была женой одного Гатчинского офицера Вульфберта; там познакомилась с Великим Князем — Михаилом Александровичем, который ее развел и на ней женился. У них был сын. Ей «пожаловали» имя графини Брасовой.

Дуня — тетя Дуня — была прежде всего оригиналкой. Была моложе мамочки лет на 6. Всегда у нее были крайние настроения. Была она маленькая, шапка, волосы стриженные, волнистые; глаза серые с длинными ресницами. И даже нравилась своим «нóровом», «моему нраву не препятствуй». А главное была бесконечно добра. Когда мамочка вышла замуж, Дуня часто приезжала в Толмачи, где встречалась с Надей Третьяковой, сестрой Павла Михайловича, они были ровесницы и скоро подружились.

Тетя Дуня вышла замуж за красивого, изящного студента Московского Университета — Константина Васильевича Рукавишникова, который впоследствии был городским головой Москвы. Отец его, Василий Никитич, был горнозаводчиком на Урале. Помню не только его, симпатичного, доброго, видного старика-барина, но и его добрую и милую жену Елену Кузьминичну. Помню, как старший сын их Николай Васильевич умер еще очень молодым, холостяком. Он любил свою мать, жил всегда с родителями в самых трогательных отношениях. Посвятил всю жизнь на борьбу с преступностью малолетних и основал Рукавишниковский Исправительный приют, которым после смерти его, занимался Константин Васильевич.

Савва Николаевич был последним из 17-ти детей

Веры Степановны. Он был талантлив ко всему, очень музыкален. Уже взрослым мужчиной окончил медицинский факультет, но лекторскую диссертацию защитить поленился. Говорили мне, что он окончил курс композиции, вольным слушателем, в училище Филармонического общества. Не могу проверить этого, но не удивлюсь, если б это оказалось правдой. Любил играть на фисгармонии и всегда страшно плакал. Доброты был непомерной. Был среднего роста, полный, с круглым лицом, курносом носом и добрыми серыми глазами. Было у него что-то Дунино. К несчастью, любил выпить, под старость особенно. Жил на фабрике на Пресне. Женился он довольно поздно на Евгении Федоровне Дмитриевой, дочери директора Малютинской фабрики в Коломне, милой, сердечной, веселой девушке. Она чудесно плясала русскую, вообще была одним из самых чисто-русских типов; среднего роста, не полна и не худа, с темнорусыми косами, темными глазами, открытой улыбкой. Хлебо-сольная хозяйка, она дала дяде Савве много уюта в его семейном кругу. Тетя Женя была нам почти подругой. умерла молодой от эклампсии, при рождении чуть ли не шестого ребенка. Дядя Савва остался с кучей малышей на руках, которых воспитывал, как умел. «Мамонтовщина» в нем расцвела пышным цветом. Было дяде Савве не мало забот и трудностей, но и детям на долю выпало много борьбы. Его сыновей я никогда не видала; три дочери его были талантливы, оригинальной красоты, имели шумный успех. Знаю больше других Наташу, вышедшую замуж очень молодой за моего двоюродного племянника Сергея Николаевича Третьякова, сына Николая Сергеевича и внука Сергея Михайловича. У них было трое детей: Ирина, Сережа и Таня. Сережа был необычайно интересный ребенок. Зинаида Николаевна заходила к молодым Третьяковым лишний раз, чтоб полюбоваться на Сережу, курчавого блондина с темными глазами.

Он — правнук Михаила Захарьевича Третьякова и в то же время правнук Николая Федоровича Мамонтова.

Волею судеб, заканчивая историю Мамонтовых, заканчивая этим самым и историю Третьяковых, поскольку мне не изменяет память и поскольку я слышу время от времени об их потомках.

Продолжателями рода Мамонтовых являются сыновья Ивана и Саввы Николаевичей, а единственным продолжателем рода Третьяковых — Сергей Сергеевич.

Г л а в а VI

Н А Ш Е Д Е Т С Т В О

Возвращаюсь к своему первому архиву — тете Ане.

Перескажу следующий диалог так, как помню до сих пор. Когда Павел Михайлович стал женихом Веры Николаевны, он приехал как-то к ней и сказал: «Сударыня, я приехал к вам с одним вопросом, на который прошу вас ответить откровенно; желаете ли вы жить с моей маменькой или вам было бы приятнее, чтоб мы жили с вами одни?» Вера Николаевна ему ответила: «Я сама бы не решилась просить вас об этом, очень благодарю вас и скажу, что мне было бы, конечно, приятнее жить с вами одной». — «И я очень вам благодарен, сударыня».

Павел Михайлович за лето стал присматривать для матери особняк, выбрал небольшой, уютный домик в Ильинском переулке близ Церкви Ильи Обыденного; одноэтажный, с мезонином во дворе, с садиком, спускавшимся полого под гору, к площади, на которой в то время строился Храм Христа Спасителя, в память 1812-го года, Храм-Спаситель, как всегда называли его в Москве.

Павел Михайлович никогда не любил архитектуры Храма-Спасителя и называл его перечницей. Также не нравились ему и стенные росписи наших художников, «не знавших настоящего стиля стеной живописи». Особенно возмущался художником Нефом, в ма-

леньких приделах, на хорах. Этот храм был разрушен и снесен большевиками в начале тридцатых годов.

Бабушка Александра Даниловна переехала к Илье Обыденному прямо с дачи.

Внизу была столовая, гостиная, где висело несколько старинных голландских картин, купленных Павлом Михайловичем в одно из путешествий с матерью и сестрой — Сонечкой; был бабушкин «будуар» и спальня; жила с нею внизу молоденькая тетя Надя, а наверху — Коля Третьяков, которому тогда минуло 10 лет, и он только что поступил в 1-ый класс Пречистенской гимназии, его гувернёр, Карл Федорович Бюбло, перешедший к Коле от Коншиных, и старый конторщик, служивший, кажется, еще при дедушке Михаиле Захаровиче; Вас. Вас. Протопопов, которого никто не звал иначе как дядя Вася.

Бабушка Александра Даниловна приняла желание Павла Михайловича — «без единого возражения». «Но забыть она этого Вере Николаевне никогда не могла». Не любила она своих невесток, ни покойной Елизаветы Сергеевны, матери Коли, ни Веры Николаевны, ни будущей своей невестки, второй жены Сергея Михайловича — Елены Андреевны, урожденной Матвеевой. Не любила и нас, за внуков точно и не считала; и всю свою любовь отдала целиком своим «настоящим» внукам, детям своей любимой дочки Софии Махийловны Каминской.

Павел Михайлович заезжал к маменьке «поздороваться» — каждый день. Вера Николаевна бывала там редко, да и мы бывали впоследствии лишь в праздники — или в именины бабушки. Да и она у нас запросто никогда не бывала, приезжала лишь на все семейные обеды, «большие» и «маленькие».

По летам она жила у Каминских в селе Покровском на Филях, а по зимам нередко уезжала с вечно больной тетей Соней и ее больными детьми то на юг Франции, в Ментону, то лечить детей, в Париж.

**
*

Когда бабушка Александра Даниловна переехала с Надей и Колей из Толмачей к Илье Обыденному — в Толмачах осталась хозяйничать Машенька; хозяйство со всеми приказчиками, домашней прислугой, кучерами, возчиками, дворниками — держала она в руках и несла на своих плечах мирно, кротко, никогда не раздражалась и была любима всеми. Она до конца дней своих осталась Ангелом Хранителем Толмачей наших.

20-летняя Вера Николаевна, по желанию Павла Михайловича, продолжала заниматься музыкой и, по его же желанию, вместе с ним, с первого года замужества, посвятила себя общественной деятельности. В хозяйстве она ничего и не понимала всю жизнь, да и не касалась его. С Машенькой они быстро сошлись; обе кроткие, терпеливые, веселые — они прожили всю жизнь без единого облачка, в самой нежной дружбе и гармонии. И у нас, детей было таким образом две матери, которых мы, хоть и по-разному, но одинаково и нежно любили. Впоследствии мамочка назвала Машеньку — тетя Манечка, как звали ее мы.

Через год после женитьбы родителей появилась я, а со мною и няня-Таня. Росла я плохо, умирала с каждым зубом. Мамочка возила меня в коляске по зале, гостиной и столовой, делая круг через арки между этими комнатами, глотая слезы, каждый раз думая, что меня теряет.

Сестра Саша родилась через год и три месяца (23 декабря 1867 года); она была крепче и покойнее. Павел Михайлович обожал маленьких детей, любил целовать в нос, его борода меня щекотала, я ёжилась и отворачивалась, Саша же спокойно выносила ласки, и он ее и любил гораздо больше меня. В 12 лет я стала очень любить отца и он стал, благодаря моей ласке, нежен и ласков ко мне.

В 1870 году, 1-го марта, родилась Люба, болезненная, нервная, упрямая и самая добрая из нас.

В июне 1871 года родился Миша. Ожидая его, мамочка шла в школу, упала так сильно, что у нее сделалось, как тогда выражались, «сотрясение»; она себя плохо чувствовала и говорила, что этот ребенок наверное, родится ненормальным. Так оно и случилось.

Это было таким горем для обоих родителей, особенно для Павла Михайловича.

Помню, гораздо позже, приезжали какие-то врачи, немцы; пили чай после «визита». Нас вывели всех трех, девочек, чтобы, вероятно, показать, как трех нормальных детей. Я была уже настолько большая и знала достаточно хорошо немецкий язык, чтобы запомнить фразу, сказанную одним врачом другому о Мише: «dieses Kind befindet sich im Zustande des Idiotismus». Прожил Миша более 40 лет, пережив обоих родителей.

О рождении Маши (3-го мая 1875 г.) и рождении Вани (осенью 1878 года) — расскажу позже. Со времени рождения Маши, когда мне было уже 8 лет, начался второй период нашего детства — т. е. наше отрочество. Одно из самых ярких воспоминаний нашего детства было венчание тети Нади.

28 апреля 1871 года, когда деревья начали уже зеленеть, тополя благоухали в нашем саду со своими распутившимися почками, тюльпаны и гиацинты огромными клумбами цвели в саду, — нас днем раздели обеих с Сашей в одинаковые беленькие платьица, надели на нас пелеринки, белые с ярко-синими рюшками, соломенные шляпки с бархаткой и повели в нашу Толмачевскую церковь смотреть свадьбу тети Нади. Ей было тогда лет около двадцати.

После венчания мы все вернулись домой, вслед за женихом и невестой. В нашей столовой пастор Dickhof совершил второе, лютеранское венчание. Обед был, помню, в зале, где стол был накрыт «покоем», и в сто-

ловой — для более молодых приглашенных. Помню, как во время обеда принесли на руках сестру Любу — ей шел второй год — в шелковом голубом сарафанчике с серебряным галуном.

Помню, говорили, что молодые уехали жить в бревенчатый домик на фабрике («набивной») Циндаля, где жених тети Нади, Яков Федорович Гартунг (брат воспитательницы Коншиных, Мины Федоровны Гартунг) — служил химиком.

Яков Федорович, представительной наружности, добрый, страшно милый, хотя не лишенный некоторой банальности вкусов — стал на всю жизнь нашим общим любимцем дядей Яшей; с ним мы, молодежь, сохранили навсегда чисто приятельские отношения; не было ничего, что бы мы не могли его попросить.

А про тетю Надю и говорить нечего, какой она нам всегда была дорогой человек.

Это был впоследствии один из самых приятных родственных домов, где мы зачастую бывали.

**
*

Родители, поженившись, первые три лета нанимали дачу в Волинском, имении Хвоцинских, по Смоленскому шоссе, десять верст и затем надо было сворачивать влево. Потом переехали в Кунцево, куда приходилось ехать те же десять верст, по тому же шоссе, и в том же месте сворачивать, но не влево, а вправо. Буду много писать о Кунцеве позже, а пока хочется рассказать мои самые детские воспоминания о жизни там. Жили мы на даче Солодовниковой, прожили на той же даче 10 лет. Любили мы ездить в старом открытом ландо через Драгомиловскую заставу, мимо бойни, по Поклонной горе, откуда Наполеон любовался Москвой после Бородина; на 11-ой версте, своротив, как уж я говорила, вправо, переезжали у села Мазилова через плотину Мазиловского пруда, сворачивали влево, ехали вдоль берега, потом снова вправо, по кленовой ал-

лее, до колодца, где дорогу пересекала Прямая дорожка, сворачивали влево в березовую рощу, затем вправо, вдоль чудеснейшего громадного луга, на который выходили слева окна нашей кухни. А дача сама стояла как раз на опушке леса, первая из последних четырех дач, стоявших за проезжей дорогой, параллельно которой бежала дорожка, вдоль глубоких обрывов, по высокому, лесистому берегу Москва-реки. Каждый верстовой столб на шоссе, каждый поворот на проселочной дороге — наполнял душу такой неожиданной радостью, которая вспоминалась целую зиму и о которой целую зиму мечталось. Любили мы и дачу нашу. Среди дубов и березового парка стояла двухэтажная, бревенчатая дача, с открытым балконом спереди и крытой верандой сбоку, во дворе. Была у нас внизу громадная столовая с длиннющим диваном, во всю стену, на котором после завтрака, обеда и вечернего чая похрапывал дядя Вася, живший зимою у бабушки в Илье-обыденском доме, а по летам — у нас. Было внизу несколько спален, папина и мамина, тети-Манечкина, две комнаты «маленьких детей» и две комнаты для гостей. А мы с Сашей жили наверху. Наша комната в два окна и комната, сначала няни, потом воспитательницы, в одно окно — выходили на крытую террасу, смотревшую прямо на наш большой открытый балкон внизу, наверху же в задней части дачи находилась большая девичья и комната дяди Васи.

В начале мая мы переезжали. И сейчас не могу без волнения вспоминать цветущие кусты сирени, в которых заливались ночью соловьи, тихий летний дождик стучавший за стеной, под самым ухом, по железной крыше, ровный, теплый, бесконечный. Когда уже совсем стемнеет, начинает стучать колотушка сторожа Ефима Терентьевича, высокого, худого, в белой рубашке, с козлиной седой бородой и хитрыми глазками. В Кунцево часто забирались воры по очереди на все дачи, а потому все окна и наружные стеклянные двери

закрывались массивными ставнями и запирались на железные болты; они продевались сквозь специально просверленные дырки через бревна стен; а внутри комнаты вдевались в дырки в железных болтах — железные же пруты. Несмотря на такие же ставни в кухне, как-то рано утром повар наш Иван Ульянович «обмер» со страху, когда в кухне не оказалось посуды. Мечась по саду, он набрел на дорожке к пруду на разложенную, одна за другой, медную утварь: вору, очевидно, слышав какой-нибудь шорох — разбежались. Ефиму Терентьевичу было наказано усилить бдительность.

По субботам изредка дядя Вася ходил в гости к бабушке Александре Даниловне в Покровское, а обратно приезжал на извозчике, но оставлял последнего на некотором расстоянии, чтоб нас не будить. Мы ложились всегда рано. Папа в будни ездил в город на поезде в 8 часов, а в воскресенье вставал «с петухами», так как любил уходить на длинные прогулки. Как-то дядя Вася вошел во двор и увидел, на деревянном крыльце, храпящего Ефима Терентьевича, с закинутой головой и колотушкой на ступеньке рядом с ним.

«Ефим Терентьевич, ты что ж не сторожишь?», и потрепал его слегка за плечо, стараясь вразумить, но тот забормотал: «А сколько вас тут? Двое или трое? Скажи, двое или трое?» — и снова заснул сладким сном. На другое утро эта история показалась нам страшно занятной. Но совет взрослых решил заменить милую душе нашей колотушку большой чугунной доской, повешенной на березе и снабдить Ефима Терентьевича тяжелой чугунной палочкой. Помню, повесили около доски какие-то самые примитивные часы, на которых он должен был отмечать время после обхода всего нашего парка, постучавши в доску.

К большим результатам это не приводило, часто Ефим Терентьевич сладко задремывал на том же крыльце. Но звон чугунной доски в темные, долгие ночи

и звук колотушки, в светлые, короткие ночи, окутывали нас чем-то неопишваемым среди наших детских снов.

**
*

Я уже упоминала, что на Разгуляе у Мамонтовых были друзья Куклиньские. Анастасия Самсоновна, в будущем наша тетя Настя, — и Вера Самсоновна, вышедшая замуж за Ивана Ивановича Блезе, члена оркестра Большого Московского театра. Иван Иванович в день свадьбы или именин мамочки иногда приезжал рано утром с несколькими товарищами, садились в беседку, которая стояла как раз против нашей дачи над обрывом, с видом на заливные луга берегов Москва-реки — и играли на духовых инструментах мамочке «Ständchen». Мамочка летела с нами в беседку, и она, да и мы — маленькие — трогались этой музыкой, а тетя-Манечка готовила скорее закуску и утренний кофе и бежала приглашать гостей, чтобы хорошенько накормить их перед отъездом в Москву.

У Блезе был сын — студент Володя и три дочки, с которыми мы были очень дружны. В те лета в Кунцево изредка приходил Володя Блезе, прямо из Москвы пешком; без фуражки, с книгой под мышкой, — приходил к завтраку и уходил после чая перед обедом. Как объяснила мне тетя Аня, когда я подросла, Володя Блезе знал, что Павел Михайлович не любил его «фантазерских посещений», в то время только что были написаны «Отцы и дети». Володя воображал себя Базаровым и мечтал видеть в Вере Николаевне — Анну Сергеевну. Помню, что за столом конца не было разговоров про книжки, которых у нас в Кунцеве лежала всюду тьма. Володя Блезе, добрый, идеалист чистой воды, был любим всей своей семьей и тетей Настей, которая всё же «немного стеснялась его нигилизма». Володя умер очень молодым и я о нем грустила. Я любила его за то, что, после завтрака он брал меня с собою

на обрыв, полевее нашей беседки; мы лазили по глинистым оврагам, мы ползли по песку, по мху, глубоко вниз, держась за ветки и корни свалившихся от бурь деревьев; спускались в тьму, на проезжую дорогу, куда просачивались лишь пятнышки солнца; лазили до каких-то болотцев, прудиков, сажалок с рыбами и, все измазавшись, лезли снова вверх; и часто Володя нес меня на плечах. Возвращалась я, словно из далёких-далёких стран, — счастливая. Мамочка меня переодевала в чистенькое белое платьице и я пила со всеми в 3 часа чай на нашем большом балконе, с трех сторон уставленном, вдоль перил, горшками цветов. Настрое-ние бывало блаженное.

Но самое дорогое воспоминание тех лет, в Кунцеве, — моя дружба с Колей Третьяковым. Коля несколько лет подряд, живя зимою у бабушки, проводил лето, вместе с Карлом Федоровичем, у нас в Кунцеве. У Коли стояла в конюшне «понька» Гришка, а в каретном сарае — маленький шарабан. Часто ездил Коля с Карлом Федоровичем кататься. Тогда Коле шел 15-ый год, а мне — 4-ый. Я делала грешнички из песку и часто поглядывала на дорогу. Когда они, «наши кавалеры», как их звала тетя Аня, возвращались, Карл Федорович слезал, а Коля бежал за мною, брал на руки, сажал в шарабан, садился рядом и мы ехали шагом «проезжать» разгоряченного Гришку. Когда Коля меня дома высаживал, то целовал и говорил: «Верочка, если ты, когда вырастешь, будешь такая же миленькая, хочешь я на тебе женюсь?». Я шептала: «Не хочу», а Коля запевал мне песенку: «Невеста без места, жених без ума». Я смотрела жалостно на Колю, «жених без ума» звучало так грустно, что я начинала плакать, обвивая руками шею Коли, а он меня утешал. Много раз слышала я этот рассказ от Лины Карловны, обожавшей и меня, и Колю.

Кроме Гришки, у Коли был любимый пёс Палес. И

сейчас помню и его, и его ошейник с металлическими бляхами.

В те года лето бывало знойное и часто разносился панической слух: «Из Крылацкого бежит бешеная собака». Почему-то все страшное шло из Крылацкого, несмотря на красоту этого села на высоком, открытом берегу над рекой. И бури, и грозы, и бешеные собаки, и слухи об утопленниках всегда неслись из Крылацкого.

Помню как новый слух о бешеной собаке, бегущей в Кунцево, напугал Колю. Он весь день решил не выходить из сада, надел на Палеса ошейник, взял книгу и сел в кресле читать на площадке перед дачей (в то время не существовало еще прививок от водобоязни). Да и мамочка решила, сидя на большом балконе, смотреть за мной. Я любила возиться с формочками, тележкой и лопаткой около большой кучи песку под березами. Помню настроение надвигавшейся грозы. Вдруг из-под забора, по дорожке, ведущей к песочной куче, выбегает рыжая собаченка (как потом говорил Коля, с опущенным хвостом) и выхватывает у меня из рук белую мою тележку. В это время, как сейчас, слышу вопль Коли: «Бешеная собака, бешеная собака, Карл Федорович, где Палес?». И через секунду, помню, мамочка, по ступенькам, несется с балкона, схватывает меня и несется обратно вверх, в столовую. В то же время Коля, бегом, туда же втаскивает за ошейник своего пса и запирает за собой дверь на ключ. Слышу сейчас этот звук. Мамочка кричит тете-Манечке: «Эта деревянная тележка спасла жизнь Веруше. Ведь собака разодрала тележку на куски и, говорят, побежала прямо к Прямой дорожке.

Вечером, за обедом, прислуга рассказывала, что собаку убили в Мазилове.



В начале зимы, когда мне минуло пять лет, а Саше — четыре года, как-то мамочка, перед завтраком, позвала нас в гостиную. Там с ней сидела молодая дама, высокая, в черном платье, с оборками. Коса заложена высоко на голове, заколота испанским гребнем, лицо длинное и милое.

«Это Марья Ивановна Вальтер, которая будет приходить к вам каждое утро, на целый день». Она жила у своих родных на Садовой у Сухаревой башни, приходила в 9 часов утра и уходила в 7 часов после нашего обеда, а иногда и раньше, если ей было необходимо. Мы ее сразу полюбили, звали ее Мани и, целые дни болтая с ней, быстро научились немецкому языку. Она читала нам книжки, до сих пор оставшиеся любимыми: «Mutter Anna und ihr Häuschen», «Mutter Anna und ihr Gretchen», «Das Bunte Buch» и разные сказки. Слова «Schlaraffenland», «Wacholderstrauch» остались до сих пор для меня чарующими. Она проходила с нами Закон Божий по 2-м книжкам с раскрашенными картинками из обоих Заветов, читала и 2 томика Зонтаг, занималась арифметикой, русским языком. Она прекрасно знала русский язык, так как родилась и выросла в Ревеле. Ходили два раза в день гулять по Ордынке, мимо церкви Николы в Кадашах, мимо Егория на Всполье, мимо Екатерины Мученицы до Серпуховских ворот, а домой возвращались по Полянке, мимо дома тети Дуни Рукавишниковой, с чудесным, тенистым парком и большим, залитым солнцем, палисадником. Шли мимо церкви, сводившей нас с ума, Григория Кесарийского, по Толмачевскому переулку, домой, в Лаврушинский.

Все в доме любили Маню. Была она добрая, милая, но очень нервная. Когда Павел Михайлович задевал ста-

каном за стакан, Мани пугалась, вздрагивала, а Павел Михайлович пугался, что испугал ее и торопливо извинялся: «Простите меня, ради Бога, милая Марья Ивановна».

Два лета она жила с нами в Кунцеве. Помню, какой праздник бывал, когда в хорошую погоду в апреле месяце закладывалось наше ландо и мы с корзинками разной вкусной еды, фруктов и сладостей, рано утром уезжали, с Сергеем Максимовичем на козлах, на паре гнедых на целый день.

Дача наша запиралась на всю зиму, и отпиралась лишь за три дня, чтобы солнце согрело ее к переезду. Три дня шла чистка и уборка. Садилась в ландо мы с Сашей, с мамочкой и Мани, а иногда ездили с Сашей и с Мани втроем. Соловьи заливались. Кукушки в лесах — куковали. На лужайках, среди чудесных рощ, целые клумбы калужниц и баранчиков цвели и издавали свой особенный весенний запах. Лютики, лиловые фиалки и ландыши глядели из-под деревьев. А позже, летом, — белые фиалки-любки, как душистые белые свечки, торчали среди лугов! А в полях жаворонки заливались в высоту! А осенью — грибы! Рощи, осиновые, березовые, дубовые и сосновые... Наши прогулки, в продолжение десяти лет, по рощам, лугам и полям имени Солодовниковых, по дороге к Прокатному мосту, где еще в то время было древнее татарское кладбище — остались навсегда сказочным воспоминанием нашего детства.

Не только весной, но и зимою возил нас Сергей Михайлович кататься по Замоскворечью и другим частям Москвы.

Нередко вечером, после обеда, в оттепель или в маленький морозец, когда только выпадал мягкий, пушистый снежок, посылали в кучерскую попросить Сер-

гея Максимовича заложить парные сани на высоких полозьях. Сергей Максимович подавал их в своей лиловой, бархатной, кучерской, четырехугольной, шапке с мехом, в поддёвке с меховой, темнорыжей обшивкой, и серебряными пуговицами на боку. Закутывал нас, «кувалдышек», Андрей Осипович, «подавал» и застегивал нам «польты», завязывал башлыки, надевал на руки варежки, а сверх всего — куньи тальмочки на белой атласной, стёганой подкладке; сажал нас на переднее место, спиной к Сергею Максимовичу, а Мамочка и Мани садились на заднее место, лицом к кучеру.

Ехали мы кататься, то на Девичье Поле к Девичьему монастырю, то на Воронцово Поле к Новоспасскому монастырю, то по Ордынке, через Калужские ворота к Донскому монастырю и возвращались тогда через Крымский мост, мимо Катковского лицея, по Остоженке и через Каменные мосты.

Нас часто укачивало и мы засыпали. У подъезда Андрей Осипович отстёгивал меховую полость и помогал мамочке и Мані вылезть, а Сергей Максимович оборачивался на нас, спящих и с трогательностью в голосе говорил: «Блаженно младенческое успление». Андрей Осипович нас подымал, нёс по очереди в дом, в столовую, там раздевал, мы успевали проснуться, пили молоко и, не успев допить, едва добирались до наших постелек наверху в комнате, рядом с тети-Манечкиной.

Бывало у нас в то время много Славянофилов: Черкасские, Барановы, Щербатовы, Аксаковы, Станкевичи, Самарины и Чичерины. Павел Михайлович имел с ними личные отношения: политические, общественные и по городской работе. Он их «уважал», а мамочка была знакома лишь «визитами» с их женами и дочерьми. Мужчины приходили к Павлу Михайловичу вниз в кабинет довольно часто и всегда видели мамочку, а иногда выражали желание видеть и нас — девочек. Особенно часто заходил Юрий Федорович Самарин. Про-

тив самого Лаврушинского переуллка, в Большом Толмачевском, за черной, чугунной массивной решеткой и такими же воротами с гербами и львиными головами, стоял во дворе старинный, «ампирный» дом с колоннами, с 2-мя флигелями и садом в глубине. Здесь жили графы Саллогуб, графиня Мария Федоровна была сестрою Юрия Федоровича Самарина, ее сын, Федор Львович, женатый на Боде, и сама Мария Федоровна были знакомы с мамочкой тоже лишь «визитами». Юрий Федорович, часто бывавший у сестры, заходил к нам по дороге. Он любил разговаривать с нами, и мы его любили. Как-то «несется» Андрей Осипович и кричит по лестнице: «Марья Ивановна, Юрий Федорович желает барышень повидать». Мы спустились вниз, в кабинет. Делалось там все теснее, все стены и мольберты были полны картин и портретов. Поболтав с нами, Юрий Федорович вдруг, помню, взял меня за плечо, повернул и, показав пальцем на стоявший на ближнем мольберте портрет (портрет Льва Николаевича Толстого, только что написанный Крамским), спросил: «Знаешь ли кто это?» Я ответила: «Es ist ein Bauer»*. «Ах, милая, — сказал Юрий Федорович, смеясь, á как он бы рад был слышать эти слова!»

Другой раз, помню, бежит Андрей Осипович и кричит наверх по лестнице из буфетной (Андрей Осипович был слабого здоровья и мы все запрещали ему бегать по лестницам, т. к. он никогда не ходил, а всегда «носился»): «Марья Ивановна, Иван Сергеевич Тургенев приехали, Вера Николаевна просит вас с барышнями спуститься в столовую». Наверно, это было в воскресенье и Павел Михайлович был дома, в столовой, чай тетя Манечка уже начала разливать, да и

* Это крестьянин.

стол был накрыт, по-праздничному, заранее. Иван Сергеевич сидел на стуле у окна, ближнего к гостиной, а Павел Михайлович, стоя, указывал ему на картины на стенах. Иван Сергеевич ласково с нами поздоровался, сказал, что не узнает нас, как мы выросли и думает — какие мы должны быть теперь большие шалуни.

Значит — он нас видал и раньше, но я его увидела в первый раз. Он нас обнял обеими руками, начал шутить, а мы начали к нему приставать. Я слышала, что Тургенев пишет книги, которые мамочка читает и стала просить его написать что-нибудь для меня. Он улыбнулся и сказал: «Милая, я был бы так рад исполнить твое желание, но это слишком трудно». Эти непонятные слова врезались мне в память. Я не переставала приставать к мамочке объяснить их мне. — «Почему?, Почему?» Этого не могла мне объяснить и тетя Аня.

Жизнь с Мани́ была раем; хотелось бы, чтобы она никогда не кончалась. Но конец пришел так неожиданно и так быстро. Как-то Мани́ пришла утром вместе с мамочкой, обе были заплаканы. Маня простилась с нами, сказала, что выходит замуж за полковника Вернера и будет жить в Ревеле. Мы все вместе неутешно плакали. Мамочка сняла с нас двух и Мани чудесную фотографию. Разлука с нею стала и разлукой с нашим детством.

Глава VII

ОТ ДЕТСТВА К ОТРОЧЕСТВУ

Если детство может действительно быть счастливым, — то мое детство было таковым.

То доверие, та гармония между любимыми людьми, любившими нас, и о нас заботившимися, было, мне кажется, самым ценным и радостным.

Что говорила тетя Манечка, говорила и мамочка, и Маня. Как-то ничто не запрещалось и ничего не приказывалось, и к капризам не было, очевидно, повода. Не помню, чтобы кто-нибудь рассердился или чтобы я была наказана.

Маня ушла, стало пусто. Мамочка и тетя Манечка целыми днями были заняты своими обязанностями. Началась зима 1873-1874 года. Мне минуло 7, а Саше — скоро должно было минуть 6. Саша начала уроки музыки, а меня уже второй год мамочка учила игре на фортепиано и попутно гармонии.

По рекомендации Марии Федоровны Морозовой, мамочка пригласила нам Клару Ивановну (фамилии ее не помню), краснощекую, черноволосую, немолодую баварку, говорившую, нам казалось, грубо и нас всё время останавливавшую и критиковавшую наш остзейский выговор. Это нас обижало, нестолько за себя, как за Маня, и вызывало в нас протест и неприязнь — нехорошее новое чувство.

Клара Ивановна часто принимала за чайным столом касторку «для сохранения цвета лица».

В это лето в Кунцево изредка приезжали гулять Кисловские¹, Анна Владимировна с дочками Надей и Верой, у которых прежде жила Клара Ивановна.

И как-то приезжали с ними М. Перевозчикова с сыном Митей и его двумя товарищами, Морозовыми, Саввой и Сережей. У Морозовых жила Клара Ивановна при мальчиках, куда они не подросли.

М. Перевозчикова была известна в Москве своею «пикантностью» и шармом. У нее было двое детей: Митя, юрист, Дмитрий Петрович, товарищ мальчиков «Красноворотских» Алексеевых и дочка Маруся, вышедшая впоследствии замуж за Константина Сергеевича Алексеева, по сцене Станиславского, и сама стала изумительной, тончайшей актрисой Московского Художественного театра, — Лилиной. Савва Морозов был близок к Моск. Худож. театру; просиживал вечерами на колосниках, финансировал; был либерал, увлекался рабочим вопросом; «разочаровался», как говорят, в Первой революции (1905) и «покончил с собою». Сережа (Сергей Тимоф.) стоял вместе с Марией Федоровной Якунчиковой во главе Российского Кустарного Производства. Был истеричен, как его отец, и так же очарователен.

Кисловские зашли к нам и пригласили Клару Ивановну и нас с нею на прогулку. И говорить нечего, что нам было весело. И это обстоятельство нас немного примирило с Кларой Ивановной. Мы, наверное, решили, что, если Клара Ивановна неприятная, то виновато в этом ничто иное, как то, что Клара Ивановна просто не подходит в наш дом, а наш дом — не подходит ей.

Прожила она у нас меньше года: под осень в один прекрасный день, неожиданно она, не простившись с нами, ушла пешком, на только что выстроенный

¹ Кисловская, урожденная Алексева, о которой я писала в главе о семье Алексеевых.

полустанок «Кунцево» на Московско-Брестской ж. д.. Мы ее скоро забыли.

До осени мамочка и тетя Манечка дали нам в Кунцеве «полную свободу», и мы очень веселились с нашими соседями Эмилией Банза и ея двоюродным братом Рудольфом Германом, жившими у своих родственников Вогау. Они были нашего возраста.

Когда поступила к нам Клара Ивановна, мамочка пригласила нас для уроков русского языка и арифметики — известного в то время педагога — Александра Николаевну Островскую, сестру писателя².

Она была мила, умна, и мы очень прилежно с нею занимались. На следующую зиму, к нашему огорчению, она была так завалена по утрам занятиями в гимназиях, что должна была отказаться от частных уроков. И мамочка начала серьезно обдумывать: не отдать ли нас в приготовительную пробную школу при Обществе Воспитательниц и Учительниц, где преподавательницей была мамочкина любимая невестка Елизавета Ивановна Мамонтова (вдова Михаила Николаевича). Но об этом напишу в одной из последующих глав. А пока хочу рассказать о новых сторонах нашей жизни, с осени 1873 г. по весну 1874 г.

Мамочка была веселая, любила молодежь; многие племянницы стали взрослыми и с некоторыми из них она была дружна. Особенно часто, всю жизнь свою (к горю, такую короткую), приезжала к мамочке Саша Коншина; она была всего лет на семь моложе мамочки; была сама-доброта, глубокого ума, большой культуры. Пили с мамочкой чай внизу, в кабинете, беседовали без конца; иногда оставалась Саша с нами обедать и вечером засиживалась. Павел Михайлович ее не только любил, но и уважал. Потеряла она, как я уже говорила, свою мать рано, и сумела быть другом

² Сестра их Мария Николаевна была классной дамой в Московской Консерватории, когда Саша Зилоти там учился.

и добрым советником своему отцу. Стала сама хлебо-сольной хозяйкой в доме своего хлебо-сольного отца. В то время, о котором рассказываю, ей шел 21-й год. Сестре ее, красивой Параше, шел 14-й год, но можно было ей дать все 16. Они были дружны со своими родственницами Лилишей и Наташей Якунчиковыми, которых любила тетя Зина и мамочка. Молодежи надождали официальные выезды и мамочка решила устраивать для них танцевальные вечеринки, с входившими в моду «таперами» или «тапершами», вместо оркестра. Выходило проще и уютнее. Мамочка сделала почин. Начала приглашать одну молодежь, без родителей или воспитателей. Выбирались дни, когда папочка уезжал в Кострому или Питер, как он всегда выражался. Выносился второй рояль, ставился к стене. Нам позволяли смотреть на танцующих. Помню всё, как сейчас. Барышни решили между собою сшить на все эти вечеринки по одному простенькому платьицу из мелкополосатого сапожниковского канауса. Какое это было для нас волнение, когда начинали собираться молодые девицы, а вперемежку с ними и молодые люди; но все во фраках: тогда еще не существовало ничего, что могло их заменить. Упомяну тех, кого помню ясно; наверное многих забыла.

Саша и Параша Коншины; Лилиша и Наташа Якунчиковы; Алевтина, Саша и Юлия Морозовы; красавица Катя Четверикова, называемая Рибочка; три дочери мамочкиного и тети Зининого учителя музыки Рибя: Людмила, гениально музыкальная, Елена и хорошенькая Анночка; Саша Каминская, длинная 10-ти летняя девочка, которую одевали и держали, как взрослую; потом молоденькие дамы с мужьями: тетя Надя и Яша, Мария Алекс. и Сергей Иванович Четвериковы; Анна Дмитриевна и Сергей Николаевич Лажечниковы; Вениамин Алекс. Башкиров; Коля Третьяков (в ту зиму студент 1-го курса юридич. факультета Московского Университета) его товарищи: Духанин,

Белокопытов, Дмитр. Иванович Четвериков, Роберт и Адольф Эрихсон, Володя Коншин.

Приезжал изредка и дядя, Николай Николаевич Мамонтов, потанцевать с Верой Николаевной вальс, который она особенно любила танцевать.

Кажется никого больше не вспомню.

Тетя Дуня, как и тетя Зина, танцевать не любила; обе они просто не приезжали.

В 12 часов ночи нам давали фрукты, конфекты, мы шли ложиться, а в столовой начинался веселый (хотя и без шампанского, по уговору мамочки с молодежью) ужин, остатки которого мы подъедали на другой день. Эти вечера действительно были удачны. Веселились всю зиму, мечтали повторить, но мамочка следующей зимой ожидала сестру Машу — и ей было не до того.

Еще с 60-х годов, как я уже упоминала, гремела в Москве, в Большом театре Итальянская опера, что продолжалось еще и в начале 70-х годов. Наши родители продолжали быть абонированными. У нас за столом все время говорилось о картинах, выставках, итальянской опере, о Малом театре, о балете, о Симфонических Собраниях; и мы запоминали не только репертуар, но и всех исполнителей; у Мамочки были чудесные альбомы фотографий («карточек», как тогда выражались) всех артистов, которые ей нравились.

Как сейчас помню фотографии: Аделины и Карлотты Патти, сестер Маркези, Скальки, Змероски, Альбани, д'Анжери, Нильсон и певцов Николини, Станьо и Котоньи. Мы чувствовали себя дома не только в Московских театрах, но и Петербургских, так как папочка, заядлый театрал, то и дело ездил в Питер послушать в сотый, может быть, раз «Руслана» с Иваном Ал. Мельниковым, «Вражью Силу» с Петровым. Кроме того папочка любил вспоминать о всех прежних корифеях. Знакомились мы с Шекспиром: в то время несколько сезонов подряд приезжал Эрнесто Росси.

Особенно увлекалась мамочка. Не было спектакля Росси, чтобы она не попросила тетю Манечку «захватить» в кассу Большого театра ей за билетом.

Таким образом, по рассказам, да еще с помощью фотографий, мы знали кое-что о «Гамлете», «Макбете», «Короле Лире», «Отелло»; знакомы были и с пьесами Островского, которые любил папочка; и с исполнителями, как Иван Васильевич Самарин, Гликерия Николаевна Федотова, молодая звезда Мария Николаевна Ермолова. Мне нравилось, что Папочка находил, что я на нее буду похожа.

Когда нам было 5 и 6 лет, нас с Сашей взяли на святках на «Жизнь за Царя». Пела Ваню знаменитая красавица и чудесное контральто — Кадмина, которая послужила прототипом для Тургеневской «Клары Миллич», пела Антонииду — тогда шумевшая Кочетова-Александрова, пел Додонов. Других не помню. Я так вздыхала во время Сусанинских сцен, а Саша так рыдала, что решили нас пока в оперу не брать. Взяли нас в цирк Чинизелли. Все шло великолепно, но когда клоун принес голубой узелок, начал развязывать и там оказался сложенный мальчик, маленький маленький, в голубом трико с серебром; когда клоун его вынул, выпрямил, потом начал выделывать с ним «кунштштюки», его бросать — я крепилась, крепилась, но начала кричать: «Мамочка он упадет». Дома у меня сделался жар; в бреду я повторяла то и дело: «Мамочка, мамочка, он упадет» и начинала плакать. Решили пока нас не брать и в цирк. На масленице взяли нас на катанье на Девичьем поле. Ехали мимо балаганов, куда замерзшие актеры зазывали публику под звуки и треск барабанов. Меня это прямо испугало. Взяли нас в балет, — это прошло не только благополучно, но и восторгам не было конца. Смотрели «Конька-Горбунка»; и «Дочь Фараона»; танцевала в то время знаменитая Собещанская. Сестра Саша с тех пор стала и осталась «балетоманкой». Позже мы слушали «Аскольдову могилу».

Мы жадно слушали рассказы о всем, что творится в театральном мире, и нас, конечно, тянуло в театр.

С 1872 года мамочка иногда по воскресеньям днем стала брать меня в Квартетные Собрания в Малой зале Благородного (т. е. Дворянского) Собрания. А на следующий год нас обеих с Сашей брала, когда играл «Николай Григорьевич». Не могу забыть, какое впечатление произвело на меня, когда тот самый, только что поздоровавшийся с мамочкой и со мной Николай Григорьевич вдруг взошел на эстраду, взял la и d-moll-ное трезвучие, и через открытую дверь в артистическую, начали настраивать квартет. Николай Григорьевич сбежал вниз по ступенькам, вернулся в артистическую, а через минуту вышли на эстраду: он, Лауб, Гржимали, Гербер и Эзер и начали вместе играть.

Как-то раз, перед концертом, когда мы с Сашей, рядом с мамочкой, стояли у окна, подошел к нам Николай Григорьевич, поздоровался с нами и, глядя страшно мило на мамочку, сказал: «Да, прежде были две девочки: Зина и Вера; а теперь — две девочки: Вера и Саша».

Николай Григорьевич Рубинштейн был первым музыкантом, которого я знала и любила. Соло я слышала лишь один раз, во время Турецкой войны, в Манеже на Моховой. Он играл в пользу Красного Креста. Играл он Шопена, Рапсодию Листа и Русскую Фантазию и Трепака Антона Григорьевича. До самой смерти Николая Григорьевича в 1881 году нас не брали в Симфонические Собрания, таким образом я никогда не слыхала его, ни дирижирующим в концерте, ни играющим с оркестром, о чем и сейчас сожалею.

В начале 60-х годов Антон Григорьевич Рубинштейн основал Императорское Русское Музыкальное Общество (И. Р. М. О.) в Петербурге под покровительством Великой Княгини Елены Павловны, начал

давать Симфонические Концерты и основал Консерваторию. Вслед за ним сделал то же самое для Москвы его брат Николай Григорьевич. Консерватория была основана в 1866 году, а концерты немного ранее. Николай Григорьевич нанял на большой Никитской барский дом-особняк во дворе с двумя воротами в ограде с решеткой. Посреди двора был круглый палисадник с большими деревьями, через который проходили пешеходы из калитки.

Николай Григорьевич, любимый Москвой, собрал достаточное число членов, внесших единовременно по тысячи рублей, и которые делались почетными членами. Одним из первых был князь Николай Петрович Трубецкой, который стал председателем Московского отделения И. Р. М. О. Затем Василий Иванович Якунчиков и Сергей Михайлович Третьяков. Вносящие ежегодно по сто рублей делались действительными членами и имели кресло на все симфонические, квартетные и ученические вечера консерватории. Женившись на Зинаиде Николаевне Мамонтовой, Василий Иванович записал действительными членами и Зинаиду Николаевну и Веру Николаевну. Обе они тоже стали действительными членами общества. Действительным членом стал и Павел Михайлович, так что наши родители ездили во все концерты И. Р. М. О. Мы с Сашей были записаны действительными членами уже взрослыми барышнями, а до того, с осени 1881 года, сидели с тетей Манечкой на хорах и очень веселились. Бывал там Брандуков, Зилоти и другие молодые артисты. Николай Григорьевич давал под своим управлением ежегодно оперные спектакли. Начиная с 1875 года, мамочка нас с собою брала на генеральные репетиции. Слышали мы «Фрейшютца», «Иосифа» Мегюля, «Белую Даму», «Севильского Цирюльника», видели спектакли класса Ивана Васильевича Самарина, — все больше пьесы Мольера.

Была радость видеть Николая Григорьевича во

фраке со светлыми пуговицами во главе оркестра учеников. Происходило это всегда в Малом театре. На «Евгения Онегина», только что написанного Чайковским для Московской Консерватории, насколько помнится в 1878 году, — нас не взяли. Создала Татьяну Мария Николаевна Климентова, вышедшая замуж впоследствии за проф. Муромцева. Мы услышали в первый раз «Онегина» несколько лет спустя, в Большом театре, с тою же Климентовой; Онегина пел Хохлов. Это исполнение осталось навсегда незабвенным. В одном из Консерваторских спектаклей слышали мы и «Фиделио» Бетховена, с Климентовой в главной роли.

Не вспомню, не последний ли это был спектакль при жизни Николая Григорьевича?

Глава VIII

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Около того времени как поженились наши родители, в середине 60-х годов, городское управление покрыло Москву сетью мужских и женских начальных, трехгодичных училищ, за плату три рубля в год.

Все дамы, кто только имел возможность, взяли на себя попечительство, выбрав школу в ближайшем районе к их месту жительства. Каждая любила свою школу, с увлечением отдавала ей необходимое время, а при встречах попечительницы обсуждали вопросы улучшения и усовершенствования принципов ведения дела. В женских школах, кроме попечительницы, был еще и попечитель, в большинстве случаев из гласных думы или городских деятелей. С мамочкой, более 25 лет, прослужил попечителем Пятницкого городского училища — энергичный, интеллигентный, симпатичный Владимир Петрович Вишняков.

Сначала школа была в Кожевниках, неподалёку от Серпуховских ворот, позже — на Кузнецкой улице.

Мамочка ходила туда пешком после утреннего кофе, два-три раза в неделю и возвращалась, обычно, к завтраку, а в горячее время оставалась и долее. С тех пор, как себя помню, мамочка время от времени в тёплую погоду привозила меня с собою в школу на извозчике, сажая меня на стол рядом с учительницей. Может быть, и хорошо, что мамочка не преувеличивала риска заразы, во всяком случае никогда ничего не случилось. Помню лишь школу на Кузнецкой,

во дворе, в помещицьем доме, в бэльэтаже; были три обширные комнаты и наверху помещение для старшей учительницы, интеллигентной и симпатичной Эмилии Григорьевны Быховец; в этих школах бывало три класса, по 30 чел. в каждом. В младшем классе была немолодая, опытная и очень симпатичная Александра Алексеевна Коновалова, а в среднем — воспитанница Эмилии Григорьевны — Зинаида Андреевна Шёнинг, страшно милая, веселая; она же вела класс хорового пения. С нею мы со временем подружились. Бывали мы на всех экзаменах, на ёлке, устраиваемой мамочкой каждое Рождество. Мы знали почти всех девочек по фамилиям. Кончавшим блестяще и способным мамочка давала возможность продолжать образование по большей части в семинарии Чепелевской или в гимназии.

Когда мы были взрослыми девочками, мамочку просили принять на себя еще попечительство в одном из только что открывавшихся городских четырехклассных училищ. Эмилия Григорьевна Быховец была назначена учительницей в старший 4-й класс и мамочка, любившая и ценившая ее, не могла отказаться. К этой школе мы, девочки, стояли менее близко; мы были заняты нашим образованием дома, и не было свободного времени по утрам.

Папочка с молодых лет был попечителем Арнольдовского училища для глухонемых, кажется, на Лубянке. Если я не ошибаюсь, папочка приобрел это училище у Арнольда, стал единоличным попечителем: купил большой участок земли на Донской улице, близ Донского Монастыря, выстроил вместе с Александром Степановичем Каминским громадный трёхэтажный дом, развел сад и огород, который возделывали ученики под наблюдением учителей¹.

¹ Училище стало «Московским Городским»; директором долгое время был П. П. Органов.

Была масса классов; разделялись группы учеников не по возрасту, а по развитию, способностям, мальчики и девочки вместе; обучение было устное, но в рекреационное время было невозможно заставить учеников не употреблять общеизвестной мимики. У мальчиков были сапожная, башмачная, столярная и переплетная мастерские, обслуживавшие нужды всех учащихся и нужды училища. У девочек была громадная рукодельная, где они обшивали себя, шили белье мальчикам, также шили и чинили все белье для училища.

Как только дом был выстроен и оборудован, мамочка взяла на себя попечительство над женским отделом училища. Оба наших родителя посвящали ему много времени. Они выбирали новых учителей и учительниц из своих близких друзей и даже родственников, которым они могли довериться, что детей они не обидят; молодежь шла на это служение, сознательно, самоотверженно; понемногу весь персонал стал своим, родным.

Во главе рукодельного отдела стала наша тетька Настя — Анастасия Самсоновна Куклинская. Она вечно «дышала на ладан», но энергии была непомерной. Добрая, справедливая, горячая, полная энтузиазма при великолепном знании своего дела. Проработала она там до конца своей долгой жизни. Она часто в свободные дни приходила к нам в Толмачи и мы ей радовались. Помощницей пригласили её племянницу Соню Блэзе. Старшая сестра Сони, Екатерина Ивановна Блэзе, стала тоже учительницей и впоследствии вышла замуж за учителя, воспитателя училища Петра Алексеевича Надеждина. Позже поступила учительницей троюродная племянница Павла Михайловича, Александра Николаевна Пуговкина, большой друг моей юности, которая проработала в училище, отдавая всю себя, бесконечное число лет.

Вера Николаевна ездила в училище тоже раза

два в неделю по утрам. Она была обожаема девочками, а Павел Михайлович мальчиками. Вера Николаевна была так добра, мягка, не умела наказывать, когда ей «докладывали» тетя Настя или учительницы о шалостях или проступках девочек, всегда трогалась слезами и обещаниями и сама начинала просить за девочек и убеждала, что «они больше не будут», и сама понимала, что дисциплина хромала и просила пригласить еще попечительницу. Павел Михайлович ездил в училище так часто, как мог, бывал в классах, сам делал проверочные и весенние экзамены. Но чем дальше в лес, тем больше дров — ему стало времени не хватать на все его дела. Он решил просить супругов Станкевич (Александра Владимировича и Елену Константиновну) разделить с ним попечительство в училище. Станкевичи дали согласие и были дельными попечителями. Елена Константиновна при всей доброте, обладала выдержанным характером, была тверда в своих решениях, которые всегда были обдуманы. Они с Верой Николаевной были в прекрасных отношениях, ездили в училище вместе и сговаривались заранее, делая «компромиссы», о которых девочки, конечно, не знали. Ведь глухонемые самые несчастные на свете люди, несчастнее слепых. Это доказывает полное развитие у слепых и такое неполное и даже ограниченное развитие — у глухонемых. За очень немногими исключениями, которые я знала в жизни. Нигде я не слышала такой тишины и гармонии, как у слепых, и нигде, никогда не слыхала такого шума, визга, гула, шарканья башмаками и дикого смеха и воплей, как у глухонемых.

Мы бывали на всех экзаменах, на ежегодной ёлке, играли с детьми в игры, — всех знали по именам, знали судьбу каждой девочки. И были там своими. В моей жизни это было так до моего замужества и отъезда за границу. Мои сестры, жившие в Москве, впоследствии стояли близко к училищу.

Всё свободное время от работы в школах и от семейных обязанностей, мамочка посвящала музыке.

Когда бывала у нас Елена Осиповна Рыба, — они с мамочкой играли в четыре руки всех классиков, особенно много — квартеты Бетховена, Шуберта. Играли часто в Кунцеве в дождливые вечера, т. к. «Рибочки» жили на даче близ Кунцева, в Филях. Зимой иногда собиралась целая компания: тетя Зина, две «Рибочки», Сергей Иванович Четвериков, его сестра Мария Ивановна Протопопова, Екатерина Алексеевна Мамонтова (жена Ивана Николаевича) и Анна Дмитриевна Ложечникова; и играли в 8 рук, меняя исполнителей, одни играли, другие слушали; но в эти дни «гостей» не приглашали.

С 7-ми лет я начала брать уроки у Иосифа Вячеславовича Рыбы; позже годом и Саша перешла к нему. Говорил он невероятно плохим русским языком, так плохо могут говорить только чехи. Когда он был доволен моим исполнением Моцарта, он говорил: «Потому что у Верáчки тоже чѣсти дѹшу, как у Мóцарта»; но когда что-нибудь ему не нравилось — он кричал: «Ой, Китайщина! Грбша не стоит!»

Рыба был помощником Гензельта, который занимал место инспектора в институтах для благородных «девиц» в Петербурге и Москве. Приезжая в Москву, Гензельт бывал изредка у нас, прослушивал нас, когда мы стали постарше и играл мамочке. Не раз играл второе фортепиано своих транскрипций этюдов Крамера (для 2-х ф. п.), когда я играла этюды в оригинальном виде, по его выбору. Он бывал очень любезен и было большим баловством для меня, когда он посвятил мне-девочке, свое концертное переложение двух этюдов того же Крамера.

По вечерам, когда папочка не ехал на заседание или в театр, он оставался после обеда сидеть в столовой, читал и курил свою любимую единственную сигару за день. Мамочка почти всегда в те вечера шла

в залу и играла без конца, всегда в темноте. Мы часто забирались под рояль, сидели, притаившись, часами. Когда мамочка вспоминала итальянские народные песни, особенно грустные, Сорентские, — мы начинали всхлипывать и себя выдавали. Когда мы выросли, то папочка, когда мамочки не было дома вечером, просил играть меня и играла я ему тоже часами, и в Толмачах и особенно часто на даче в ненастные или осенние вечера. Саша разбирала «Руслана», «Онегина», — наши любимые оперы. На дачу бралось много нот из мамочкиной библиотеки. Проигрывалось много всего, и старого и нового, для знакомства с литературой. Иногда папочка спрашивал: «А когда будешь играть свое?» Я любила подолгу импровизировать, любила и сочинять.

Глава IX

ГАЛЛЕЯ

С тех пор как себя помню, мы редко завтракали одни, в семье, почти всегда кто-нибудь приходил повидать нас в этот час, без зóву, зная, что родители всегда дома или, во всяком случае, один из них. Все друзья знали, что в это время менее всего помещаешь. Приходила Екатерина Федоровна Вагина, о которой уже упоминала; приходили двоюродные сестры мамочки, урожденные Вагины; Софья Николаевна Игнатьева, красивая, энергичная, либеральная по взглядам, такие же либеральные сестры ее Вера Николаевна и Любовь Николаевна; приходили Лосевы, тверские помещики, когда приезжали в Москву; Николай Николаевич Лосев, бывший моряк, добрый и милый как и его жена и дочери; изредка приводил папочка приезжих фабрикантов и все-го чаще художников, приходивших повидать его по делу. Мамочка любила видеть людей, да и всякий рад был ее видеть.

Мамочка и папочка сидели всегда рядом во главе нашего широкого стола, спиною к Толмачевской церкви; мамочка по левую руку папочки. Дамы сидели обычно налево от мамочки, а мужчины направо от папочки, для удобства разговора. Чем мы становились взрослее, тем более интересовались всем и запоминали говорившееся за столом.

В начале 70-х годов папочка всё чаще стал при-

водить с собою наверх к завтраку Александра Степановича Каминского. Часто повторялись разговоры, подобные следующему: «Да, Александр Степанович, я и говорю: тесно, ужасно тесно. Ведь у меня внизу и вершка свободного нет. Не только вешать, даже поставить картин некуда». — «Ах, Паша, да я уже тебе давно говорю: либо не покупай картин, либо строй галлерею. Места, ты знаешь, в саду хватит».

К весне из окон столовой, мы все чаще и чаще видели, как Александр Степанович с Павлом Михайловичем ходили по саду параллельно церковной ограде, от угла столовой до Толмачевского переулка, со складными саженьями. Видно было, что обсуждали, спорили; Александр Степанович размахивал руками, Павел Михайлович то и дело тёр платком нос. Когда стало теплеть, — появились рабочие, начали копать канавку от угла столовой, по направлению к Толмачевскому переулку.

Как-то утром нас позвали к окну в столовой. Мы увидели, как в углу вырытой канавки, отступая от дома, и ближе к церковной ограде пришли батюшка Василий Петрович, отец дьякон, дьячки наши и начали служить молебен. Стояли Александр Степанович, наши родители, тетя Манечка, Петр-Игнатичка, кто мог из приказчиков и прислуг и какой-то новый человек, в синем суконном армяке, с курчавыми, светлыми волосами и хитрыми, умными глазами. Он истоиво крестился. Это был новый десятник Андрей Памфилич.

В угол канавки положили кирпич, покрóпили его святою водою, и втолкнули длинный деревянный шест с крестом. Так заложили галлерею. (Помнится весной 1873, если только не ошибаюсь).

Стали класть фундамент, возить кирпич. Мы уехали в Кунцево, а когда осенью вернулись, — стены уже были выведены.

Ежедневно к завтраку приходил Александр Степанович, начинались обсуждения, споры с Павлом Ми-

хайловичем. Главное насчет духового отопления в подвале галлерей, об отдушниках, о стеклянных рамах в потолке. Когда казалось, что не ладилось, Александр Степанович был озабочен и молчалив. Павел Михайлович его подбадривал. Но, когда казалось, что всё идет на стройке хорошо, Алексей Степанович бывал в духе, болтал весело, без умолку и любил похвастать: «Паша, а ты знаешь...» — «Знаю, знаю, козыряешь, Степаныч, не козырай!» — «Ах, какой ты, право, Паша», и, обращаясь к мамочке: «Верочка, скажи Паше, чтоб он меня не обижал и дай мне твою ручку поцеловать». Мамочка весело смеялась, вытягивала свою руку через прибор папочки до губ Александра Степановича. Он целовал ее руку и говорил: «Ну, вот — какая ты милая!» и тут же, оборачиваясь к тете-Манечке, говорил, как и всегда в нос: «Махка, кихшу» («Марка, киршу»). Тетя Манечка шла к буфету, доставала бутылку и наливала Александру Степановичу одну рюмочку за другой. Когда на стройке бывало морозно, то и Павел Михайлович выпивал рюмку померанцевой с допель-кюмме-лем или просто рюмку водки.

В этом духе продолжалось годами, годами. Павел Михайлович с Сергеем Михайловичем строили с Александром Степановичем, так сказать, — всю жизнь. И дома на Кузнецком Мосту, и на Рождественке, и «Третьяковский проезд» в Китайской стене, выходивший на площадь и на Никольскую, и дом Училища глухонемых, и перестраивали на Бабьем городке, и дом Сергея Михайловича на Пречистенском бульваре; строили галлерею и перестраивали несколько раз. Я с детства была равнодушна и сохранила на всю жизнь нежность к постройкам и хождению по лесам.

Александр Степанович был талантливый, милейший, добрейший, честнейший человек, а его легкомысленный нрав — был лишь его слабостью, которая легко прощалась любившими его.

Церкви нашей видно не стало. Всю зиму стены

«мерзли», а работы шли лишь невидимо в подвале под галлереей. Весною же работы снова пошли «видимые» и осенью, когда мы во второй раз во время стройки вернулись с дачи, к нашему изумлению — была пробита и уже поставлена дверь из угла столовой в угол галлерей; дверь из столовой была массивная дубовая, а со стороны галлерей — створчатая железная. Прошли через дверь; нас охватил запах штукатурки, краски и тепло, даже жар, валивший из открытых больших отдушников у самого пола, на котором уже клали паркет; красили рамы в потолке белым, а стены в темно-кирпичный цвет. Пройдя длинную-длинную залу мы увидели дубовую лестницу идущую вниз, а внизу ряд больших щитов для картин, которые, как и стены, красили в кофейный цвет. Пол верхней галлерей был вровень с полом столовой, а пол нижней галлерей был одной ступенькой ниже пола кабинет Павла Михайловича, из которого тоже была пробита двойная дверь в галлерей.

И вот скоро началась забота, как развесить картины. Мы начали бегать из столовой в галлерей в каждую свободную минуту. Помню как-то прибежала я, Андрей Осипович стоял перед картиной «Севастополь» Филиппова, только что повешенной над лестницей. «Ну, как дела, Андрей Осипович?» — «Да вот, барышня, измучился я совсем с Филипповым. Дня три назад зовут меня Павел Михайлович в галлерей и говорят: «Андрюшка, чтоб через три дня Филиппов висел вот здесь над лестницей». Мы отлично знали, что отец звал Андрея Осиповича полным именем и слово «Андрюшка» показывало лишь настроение самого Андрея Осиповича, всё его волнение перед «ответственностью». «И вот, — продолжал Андрей Осипович, — начал я думать и прикидывать, как тут повесить. Ведь лестница, того и гляди, либо люди свалятся — расшибутся, либо картина оборвется — и ей тут капут. Андрюшка мокрыми слезами плакал, три дня пробо-

вал. И доски положил и веревки зацепил за железные пруты у потолка, и с каждой стороны людей повесил и сам повесился — ничего, — выдержало. Как-то уж Господь помог, повесили Филиппова прямо чудом. Ну Андрюшка и повеселел. А Павел Михайлович пришли и похвалили, и как висит, и наклон похвалили».

Так Андрей Осипович и остался при галлерее. Позже перешли на службу в галлерею наш «буфетный мужик» Андрей Маркович и младший кучер Леон; также поступил и поныне состоит на службе в галлерее сын Андрея Осиповича — Николай Андреевич.

Для публики ход в галлерею был через двор, из ворот налево. Входная дверь была в конце тротуара через часть сада, ведущую к Толмачевской церкви, под прямым углом к двери в кабинет Павла Михайловича.

По правой стороне от входа, поперек галлерей, в каждом простенке между большими итальянскими окнами, выходящими во внутрь сада, стояли щиты, с пролётами у пола; на этих щитах и на левой глухой стене, параллельной церковной ограде, были повешены картины старых мастеров: Кипренский, Тропинин (особенно я любила портрет Павла Карловича Брюллова), Уткин, Варнек, Брюллов, Шварц, Федотов и т. д. и в глубине галлерей у лестницы вверх, кончалось этюдами Александра Ивановича Иванова к картине «Явление Христа народу».

Павел Михайлович всегда, как он выражался, «завидывал», что лучшие этюды к этой картине находились не у него, а в коллекции Михаила Петровича Боткина, который как друг Иванова в Риме мог выбрать лучшие раньше всех.

В верхней галлерее рядом с Филипповым висели: «Привал арестантов» Якоби, «Последняя весна», пейзажи барона Клодта; Щедрин, Лагорио, Бруни (лик Христа, Мадонна с голубем и автопортрет Бруни), Капкóв (купающаяся женщина, Благовещение, мадон-

на с младенцем), «Маленькие Савояры» Макарова; «Неравный брак» и «Прием приданого» Пукирева, «Княжна Тараканова» Флавицкого, пейзажи Федора Алексеевича Васильева. Наши родители ценили Ф. А. Васильева очень высоко, как громадного поэта-художника и нежно любили его, как человека, ездили в Крым навещать его перед его столь преждевременной кончиной: ему было всего 23 года. Заказанный Крамскому портрет Ф. А. висит в галлерее в комнате Крамского; пейзажи Дюккера, Айвазовского «Айюдаг в лунную ночь», «Привал охотников» Василия Григорьевича Перова и его же «Дети арестантов везущие бочку с водою».

Постепенно вешались портреты знаменитых людей России, заказанные Перову Павлом Михайловичем: Тургенева, Писемского, Гончарова, Майкова, Дáля, Николая Григорьевича Рубинштейна, Тютчева, Безсонова, Достоевского. Появились — «Колдун» и «Раздел» Максимова, «Гостиный двор» Прянишникова, портрет Льва Николаевича Толстого, написанный Крамским, портрет Герцена работы Ге; появились одна за другой картины Владимира Егорьевича Маковского, картины Корзухина, и т. д., и т. д.

Бранникова «Пифагорейцы» остались долгое время висеть у нас в гостиной, но потом были перенесены в галлерею и повешены рядом с другими его картинами.

Пишу, как вспоминается мне сейчас; ведь пронеслось уже 60 лет.

Помню, как галлерея росла не по дням, а по часам. Каждая новая картина была событием и для нас-детей.

Когда картины были перенесены в галлерею, освободились четыре комнаты в нижнем этаже Толмачевского дома и родители могли удобнее разместиться с нами — четырьмя детьми.

Тетя Манечка неизменно и навсегда осталась жить в своей милой, любимой нами, комнате наверху. Остальное было изменено сообразно потребностям данной минуты.

Первый кабинет, смежный с конторой, был уничтожен. Из него была сделана третья комната для той же конторы, где работали, друг против друга, почти всегда стоя перед высокими конторками, Павел Михайлович и Петр Игнатович. Угловой кабинет, из которого теперь вела дверь в нижнюю галлерею, остался уголком отдыха для отца, где он иногда урывал минуточку вздремнуть, свернувшись калачиком, на коротеньком, почти круглом, диване, и — «реставрационной мастерской» его.

Павел Михайлович, говорили художники, крыл лаком, заделывал трещины и пятна, смывал «лишнее» — как никто, и мы часто слышали, как художники, продавая отцу картину, предоставляли ему самому покрывать их лаком, когда он это найдет нужным.

Ясно остались в памяти те праздники или воскресенья, когда Павел Михайлович «исчезал», не показываясь, покуда не стемнеет; Андрей Осипович носил ему вниз и чай и что-нибудь «скорое» закусить. Тогда Андрей Осипович за дверью «окликал» Павла Михайловича, долго-долго иногда стоял с подносом, покуда Павел Михайлович мог найти подходящую минуту передышки в работе, открывал щёлку в двери, просовывал свою длинную руку, брал еду, дверь снова как-то, словно герметически, запиралась, так как с нею все звуки умирали. А если было что-нибудь действительно необходимое сообщить ему — мамочка умела «шепнуть» в замочную скважину; никакого ответа не следовало, кроме «гм» и снова слышалась лишь тишина.

Зато вечером, за обедом, он рассказывал о своих «похождениях» в работе и «открытиях», и веселился.

Так помню его рассказ, как он купил автопортрет Айвазовского, с седыми баками, во фраке, с лентами и орденами. Павел Михайлович признавая талант Айвазовского, не любил его «чиновничьей» психологии, и, со свойственным Павлу Михайловичу нюхом, почувствовал в портрете что-то подозрительное. Он стал смывать один слой за другим; и вот начало сквозить что-то коричневое, в середине что-то красноватое, под седыми волосами появились черные; и вскоре предстал перед глазами молодой Айвазовский, в бархатном жакете, в красном галстуке, а в углу портрета подпись: «Тыранов». На другое утро позвал нас отец, между «уроками», к себе в кабинет, чтоб показать это «открытие», «Айвазовский меня за это не поблагодарит». И, кажется, и «не поблагодарил». Они с отцом нашим долго не видались. Много случалось необычайных сюрпризов в реставрационной работе Павла Михайловича. Многого я уже и вспомнить не могу.

Рядом с кабинетом устроила себе мамочка свой кабинет, выходящий в сад. Из залы перенесла себе старый, но еще недурной рояль Sturzwage, у окна направо поставила себе письменный стол с массою ящиков по бокам, где часто писала, пила чай со своими племянницами или учительницами, приходившими с нею поговорить по душе.

Там стояли бюсты Бетховена, Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя, висел портрет Шопена, висело много гравюр и интересных семейных Мамонтовских фотографий. Над диванчиком висела картина Катарбинского «Последний динарий», подаренная мамочке на память в Риме этим художником.

За этим проходным кабинетом была угловая комната с тремя окнами в сад, как раз под моей первой детской с лежанкой. Сюда родители перенесли свою спальню, с уютной матовой ореховой мебелью, обитой серо голубым трипом. Стояло большое трюмо. В углу висел киот с образами и венчальными свечами родите-

лей, стоял там и образ с ризой, шитой жемчугом и венцом, покрытым изумрудами — благословение мамочке от бабушки Веры Степановны перед смертью.

Когда папочка уезжал в Кострому или Питер, мамочка брала нас с Сашей поочереды спать вниз с нею на его кровати. Это бывало большой радостью!

В опустевшую спальню в бельэтаже поселили нас с Сашей. В мамином бывшем кабинете устроили нам классную. Там мы, как я помню уже раньше учились с Александрой Николаевной Островской.

В то время за нами ходила очень примитивная горничная Луша (впоследствии Лукерия Кирилловна), а за мамочкой — Василиса Ефимовна Анненкова, вдова, редкостной красоты. Она была в прежние времена крепостной помещиков Шиловских. Их потомок был в наше время другом Петра Ильича Чайковского и прославился своим романсом «Тигрёнок». Василиса Ефимовна нас всех, детей, обшивала. Часто забегала я к ней наверх в девичью, садилась около нея. Она замечательно интересно рассказывала о жизни в крепостное время, о театрах, где играли крепостные. Славилась красотой и способностью к сцене и любила играть. Конца не было всему, что хотелось слышать.

После смерти наших родителей, которая, к счастью, унесла их на расстоянии всего трех месяцев, в зиму 1898-1899 года, Василису Ефимовну взяла к себе сестра Люба. В первом браке она была женою акварелиста Н. Н. Гриценко, а во втором — женою Льва Самойловича Бакста. Сначала Василиса Ефимовна служила у Любы и ходила за нею, а впоследствии жила у нее «на покое».

Глава X

НАШЕ ОТРОЧЕСТВО

Наступила осень 1874 года.

Покуда развешивали картины в галлерее, переезжали из комнат в комнаты, мамочка волновалась хлопотала, устала, плохо себя чувствовала, ожидая младенца. Этого не скрывала от нас, ни она сама, ни тетя Манечка. Мы старались за мамочкой ухаживать, приносили ей все, что было нужно, из нижнего этажа наверх и обратно и т. д.

Раз Александра Николаевна Островская не могла продолжать занятия с нами, о чем я уже упоминала раньше, мамочка обратилась за советом к своему другу Елизавете Ивановне Мамонтовой, председательницы «Об-ва Гувернанток», которому Елизавета Ивановна посвятила всю себя. Елизавета Ивановна рекомендовала исключительно-интеллигентную учительницу-воспитательницу, окончившую самым блестящим образом пепиньеркой Николаевский Сиротский Институт в Петербурге.

Помню, в ноябре месяце мамочка как-то позвала нас в гостиную. На том же кресле, где три года назад сидела Маня, — сидела особа лет под 30, некрасивая, выше среднего роста, с большим, светлым лбом, голубыми глазами, хорошими зубами и необыкновенно умным выражением лица. Звали ее Наталия Васильевна

Фóфанова (ей больше нравилось называть себя Феофановой). Впоследствии часто рассказывала она о своих замечательных профессорах. Профессор Кúторга называл ее «ума палата». Говорила это мило и без хвастовства. И это, действительно, была правда. Знала прекрасно, как институтка по воспитанию, — языки. Прожила она у нас более восьми лет в комнате рядом с тетей Манечкой и ушла по собственному желанию и убеждению, что девушки в 16 и 15 лет не должны больше иметь воспитательницы.

Она дала нам всё наше образование и, уходя, выбрала сама, заранее, профессоров для продолжения наших занятий. Я вышла замуж ровно двадцати лет и еще незадолго до свадьбы моей мы всё время брали уроки, то литературы, то истории.

Наталия Васильевна была широка, во всём, во всех своих взглядах, не была ни в чем предвзята. Учила нас анализу, неумолимому анализу, но не сумела научить нас синтезу; учила самокритике, но не учила самосознанию. Это хорошо говорить и понимать теперь! Как это нас надломило в юности! И как трудно было начать верить в себя!

Учила нас свободно, «искала»; способы и приемы были оригинальны, даже своеобразны; всегда было с нею интересно работать. Казалось Софье Михайловне, всё, всех и всегда критиковавшей, а от нее и бабушке Александре Даниловне, что мы ничего не делаем и будем нéучами. Наталия Васильевна (самолюбие задето!) года через три устроила нам экзамены (ох, какие мучительные!) в присутствии родителей и родственников, пригласив лучших профессоров: Льва Ивановича Поливанова, Линберга, математика Егорова и других. Они, проэкзаменовав нас, дали письменный отзыв, что прошли успешно курс такого-то класса гимназии. Мы никогда не могли забыть этой пытки. Но Наталия Васильевна успокоилась, очистив

совесть перед нашими тетками и бабушкой, и продолжала с нами ходить по полям и лугам за цветами. Проходя подробно ботанику, мы с ней сделали первокласснейший гербарий, который нас просили отдать в Московский университет; это были Московская и Крымская флоры. Водя нас по болотам, завела террариум. Кормили разных гадов, червей, личинок, гусениц, выводили бабочек. К ее чести скажу, что коллекции бабочек мы не делали, лишь изучали их издали одними глазами. Наталия Васильевна не могла допускать убийства насекомых, хотя бы эфиром.

Учились летом в саду, на воздухе. Зимой комнаты освежались до максимума. За гигиеной следила до того, что всё опротивело, — в первое же лето она потребовала, чтоб между нашей спальней и классной снесли стену, т. к. глубокая спальня была душна, а узкая классная, с тремя окнами была холодна. Поставили 2 деревянные полированного ореха резные колонки и стала у нас громадная, неуютная, голая комната, без драпировок и ковров. Там проходила наша, полная дисциплины и учёбы, жизнь. Но были и приятные стороны. Раз она находила, что на улицах грязно и плохой воздух, то предпочитала пускать нас гулять в сад. Кроме того зимою потребовала, чтоб была сделана для нас хорошая ледяная гора. Мы катались через весь двор, от забора «заднего» двора до самой кухни, с громадным увлечением. Также устроила она нам, в продолжение двух зим, поездки в гимнастическое заведение шведа Бродерсона. И за всё это мы ее очень ценили.

Когда мне было тринадцать лет, я болела долго, месяца три лежала. Когда поправилась, Наталия Васильевна решила, что правильные занятия для меня утомительны и что мы будем ездить с нею в публичную библиотеку при Румянцевском Музее. Так как дядя Сергей Михайлович был городским головою, нам,

по его просьбе, выдавали самые дорогие художественные издания. Наталия Васильевна поручала нам подготовиться к лекции, которую должна была каждая из нас ей прочесть в классе по древней истории. Мы могли выбрать страну, изучить не спеша и сказать когда мы считаем себя готовыми. Мы увлекались Египтом, Китаем, Индией, Ираном, особенно Египтом; ходили, в воображении, в Карнаке и Луксоре, как дома. Это был прием совсем необыкновенный для занятий в нашем возрасте. И нам это нравилось. Водила нас Наталия Васильевна на выставки, во все музеи. Особенно подробно изучали анатомию. В Петровском-Разумовском при Петровской Академии раскладывали и складывали органы громадной лошади из *raree maché*, а у Швабе раскладывали и складывали человека. Чертили внутренние органы человека, чертили планы, карты.

День начинался рано. В 7 $\frac{3}{4}$ мы уже сидели за фортепиано; я — в зале, Саша — у мамочки внизу. Целый день шел по росписанию, до минут. Вечером до половины десятого, в продолжение двух часов, мы по очереди читали вслух классиков. Затем давался стакан молока, после чего мы должны были ложиться спать. Под подушкой мы часто находили по «мандаринчику», который клала нам потихоньку тетя Манечка.

В театр, с образовательной целью, брали нас, сколько Наталия Васильевна считала нужным, так что мы перевидали и Росси, и Сальвини, и Сару Бернар и наших русских знаменитостей. Особенно часто возили нас в «Пушкинский» театр, где играли Андреев-Бурлак, Киреев, Красовская, Писарев, Стрѣпетова. (Стрѣпетова до сих пор для меня также незабвенна и гениальна, как Дузе. Мы познакомились с Полиной Антипьевной Стрѣпетовой через Наталию Васильевну, которая знала ее в Самаре, когда Наталия Васильевна жила у помещиков Плешановых. Дочку Стрѣпе-

товой и Писарева, Маню, мы иногда брали из института на праздники в Толмачи, когда мать бывала в отъезде), молодой Далматов, Иванов-Козельский; много пересмотрели Островского, Шпажинского, Шиллера, Шекспира; а также видели «Горе от ума», «Ревизора», «Женитьбу», «Недоросля». Переслушали и много опер. И ходили мы то с Наталией Васильевной, то с родителями, когда ей хотелось отдохнуть или поехать к друзьям. Немного позже мы часто бывали в Малом театре; пересмотрели во многих ролях Ермолову, Федотову, Ленского и др. Обожали Федотову и Ленского в комедиях Шекспира «Много шума из ничего» и «Укрощение строптивой».

Ко мне Наталия Васильевна была всегда мила; но придиралась и относилась несправедливо к сестре Саше, которая была упрямее меня. Эта несправедливость мешала нам обоим любить Наталию Васильевну. Было, кроме того, в ней, несмотря на ее ум, что-то институтское, сентиментальное, «неподходящее» в ее рассказах нам; мы стеснялись и конфузились. Но самое невыносимое было для нас то, что она критиковала и даже высмеивала мамочку, которой мы это говорили, и говорили, что нам это было нестерпимо слышать. Но мамочка, при ее кротости и мягкости, «становилась выше» и говорила, что, раз мы это видим — всё это не имеет значения. Ей самой во всяком случае казалось, что Наталия Васильевна может дать нам столько ценного, что лучше бы нам потерпеть, тем более, что она не раз выражала желание передать наше воспитание, как мы подростём, — логически — в руки «самой матери».

Ну, мы, скрепя сердце, и терпели, но с нетерпением ждали ее ухода. Настроение нашего отрочества было отравлено неприязнью к Наталии Васильевне; и я начала мою юность, как говорилось с «расстроенными» нервами.

После ухода Наталии Васильевны, весной 1882 года, мы пришли к мамочке и просили ее помочь нам стать к ней снова ближе; нам казалось, что мы были «взяты в полон» Наталией Васильевной и теперь захлёбывались нашим освобождением.

Г л а в а XI

КИСЛОВКА И ВВЕДЕНСКОЕ

Все воскресенья, как я уже рассказывала раньше, мы проводили вместе с детьми Якунчиковыми, одно воскресенье у них, другое у нас.

Одновременно с тем, как поступила к нам Наталия Васильевна, поступила к Якунчиковым воспитательницей очень интеллигентная и оригинальная Анна Феликсовна Маевская. Наталия Васильевна подружилась с ней. Кроме того, тетя Зина со своей приятельницей Лидией Богдановной Мейер, сестрой известного в то время в Москве детского врача Александра Богдановича Фохта, присоединились к нам. Большею частью они сидели вчетвером на Кисловке в спальне тети Зины, с открытой дверью в залу. Часто приходила сестра Анны Феликсовны, Павла Феликсовна и брат, известный ботаник, Петр Феликсович, а также и братья Солюс, учителя детей Якунчиковых. Говорили о «высоких материях», по выражению Наталии Васильевны.

А у нас бывал сперва танц-класс. Нас учил известный балетмейстер Линдрот, а после мы играли в куклы в классной или расходились по комнатам: я — к Зине, куда часто приходил к нам разговаривать Вася; а Саша — к Оле. У Зины в комнате, во флигеле, смежном с домом, было фортепиано. Мы большею частью играли друг другу, любили говорить о музыке. Как подростки, Зина рассказывала мне все свои романтические истории. Я уже говорила, что она была

писанная красавица и взрослее своих лет и мало было тех, кто ею не был обворожен. Несмотря на то, что я была на три года моложе, у нее до самой ее свадьбы не было ни одной подруги кроме меня, и в музыкальном образовании мы были на одинаковом уровне.

В пять часов бывал обед, внизу около передней, накрывалось приборов тридцать. Молодежь сидела в конце стола около двери в переднюю. Бывало весело. Позже приехал Ф. Ю. Беренс, сын друзей Якунчиковых в Лондоне. Он служил у Василия Ивановича Якунчикова в конторе, научился быстро говорить по-русски и нас невероятно веселил. Конечно, был влюблен в Зину, как и все молодые люди.

После обеда молодежь играла в зале в игры. В 9 часов мы ехали домой.

У нас бывало менее весело. Гувернантки сидели вдвоем в уголку нашей залы вместе с нами — этого уже было достаточно. Всего веселее было нам уходить в галерею, куда пускали нас без взрослых. Гувернантки отдыхали от нас, а мы — от них.

Каждое лето мы с Наталией Васильевной ездили на недельку в имение Якунчиковых — Введенское, под Звенигородом.

Мамочка ездила туда гостить одна, в то время, когда не бывало там гостей, чтоб побыть, елико возможно больше, с тетей Зиной, которую мамочка обожала.

Ехали в Введенское по Московско-Брестской ж. д. От станции Голицино на лошадях, обычно в дрогах, верст пятнадцать среди полей и лугов. За версту до усадьбы въезжали в большую березовую аллею. Аллея вела во двор, где в ограде, под тенью деревьев, стояла церковь. Посреди двора была громадная овальная лужайка, дорога шла вокруг нее, сбоку стояли флигеля, а в глубине — большой белый дом с колоннами и со смежными полукруглыми «крыльями» по бокам. Вход вел по массивной, чу-

гунной лестнице, полукругом наружу, в «диванную», из нее в длинную столовую с окнами и громадной дверью в центре, выходящими на чугунный полукруглый балкон с колоннами, с которого в обе стороны спускались чугунные ступеньки вдоль фасада на длинную, длинную площадку, окаймленную грядкой чудесных цветов. От площадки вниз спускался луг до самой Москва-реки.

Столовая была завешена старинными портретами. Налево была дверь в гостиную, выдвинутую вперед к реке, где стоял рояль и висело тоже много старинных полотен; симметрично с гостиной была спальня тети Зины.

Направо от площадки начиналась кедровая роща, названная в честь Веры Николаевны — «Верин Гай»; а налево шла бесконечная старая березовая роща, в которой стояло несколько избушек для детей: одна для Зины и Васи, другая для Оли и Маши и третья — для Веры и Коли. Лёля была еще на руках у няни Поли.

Наверху под портиком, поддерживаемым колоннами, было несколько спален. Обворожительная комната была в центре дома, с чудесным видом на Москва-реку, Звенигород и — влево — на Саввин Монастырь. Маша, Мария Васильевна Якунчикова, известная русская художница, сделала впоследствии несколько удивительных этюдов из этой комнаты.

Правый флигель весь был занят большим старым театром. Там бывали спектакли. Помню один: шла комедия «В осадном положении», играли Лилиша, Наташа, их кузены братья Сапожниковы и Коля Третьяков, в то время студент Московского университета. Коля был очень способен к музыке, к рисованию, писал стихи и был талантливым характерным актером, напоминал наружностью известного актера Малого театра — Шумского.

Любили мы Введенское и его помещичий уклад жизни!

Помню в один знойный день во время покоса, Вася, который всегда ходил с рабочими на покос, пришел как-то к завтраку, рассказал нам с Зиной, что разгоряченный, выпил из колодца студеной воды и чувствует себя неладно, но просил не говорить «Мамаше, чтоб ее не беспокоить». Но скоро слег. Поправился. Около Рождества заболел брюшным тифом и был на волосок от смерти. Плохо поправлялся и кашлял. Следующей осенью мы ехали всей семьей в Крым, и тетя Зина поручила нам Васю, отпустив его с нами. Он был на два года старше меня и взрослее своих четырнадцати лет. Добрый, способный, любил читать. Обожал свою мать. Как-то сказал мне во время Великого поста: «Мамаша говеет. Пошла исповедываться. Ну, в чем ей исповедываться? Ведь она святая, священник мог бы ей исповедываться, а не ей — ему».

За год до поездки в Крым, помню, Зина, Вася и Оля одни гостили у нас в Кунцево. Мы провожали их пешком втроем с Сашей и Наталией Васильевной на полустанок Кунцево. Когда мы вышли на холм к «Звенигородке» (шоссейной дороге в Звенигород) — Вася, с которым мы шли немного поодаль, сказал мне: «Верочка, когда тебе минет 16 лет, и мне будет 18, хочешь мы с тобою женимся? Поедем с тобою к архиерею, станем перед ним на колени и скажем, что мы любим друг друга. Он тронется нашей любовью и разрешит нам венчаться»¹.

Я, разумеется, сказала: «Да»; а он прибавил: «Ты с сегодняшнего дня — моя невеста, но это останется нашей тайной». Соединяла нас нежная дружба. В Крыму нам было так хорошо с ним, но мы никогда

¹ В России Православная Церковь не разрешает женитьбы между двоюродными братом и сестрой.

более не разговаривали о близком нам. Всё было само собою ясно для нас. Мы чувствовали себя взрослыми. Зимой Васе в Москве становилось всё хуже, он более не мог ходить в гимназию Репмана. Весною 1880 г. ехал в Италию дядя Савва Иванович Мамонтов, сын Ивана Федоровича Мамонтова, в имении которого венчались мои родители, мамочкин и тети Зины двоюродный брат. Пригласил он с собою своих племянниц Наташу Якунчикову и Машу Мамонтову. Тетя Зина просила их взять с собою Васю и няню Полю. Вася с няней Полей поселились в Неаполе. Наташа особенно любила Васю. Известия домой стали приходить от Наташи всё грустнее и в мае — Васи не стало.

Его тело перевезли в Введенское: поставили в церковь. Мы обе с Сашей приехали с Наталией Васильевной в Введенское, вечером, после всенощной, к панихиде; приехало много товарищей Васи по гимназии. Гроб был весь покрыт васильками. Когда все крестьяне села Введенского, любившие Васю, разошлись по домам и из семьи почти никого не оставалось, няня Поля взяла меня за руку, поставила меня на колени в головах у гроба, опустила на колени рядом со мною и тихо сказала: «Верочка, давай помолимся вместе! Вася часто говорил о тебе. Незадолго до смерти просил меня тебе сказать, что он тебя помнит». Милая няня Поля!

На другое утро был как раз день рождения Васи, минуло ему пятнадцать лет. После обедни, по припеку снесли его крестьяне на руках, через Звенигород, в Саввин монастырь. Все мы провожали его пешком, все в белых платьях.

Милая тетя Зина была сдержана, почти покойна, даже разговаривала с приехавшими соседями по имению. Только дома вечером, прощаясь, тихо сказала мне: «Как жаль, когда умирает молодое существо, ко-

торое уже столько передумало, почувствовало и стало уже личностью. Ведь мы с ним выросли вместе и были с ним друзьями»...

Смерть Васи надолго осталась неутешным горем и для меня.

Г л а в а XII

К У Н Ц Е В О

Не только в детстве Кунцево казалось мне сказкой, но и сейчас, после прожитых на свете многих десятков лет, представляется мне олицетворением дивной, романтической красоты нашей подмосковной флоры и природы, оставшейся навсегда такой родной!

Расположено Кунцево на северном склоне «амфитеатра» нагорного берега Москва-реки, змеей извивающейся верстах в двенадцати, на запад, от нашей Белокаменной, образуя почти кольцо, внутри которого, как изумруд, зеленеют заливные луга, разукрашенные, как мозаикой, цветистыми крышами домиков разных деревень.

«Амфитеатр», во всю длину которого лежит Кунцево, тянется верст на восемь, а то и на десять. Весь склон покрыт сплошными лиственными рощами, самых разнообразных пород, изрезанными дорогами, дорожками, тропинками, необыкновенно живописными и извилистыми. Оврагов, обрывов, «болотцев», заросших пахнувшей миндалем таволгой, белладонной, голубыми незабудками, какими-то ярко-синими и темно-малиновыми неизвестными цветами, прудов, «сажалок» для рыбы — достаточно было для фантазии ребенка, чтоб не раз побывать в глубине Южной Америки, в джунглях на берегах Амазонки.

Наверху, на плоскогорье, в самом центре «амфи-

театра», стояла усадьба Кунцево, с садами, оранжереями, бесконечными посаженными парками, прозванными «рощами». Знаменитая Липовая роща, когда цвела и слышно было еще издали жужжание миллионов пчел, — казалась заколдованной.

Дорога в усадьбу шла от пруда мимо церкви, между подстриженных стеною кустов, образуя перед громадным домом с флигелями круг, среди которого возвышалась колонна с короной и вензелем Екатерины Второй, даровавшей Кунцево Нарышкиным. Фасад дома выходил на площадку, от которой спускался громадный луг до самой Москва-реки. С балкона был вид на луга и на деревни: Терехово и Аминьево. На лево — на село Крылацкое с красивой церковью, на золотой купол церкви Троицкого, имения Бутурлиных, прямо — на белую церковь села Хорошова и направо в туманной дали — лагери Ходынского Поля.

К западной части «амфитеатра» примыкало имение Солодовниковой, а к восточной — имение Шелапутиных. От их двора вела длиннейшая березовая аллея до села Покровского — на Филях, прямо к знаменитой старой Красной церкви с зелеными куполами и золотыми крестами на них.

В наше время усадьба Кунцево принадлежала Косьме Терентьевичу Солдатенкову, известному московскому меценату и издателю многих ценных, редких книг. В доме на Мясницкой было у него собрание картин. Он был столпом Московского Старообрядчества. По зимам жил больше в Риме, много путешествовал, летом лишь наезжал в Кунцево, где в его дворце, по летам, гостили художники — римские друзья. В Кунцево молодежь его звала Кузьмою Медичи.

В Кунцеве дач было, к счастью, немного: у Солдатенкова дач 15, у Солодовниковой дач 8, а у Шелапутиных — и того меньше.

Жило по большей части московское именитое купечество, любившее летом тишину и покой.

Почти все были вначале знакомы, позже дачники стали чаще меняться и поселилось много незнакомых.

У себя на даче жила красавица Анна Герасимовна Солодовникова, сварливая характером. Были у нея три красавицы-дочки.

В самой большой из Солодовниковских дач жили Боткины; Дмитрий Петрович с Софией Сергеевной, урожденной Мазуриной. Было у них трое детей.

Впоследствии Боткины взяли у Солдатенкова в долгосрочную аренду кусок земли, смежной с землею Солодовниковых и построили в лесу роскошную, бревенчатую, темную, неуютную дачу.

Дом Боткиных был одним из немногих, куда наши родители ездили на обеды. Отношения были дружеские, и Павел Михайлович Третьяков и Дмитрий Петрович интересовались коллекционерством; у Дмитрия Петровича на Покровке в собственном доме было собрание картин. Общий интерес сближал обоих друзей, но один раз разразилась между ними ссора именно на этой почве.

Дмитрий Петрович был председателем совета Общества Любителей Художеств на Малой Дмитровке.

Василий Васильевич Верещагин, вернувшись из Хивинской экспедиции, привез свою первую знаменитую серию картин. Павел Михайлович нашел ее настолько ценной, что купил и подарил ее Обществу Любителей Художеств, с условием, чтоб за три года Общество нашло подходящее помещение. Картины эти висели, как я сейчас помню, на выставке Общества, на Малой Дмитровке. В конце трехлетнего срока помещение найдено не было и Павел Михайлович счел себя в праве перевезти эту коллекцию в свою галерею. Вышла размолвка. Оба обиделись и же-

стоко поссорились. Перестали бывать друг у друга и оставалось лишь «шапочное знакомство». Все Кунцево это знало и огорчалось, т. к. все уважали и любили и Третьякова, и Боткина. Когда Владимир Дмитриевич Коншин во второй половине 70-х годов переехал из Петровского Парка на дачу в Кунцево он, при необыкновенно мягком, добром и немного даже сентиментальном сердце, решил, во что бы то ни стало, помирить бывших друзей. 15-го июля, в день своих именин он всегда давал большой обед, на котором бывали и мы — все племянники и племянницы; на этот раз обед был в саду, перед домом. Было чуть ни полсотни приглашенных, были и Боткины, и Щукины. Рассадил хозяин своих гостей очень тактично. Помню, как Владимир Дмитриевич с бокалом шампанского начал говорить прочувственную речь ссорящимся друзьям, со слезами на глазах просил их забыть размолвку, целовал и обнимал каждого из них, потом за руку подвел одного к другому. Павел Михайлович и Дмитрий Петрович протянули руки, поцеловались трижды — ссора с того дня была действительно забыта на радость всех Кунцевских друзей.

На даче между Боткиным и Анной Герасимовной — жили одно время Иван Сергеевич Аксаков с женой Анной Федоровной, урожденной Тютчевой. После них на эту дачу переехала бабушка Александра Даниловна; с ней поселилась тетя Надя с дядей Яшей и ребятами. Покуда Владимир Дмитриевич Коншин жил на даче в Петровском Парке, у бабушки всё лето гостила Параша, а также Коля Третьяков, т. к. у нас на даче всё было полно. Параше было лет 16, а Коле — 20; он был студентом и товарищи его часто приезжали к нему в Кунцево.

Коля Третьяков часто заходил к нам, сейчас же садился за рояль, звал меня и начинал играть какие-то занятные вещи и приговаривал: «Ну, Верочка, скажи, какая это соната Бетховена?». Пел: «Когда я был

Аркадским принцем, любил я очень лошадей» и спрашивал, какая это кантата Баха? Когда мы выросли и слышали «Орфея в аду», «La belle Hélène» и «Madame Angot», то узнали откуда певал нам Коля. Последние два лета, когда Коля был студентом, он уезжал на Кавказ.

Параша сошлась с Лилей Боткиной, Катей Солодовниковой, Надей Щукиной. Молодежь у бабушки веселилась. Вскоре Владимир Дмитриевич переехал в Кунцево, о чем я уже упоминала. Параша стала жить с отцом, братом Володей и с Александрой Дмитриевной, сестрой Владимира Дмитриевича. Саша Коншина с 1876 года была уже замужем за Николаем Александровичем Алексеевым, за будущим городским головой.

У бабушки стало тихо и скучно. Рядом с Солодовниковыми, по другую сторону, поселились «генерал и генеральша» Стрекаловы: Степан Степанович и Александра Николаевна были красавцами, несмотря на почти преклонный возраст. Много было у них «породы», а главное доброты. Всё Кунцево их приняло в свои объятия. У них жили их внуки, дети их покойной дочери Светлейшей Княгини Ливен, внук Александр Андреевич, очень музыкальный, и внучка — княгиня Александра Андреевна, некрасивая, но замечательно милая и деятельной доброты. Она стала подружкой Параша. В те года разразилась Балканская война. Вся молодежь, и мы в том числе, занялись посылкой корпии для раненых. Помню к Стрекаловым привезли красавицу болгарку, которая не могла вернуться, вследствие войны, на родину. И она вошла в дружеский кружок Параша.

На последней даче Солодовниковых дачники то и дело менялись.

Теперь расскажу о жителях на дачах К. Т. Солдатенкова.

В одном каменном флигеле жил знаменитый актер Шумский с красивой женой и с интересными дочерью с сыном. В другом каменном флигеле, напротив, жили несколько лет Филипповы, (семья придворного пекаря, знаменитого своими калачами и пирожками, которыми питались все гимназисты и студенты всей России). Мать их умерла и ватага ребятшек в трауре с какими-то старыми родственницами производили грустное впечатление. Они держались особняком.

Рядом с ними, ближе к церкви, жили Щукины. У них было несколько сыновей и несколько дочерей. Сергей Иванович — знаменитый коллекционер, собравший бесценную коллекцию Матисса, Гогена и Пикассо, женился на дочери харьковских помещиков Лидии Григорьевне, русалочьей красоты, поражавшей всю Москву и Кунцево. Петр Иванович, имевший коллекцию русских картин, и Димитрий Иванович — которого только помню в лицо.

Дальше, в начале аллеи, ведущей к Мазиловскому пруду жили Крестовниковы; мать, Софья Юрьевна, урожденная Миллиоти.

Еще ближе к пруду, рядом с Крестовниковыми, жил брат Софии Юрьевны — Константин Юрьевич Миллиоти. Его жена была известной балериной Московского Большого Театра Карпаковой. У них было трое детей.

От Кунцевской церкви шло шоссе по направлению к селу Покровскому на Филиях; по левой стороне шоссе стоял еще ряд дач.

На первой из них жили Дмитрий Николаевич Ремизов и Глафира Ивановна, урожденная Баранова, родная сестра Елизаветы Ивановны Мамонтовой; было у них четыре дочери и два сына.

Подальше по дороге, около «Африки», когда-то очень открытого места, жили Морозовы, Абрам Аб-

рамович и Варвара Алексеевна, урожденная Хлудова с тремя мальчиками: Мишей, Ваней и Арсением, а еще подальше — Востряковы.

Позже выстроили себе дачу на правой стороне шоссе, с видом на Мазилово, «молодые» Солдатенковы. Василий Иванович был племянник и единственный наследник Косьмы Терентьевича. Женат был на очаровательной Надежде Григорьевне Филипсон. Они зимою всегда жили в Петербурге.

Шелапутиных мы совсем не знали.

На опушке леса, где кончались рощи Кунцева, жила семья меховщиков Сорокоумовских. У Петра Павловича и Надежды Владимировны, урожденной Пеговой, было около полдюжины детей.

Вот какой очаровательный подбор московских купеческих семейств был в селе Кунцево!

Жизнь у всех дачников была почти одинакова, во всяком случае по утрам. Все, кто мог, ходили купаться на Москва-реку; почти у всех стояли на бочках крытые купальни с проточными «ящиками»; купальни запирались на ключ. Среди лета все родители пили воды, кто виши, кто эмс; все гуляли, встречались и беседовали о политике, злобах дня и более всего о новых книгах. Одно за другим выходили сочинения: Печерского «В лесах» и «На горах»; «Анна Каренина», Толстого; сочинения Достоевского и Тургенева; читались всеми «Вестник Европы», «Русский Вестник» и «Отечественные Записки». Выросшая молодежь вставала и встречалась позже и обсуждала все эти книги; перечитывала «Войну и Мир»; все увлекались Печерским. Параша, общая любимица, простая, радушная, беззаветно-веселая, красивая, с заразительным смехом — была знаменита своей леностью и поздним вставанием. Товарищи прозвали ее Прасковьей Потаповной, именем героини «В лесах». Параша смеялась, но в душе ей это было

обидно. Она начала вставать раньше других подруг и ходила гулять с нашей воспитательницей, Натальей Васильевной. Они читали вместе вслух в то время модные книжки: «Le fils Maugard», «Jean Téterol», «Le Maître de Forges», и только что напечатанную «Nana» Zola. Как можно помнить такие подробности? По звуку.

Г л а в а XIII

ХУДОЖНИК РИЦЦИНИ

Кроме Михаила Петровича Боткина и Сергея Петровича Постникова, к Косьме Терентьевичу Солдатенкову нередко на целое лето приезжал гостить из Рима художник Александр Антонович Риццини.

Две или три небольшие картины его у нас висели в гостиной, мы с детства знали его имя и знали и любили его самого. Он окончил Академию Художеств в Петербурге и мог считаться посему русским художником, но психологически он им никогда не был, несмотря на любовь к России.

Александр Антонович приходил к нам на дачу почти ежедневно и был в самой близкой дружбе с обоими нашими родителями. Они путешествовали по Италии каждые два года. Часто Александр Антонович их сопровождал. В 1876 году они сделали вместе большое путешествие и по Сицилии.

Дружба с Павлом Михайловичем была давнишняя.

Александр Антонович был небольшого роста, худой, с рыжеватыми волосами, рыжей эспаньолкой, маленькими глазами и горбатым носом; был очень элегантен. Любил музыку до безумия, сам играл лишь по слуху, но свистел что угодно каким-то круглым, дрожащим свистом, напоминавшим иногда крымских лягушек; свистел с чувством мелодию и аккомпанировал себе, подбирая аккорды самым неуклюжим образом. Любил подбирать начало фортепианного кон-

церта Шумана, начало сонаты Рубинштейна и его романсы и многое другое.

Риццони был дружен с семьей Антона Григорьевича Рубинштейна. Его жена Вера Александровна часть зимы обыкновенно проводила в Риме. По дороге из Кунцева за границу Риццони останавливался в Петербурге и гостил у Рубинштейнов на даче в Петергофе. Там слышал сочинения Антона Григорьевича.

Мамочка должна была ему играть каждый раз, как он приходил, по большей части Шопена. Когда Косьма Терентьевич оставался в городе, Александр Андреевич обедал, либо у нас, либо у Боткиных. Первые годы своего замужества мамочка была дружна с сестрою Риццони, Марией Антоновной, и была с ней в переписке. Мария Антоновна жила в Риге, во второй половине 70-х годов гостила у нас в Кунцеве, очень нас всех стесняла своей чопорностью. Нам, детям, она не нравилась. Жизнь, очевидно, изменила, и ее, и мамочку: не осталось ничего общего — и дружба кончилась, несмотря на сохранившиеся внешние отношения.

Павел Михайлович рассказывал, что одну осень Александр Антонович задержался в России и наши родители выехали из Петербурга с Александром Антоновичем прямо в Рим. Приехали рано утром, пошли прямо в мастерскую Александра Антоновича (Via Sistina, Cento Venti Tre, помню созвучие этого адреса).

Когда они подошли к двери в мастерскую, Александр Антонович опустился на колени и поцеловал порог своей комнаты. Павел Михайлович закончил свой рассказ словами: «И это было так хорошо!». Видно было как Павел Михайлович любил Александра Антоновича; а, любя, любил и подразнить, т. к. тот легко «дразнился». «Ну и страна же у вас — Италия, у нас проснешься — идет дождь, и днем дождь, и спать ложишься дождь. А у вас — выедешь из Неаполя — солнце, едешь на пароходе на Капри — дождь,

приехал на Капри — солнце, идешь гулять — ливень, промок, приедешь в Неаполь — сухой. Ну какой же это порядок?». Или: «Ну какой же язык ваш итальянский — не нужно ему и учиться: когда чичероне мне предлагает свои услуги, я говорю «грация», когда он снова пристает — я говорю «грация, грация». Этому слову я не учился. Когда же чичероне мне невыносимо надоел, я оборачиваюсь и говорю «баста». Этого слова я тоже не учил». Александр Антонович, как ребенок, несмотря на свои сорок лет, огорчался и начинал защищать или погоду или язык, а Павел Михайлович веселился. Оба, хоть и по-разному обожали Италию.

Но дразнил папочка и мамочку. Для путешественников в то время в Италии было мало комфорта и даже чистоты. Часто бывали недоразумения с насекомыми. Или что-нибудь вроде того. Мамочка всегда как-то догадывалась и придумывала меры всегда к лучшему. И папочка, смеясь, подшучивал: «Верочка, ты гад (от слова догадываться), — ты — гадина». Любил, возвращаясь из Италии, вспоминать эти пустяки.

Иногда с Александром Антоновичем заходил к нам и Косьма Терентьевич. Он всегда летом ходил в сером сюртуке, в серой накидке и серой фетровой шляпе с большими полями. Он был небольшого роста, плотный, широкий, — с некрасивым, но умным, выразительным лицом. Носил небольшую бородку и довольно длинные волосы, зачесанные назад; в нем чувствовалась большая сила, физическая и душевная, нередко встречающаяся у русских старообрядцев.

В Петров день, после окончания сенокоса, всегда бывало вечером гулянье перед дворцом нашего Кузьмы Медичи. Крестьяне всех окружающих деревень приходили водить хороводы. Бабы, пестро разодетые, оставались прямо после обедни до вечера гулять в рощах, группами. Пели. С ними гуляли, с гармошками,

парни. Кто побогаче — непременно в калошах, непременно новых и непременно «при часах» с толстой цепочкой. Это разрешалось лишь в этот день. После хороводов раздавались от Косьмы Терентьевича — гостинцы.

Каким-то летом, в Петров день, к чаю днем пришли к нам Косьма Терентьевич с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который то лето проводил в России. И проездом из-за границы в свое имение гостил у Солдатенкова.

Как и Косьма Терентьевич, Иван Сергеевич был весь в сером, но гораздо светлее. Сюртук его был самого элегантного покроя, а на голове был серый блестящий цилиндр.

Мы все пили с ними чай на открытой террасе, окаймленной всевозможными цветами в горшках. Самовар кипел, тетя Манечка, всегда веселая и приветливая, разливала, и велись разговоры очень веселые. Иван Сергеевич всё время рассказывал и, очевидно, острил, так как Косьма Терентьевич смеялся, не переставая, громко и раскатисто, а Павел Михайлович заливался до «всхлипыванья» и до слез. Мы, конечно, не понимали, в чем дело.

Но запомнилась мне лишь одна фраза Ивана Сергеевича: «Это русское кислое бабье пение мне надоело, как мой кислый русский нос».

Г л а в а XIV

К Р Ы М

После рождения сестры Маши (3-го мая 1875 года) переехали мы в Кунцево немного позднее обыкновенного. Мамочка хворала и за лето мало поправилась; хворала и Саша. Тетя Аня несла кому-то чашку чая, столкнулась с Сашей. После обжога начались у нее один нарыв за другим. Решили осенью ехать в Крым.

Константин Васильевич Рукавишников, как директор Московско-Курской ж. д. — дал нам отдельный вагон первого класса. Ехали мы впятером: родители, Наталья Васильевна и мы с Сашей.

Русский юг, Малороссия, даже из окошек вагона, очаровывали нас. Первый раз мы видели русский простор и степи. Как красива была бухта Севастополя! Открытое море увидела я с горы Георгиевского монастыря; чувство беспредельного горизонта — никогда не забуду.

Ехали до Ялты через Байдарские ворота на лошадях. Татарские деревни были первым экзотическим впечатлением нашим. Спускаться от Байдар по кружащимся, чудным, гладким дорогам — было так увлекательно. Подъезжали мы к Ялте во тьме, и Ялта, залитая звездами огоньков, сливалась со звездами на темном небе.

Поселились мы в роскошной гостинице «Россия» где, уже в то время, был лифт и устройство было

вполне европейское. Был чудесный ресторан. Жила масса петербургских — «светских», т. к. в то время в Ливадии жил Император Александр Второй и в «Эреклике», в горах, императрица Мария Александровна.

В гостиницу часто приходил завтракать Великий Князь Николай Николаевич, брат императора, — большой «солдафон», с громким голосом, всегда игравший с нами, детьми, в коридорах и очень ласковый. Жило в гостинице много семейств. Вся ватага ребят играла вместе по утрам в саду гостиницы, спускаясь к набережной, окаймленной большими мимозами. Часто играли и рядом в Мордвиновском саду. Вечером же, когда было ненастно, собирались в общей гостиной. Там стоял рояль, кто мог — играл танцы, мы танцевали или играли в игры. Утром рано мы ходили гулять по набережной, каждый с корзинкой на руке, полной винограда, только что купленного на базаре, устроенном на деревянных помостах сверх журчащей горной речки. Мамочка посылала нас в лавку к красивому турку, в красной феске, за бубликами. Это веселое время навсегда осталось счастливым воспоминанием.

Павел Михайлович, устроив нас, уехал путешествовать на Кавказ. Ехал туда и обратно на пароходе через Потти. Был в Батуме, в Тифлисе, Кутаисе, Эривани, Эрзеруме, Карсе. Видел гору Арарат.

Мамочка с Натальей Васильевной сидели в саду или парке и читали друг другу вслух.

Жила в гостинице семья Умновых, петербургских друзей Якунчиковых. Дочке, Вере Николаевне, там минуло 16 лет; она каталась верхом, была веселая и милая. Ездили мы часто с ней и ее родителями в окрестности: в Алупку, Арианду, Мисхор, обе Массандры, в Никитский ботанический сад, в Гурзуф. Видели гору Айюдаг, которую мы давно знали по картине Айвазовского. Айвазовский как раз в ту осень жил в Крыму. Случайно пришел к нам в гости в день моего

рождения, 6-го октября, когда мне минуло 9 лет. Показался он нам чересчур важным, особенно его баки.

В ноябре Павел Михайлович вернулся за нами. Мы опять ехали на лошадях. Лил холодный дождик до самого Севастополя, оттуда поехали мы в купе 1-го класса, домой в Москву.

Второй раз мы ездили в Крым, как я уже рассказывала, осенью 1879 года. Ездили с нами Наталья Васильевна, Вася, Люба, Миша и их новая воспитательница Ольга Николаевна Волкова, религиозная с добрейшим сердцем. Она посвятила себя добровольно нашему больному брату Мише на несколько десятилетий, до самой смерти его. Любила его нежно и баловала. Она скончалась вскоре после его смерти. Папочка нередко говорил: «И возлюбил же Бог Мишу, послав ему Ольгу Николаевну!».

С Натальей Васильевной они вместе прожили в нашем доме целых четыре года. Будучи антиподами — были в постоянном антагонизме.

Г л а в а XV

МАКСИМОВ И КРАМСКОЙ

Вспоминаю, что к весне 1876 года приехал из Петербурга маленький рябой, лохматый, милый человек — то был художник Василий Максимович Максимов. Ему была кем-то заказана копия с его картины «Раздел». С утра он писал ее в галлерее, всегда у нас завтракал и продолжал писать до сумерок. Мы с ним подружались. Он написал несколько этюдов нашего сада, нашу любимую китайскую яблоню в цвету и подарил ее мамочке. Впоследствии, чуть ли не в 1882 году, когда мы ездили с родителями в Петербург на святки, мы познакомились с его красавицей-женой. У них были очень хорошенькие дочки: Лидия и Ариадна и сынишка — Ювеналий. Василий Максимович иногда наезжал в Москву — для нас это бывало праздником. Разговорам и рассказам его, иногда остроумным и комическим — не было конца.

Года через два приехал, тоже из Петербурга, другой художник, — среднего роста, в сером сюртуке, с круглым умным лицом, не густою бородою, с волосами, зачесанными назад. Поражали и притягивали его пронизательный взгляд и его милая, но немного ироническая улыбка. Это был Иван Николаевич Крамской.

Если он был долголетним другом и корреспондентом Павла Михайловича, то стал не меньшим другом и нас — молодежи. Он приехал писать портрет

Веры Николаевны. В верхней галлерее был поставлен громадный холст, неподалёку от дубовой лестницы появился ящик с красками, палитра, кисти. Каждую свободную минуту бегали мы в галлерею и тихо, молча, издали смотрели, что появлялось постепенно на этом холсте.

Мамочка стояла в чесунчевом платье, в волосах ромашка, в опущенной руке — зонтик. На другой висела красная шелковая китайская шаль с бахромой (эта шаль «жила» у меня до самой революции). На фоне предполагались деревья, по бокам луговые цветы. Иван Николаевич с нами завтракал, говорил интересно. Мы заслушивались с затаённым дыханием. Часто он и дразнил нас, и подтрунивал. Мы его любили, хотя он и держал себя сдержанно и как бы в стороне.

В то время Иван Николаевич собирался писать несколько картин из жизни Христа и задумал «Христа перед Пилатом». Ему был нужен материал из книг о Христе. Не помню, какую именно книгу он хотел прочесть, но не мог из-за незнания немецкого языка. Наша Наталия Васильевна достала книгу и перевела ее на русский язык для Ивана Николаевича. Вскоре мы увидели на одной из Передвижных выставок его «Христа в Пустыне», уже купленного нашим отцом для галлерей.

В то время, как Иван Николаевич писал портрет мамочки, у папочки сделался приступ подагры. Он не мог надеть сапог (он носил всегда сапоги, правда очень тонкие, но не башмаки), ходил в низких валенках и сидел дома. Этим воспользовался Иван Николаевич, написал поясной портрет Павла Михайловича, в несколько сеансов. Правда, выражение лица немного страдальческое, но это для меня его лучший, даже единственно вполне похожий портрет, писанный красками. (Репинский, висящий в галлерее, тоже писан по памяти, и хотя поза характерная для

нашего отца, но вышла предвзятой и портрет этот для меня — чужой).

Перед Пасхой Иван Николаевич уехал в Петербург. Портрет мамочки остался недоконченным. Иван Николаевич им был не вполне доволен. Решил переписать его и закончить летом, в несколько сеансов в Кунцеве, на воздухе.

В начале лета мы узнали от Ивана Николаевича, что его семья наняла дачу недалеко от полустанка Кунцево, по другую сторону полотна, в местечке Жуковка, где жило много интеллигентных москвичей: актеров, художников. Долго жил там, говорили мне, Левитан, как ни странно, мы его не знали в то время.

Мы ждали приезда Крамских. Жена Ивана Николаевича, Софья Николаевна, очень высокая и представительная женщина, была добрая и милая. Было у них два старших сына, Николай, учившийся в архитектурном классе Академии Художеств и Анатолий — более талантливый, живой, который кончал последний класс гимназии, Соня, годом моложе меня (ей было 11 лет), и Сережа, лет восьми; был у них и воспитанник Митя, нежный и тихий, как девочка, которого дразнили мальчики беспощадно.

Между Соней и ее отцом была редкостная дружба, переходившая в обоюдное обожание. Соня была некрасива, но с умным, энергичным лицом, живая, веселая и необычайно талантливая к живописи. Софья Николаевна, которую нельзя было сразу не полюбить за ее скромность и ласку, — оставалась чаще дома с Сережей, отдыхая от шума ватаги детей и хлопот. Мальчики и Соня зачастую приходили с Иваном Николаевичем к нам, часам к 3-м. Мы играли в крокет, качались, бегали на «pas de Géants», вместе обедали. Дети Крамские уходили с отцом вечером в Жуковку. Видя, что Соня, сразу, как нельзя более

подошла к нам (мы не на шутку подружились, дружба росла не по дням, а по часам) — Иван Николаевич стал открытее, ласковее, доступнее и скоро стал совсем своим, нашим товарищем и другом.

Соня была всегда одета невероятно безвкусно, ее волосы часто висели, как мочалки, которые она подбирала гуттаперчевыми гребешками. В 16-17 лет Соня так похорошела, волосы отросли, фигура у нее стала длинная, тонкая. Она прекрасно танцевала. Ее веселость, остроумие и «entrain» — привлекало к ней много поклонников. Помню, как Илья Ефимович Репин восхищался ее «силуэтом» на одной из вечеринок в клубе художников. С нею соперничала ее подруга Варя Лембх, дочь художника. За ними ухаживал Альберт Николаевич Бенуа, уже не молодой в то время, это было в начале восьмидесятых годов¹.

В Кунцеве Соня была «четвертым мальчишкой» по шалостям. Но мы не только шалили, а часто бывали у нас интересные разговоры о картинах, художниках, театре.

Иван Николаевич, увидев «Липовую рощу», захотел переписать фон в большом портрете мамочки: написать рощу с упавшими на дорогу осенними желтыми листьями. Сделал этюд, убрал ромашку в волосах и все луговые цветы. Шаль красную заменил восточную шалью белой с голубым; и закончил портрет уже следующей осенью в галлерее, не тронув, ни лица, ни фигуры Веры Николаевны. В этом виде портрет висит в галлерее, в комнате Крамского, среди других его, постепенно приходивших портретов: Васильева Федора Алексеевича (по памяти и фотографии), Антокольского, Некрасова, Григорьева, Полонского, Салтыкова-Щедрин, и др.

¹ Свежо предание, а верится с трудом. Альберт Николаевич оставался молодым душою до своей смерти, которая пришла в 1935 г., в Париже, у его дочери Марии Альбертовны Черепниной.

Мамочка всё лето себя чувствовала плохо. У нее осенью родился сын Ваня.

Иван Николаевич написал с нея за лето «коленный» портрет, в темном платье, с белым большим воротником, в светлой кружевной наколке. Вид у нее слишком сосредоточенный и немного больной. Эти два портрета, мамочки и папочки, сделанные во время болезни, очень хороши по сходству, несмотря на грустное выражение лица. Оба они висят в галлерее в комнате Крамского. Эта комната — в пристройке галлерее сделанной около 1880 года. Постепенно вешались и картины Ивана Николаевича: «Христос в Пустыне», «Неутешное горе» (собственно портрет Софьи Николаевны, написанный несколько лет перед тем, после смерти ее младшего, больного сына); «Майская ночь» и «Лунная ночь» (для которой позировала Елена Андреевна, вторая жена Сергея Михайловича Третьякова).

Соня была одно время помолвлена, в начале 80-х годов, с Сергеем Сергеевичем Боткиным. Иван Николаевич написал портреты, почти парные, Сергея Сергеевича и Сони. Она в суровом платье, почти во весь рост, с локонами. Когда Соне показалось, что она «ошиблась» и Иван Николаевич помог ей разойтись с Сергеем Сергеевичем, портрет Сергея Сергеевича ушел в дом Боткиных, а Сонин остался висеть в мастерской Ивана Николаевича на Васильевском Острове. Чудесный портрет Сони был написан ею отцом с нея, лежащей в постели, после тифа, с подстриженными волосами.

На Святках 1882 года в Петербурге мы каждый день бывали у Крамских. Нередко, на праздниках Иван Николаевич, приезжая в Москву, привозил Соню гостить к нам в Толмачи.

Когда Соня кончила гимназию, здоровье Ивана Николаевича становилось слабым, слабее с каждым днем. Его врачи послали на юг Франции, куда с ним

поехала Соня. Письма Сони из Франции были восторженные; на юге Соня писала этюды маслом, которые радовали отца. Помню, она как-то писала мне: «Ах, как я хочу любви и славы!»

К следующей весне Ивана Николаевича не стало. Как раз во время пребывания Павла Михайловича в Петербурге. Он вернулся, похоронив своего друга, и скрыл это от нас, боясь огорчить. Дома осторожно нас подготовил к этому грустному известию и прибавил: «Если б вы видели Соню! Вот с кого можно было бы написать «Неутешное горе»!»

Через много лет, весной 1900 года, когда мы с мужем и нашими детьми переехали из заграницы в Петербург, я сейчас же зашла навестить Репиных, в Академию Художеств, где Илья Ефимович в то время был профессором. Застала их всех дома. Милая Вера Алексеевна, напоив меня чаем, спросила: не хочу ли я пойти с нею и детьми на хоры Академической церкви посмотреть свадьбу Софии Ивановны Крамской? Какое совпадение! С каким волнением я побежала с ними! Был май месяц, 5 часов, было еще совсем светло.

С правой стороны вошла невеста, белая, как полотно, с трагическим выражением лица, под руку с братом Анатолием, бывшим всегда ей самым близким. Жених был пожилой, высокий, тонкий, с усиками и седыми, торчащими волосами; с виду очень симпатичный, по фамилии Юнкер.

Живя в Петербурге, мы с Соней изредка виделись. Детей у нея не было, но была масса племянников ея мужа, она была нежной тетей Соней. Занималась живописью. У нея была своя полная интересов жизнь, у меня своя. Мы были рады видеть друг друга, но обеим было некогда видаться чаще.

В то время на Лиговке бывал у нас художник и критик Кравченко. Он подарил мне только что изданные письма Крамского.

Прочтя, я увидела, что из них более полутора сотни были написаны к Павлу Михайловичу. Многое нашла, что снова доказывало мне, что отец, слушая мнения всех (и, может быть, мнение Ивана Николаевича, которого ценил, «уважал» и любил нежно, более чем чьи-либо) — всегда поступал в вопросе приобретения картин — лишь по собственному выбору, убеждению или принципу.

Г л а в а XVI

ЗНАКОМСТВО С ЧАЙКОВСКИМ

На Пречистенке, в чудесном, довольно старом, особняке «дядюшки Владимира Дмитриевича Коншина», как он любил, чтоб его величали, после замужества Александры Владимировны (в 1886 г.) — хозяйкой стала Параша; она только-что окончила гимназию.

Внизу, рядом со столовой, жила сестра Владимира Дмитриевича, Александра Дмитриевна; она Парашу не стесняла, ни во что в доме не входила, целые дни курила, была веселая, смеялась громким и отрывистым контральто; затягивалась в корсет, носила фальшивый шиньон с сеточкой, любила одеваться, раскладывать пасьянсы, а более всего слушать рассказы и сплетни Прасковьи Петровны Третьяковой, кузины Павла Михайловича, которая была сердечная, добрая, всегда всё обо всех знала, никогда не злословила и рассказывала весьма занятно, живо и картинно. Они с Александрой Дмитриевной были закадычные приятельницы.

Хозяйство же вела тихая, скромная Вера Павловна Болотникова, у которой была симпатичная и хорошенькая дочь «Катя Болотникова», как ее все называли и которую мы все любили.

Из трех сыновей Владимира Дмитриевича двое старших жили за границей, а у отца в доме жили лишь младший, Володя, окончивший юридический

факультет одновременно со своим ровесником Николаем Третьяковым.

Володя был похож на своего отца и наружностью, и характером. Элегантный, добродушный, писал стихи, был всегда влюблен, не выходил из романов с самыми красивыми девицами в Москве. Сам очень нравился. Точно так же, как бесконечно нравилась Параша. За ней ухаживали самые интересные молодые люди нашего круга. Она была красива и как богиня, описываемая Гомером: «волобокая и крутобокая», а главное — была безгранично добродушна и весела. В доме царствовало романтическое настроение.

В самом начале 80-х годов как-то у Якунчиковых мы встретили на одном из воскресных обедов Анатолия Ильича Чайковского. Он только что был переведен из Петербурга в Москву прокурором окружного суда. Была у него при чрезвычайной воспитанности — большая простота и уютность, главное же — подкупал всех его невероятный шарм.

Он стал бывать у Якунчиковых, у Рукавишниковых, у Сергея Михайловича и Елены Андреевны, у нас в Толмачах, у Алексеевых, Александры Владимировны и Николая Александровича, который, помню, как-то привез Анатолия Ильича к Коншиным, прямо к одному из семейных обедов. Николай Александрович, как городской голова, имел немало дел с Анатолием Ильичем, как с прокурором суда, и чувствовал к нему большую личную симпатию.

Анатолию Ильичу Параша очень нравилась, да и он — ей. Она уже встречалась с ним у Алексеевых.

К весне 1882 г. Анатолий Ильич сделал ей предложение, которое она приняла. Оставалось получить согласие Владимира Дмитриевича. Он, как истый москвич, презирал петербуржцев; это знал Николай Александрович и решил сам сообщить ему и просить

согласия, чтобы оградить Анатолия Ильича от возможных быть неприятных разговоров.

Как-то Алексеевы приехали обедать к отцу за просто, одни. Николай Александрович воспользовался этим, чтобы сказать отцу о предложении Анатолия Ильича. Владимир Дмитриевич слышать не хотел «взять» себе «в зятя» человека не из нашего купеческого круга; сказал, что не отдаст дочери за «петербургского матрасилку». Николай Александрович знал все чудачества Владимира Дмитриевича, но любил его искренне, был с ним всегда внимателен и нежен; а нежностью можно было заставить старика-отца сделать всё, что хочешь. В натуре Николая Александровича было много клоунства, балагурства и, когда он хотел, мог балаганить и дурить напропалую. Он расхваливал Анатолия Ильича, «как товар на Нижегородской ярмарке», клялся и божился, что Анатолий Ильич не «петербургский матрасилка», а чудесный, серьезный человек; Владимир Дмитриевич не сдавался. Бедная Параша сидела, ни жива, ни мертва, в гостиной, одна. Николай Александрович попробовал последний шахматный ход; стал перед отцом на коленки, целовал его и сказал, что, хоть целую ночь так простоит, покуда не получит согласия на эту свадьбу. Что поделаешь с Николаем Александровичем? Тем более, что Владимир Дмитриевич обожал его, и, скрепя сердце, уступил. Услышав первое слово согласия, Николай Александрович вскочил на ноги, поцеловал отца и бросился из залы, где они сидели. Через аванзалу полетел вниз по мраморной лестнице в переднюю, приказал лакею заморозить шампанское, накинул шинель, взял шапку в охапку, понесся в своих парных санях и мигом привез Анатолия Ильича в Коншинский дом.

Пили шампанское. Владимир Дмитриевич плакал, всех целовал, растаял от счастливого вида нареченных, пили до утра.

Как скоро Владимир Дмитриевич полюбил этого «матрасилку»!

Параше было 22 года, а Анатолию Ильичу — десятью годами больше. Свадьба была назначена на Красную Горку. Все родственники дали обеды в честь жениха и невесты. Даже Сергей Михайлович и Елена Андреевна, которая была довольна получить нового родственника из дворянского рода, из петербургского общества и с хорошим положением; считала его подходящим женихом для Парашы, которую любила.

Незадолго до свадьбы приехал в Москву брат Анатолия Ильича, Петр Ильич, знаменитый композитор.

Мы знали уже многое из его, написанных в то время, сочинений; его вторую симфонию, первую сюиту и «Бурю», которые часто играли в четыре руки; его фортепианный концерт, (b-moll), фортепианные пьесы, вариации, «Времена Года» и др.; обожали «Евгения Онегина», стоявшего всегда на нашем фортепиано, рядом с «Русланом». С большим волнением мы ожидали его увидеть. Он был десятью годами старше Анатолия; брат их Модест, известный драматург, жил в Риме и приехать на свадьбу не мог; он и Анатолий были близнецами.

Владимир Дмитриевич сразу дал обед в честь Петра Ильича, пригласив всех родственников, старых и малых. К малым принадлежали и мы с Сашей: ей было 14, а мне 15 лет. Несмотря на разницу в возрасте, мы были приятелями с Парашей и Володей, да и чувствовали себя взрослыми.

Романтик Владимир Дмитриевич с первой же минуты был очарован Петром Ильичем. Когда Владимир Дмитриевич нас знакомил, Петр Ильич протянул руку так просто, сердечно и, смотря прямо в глаза, сказал: «Здравствуйте, милая». Я почувствовала,

что не только обворожена и тронута, но что готова — умереть за него. Те, кто в жизни встречали его, поймут, что я не преувеличиваю.

Как я впоследствии видела и по Модесту, вся семья Чайковских обладала даром очаровывать, сразу и навсегда. Но у Петра Ильича присоединилось к этому и покоряла его гениальность, светлый ум и безграничная теплота. Он часто употреблял слова: «ужасно», «обожаю» и «ненавижу».

«Обожал» всё характерное, бытовое, а потому оценил Владимира Дмитриевича, целиком. Его доброту, нежность, романтизм и восхищался всеми его милыми и потешными чертами. Ласково поддразнивал, подшучивал над ним, а Владимир Дмитриевич чувствовал себя на седьмом небе, и «заобожал» Петра Ильича. У Коншиных был самый хлебосольный дом изо всей нашей Третьяковской семьи. Елось и пилось там от всей души. Вина и шампанского бывало много и хорошего. Петр Ильич мог много выпить, но никогда не пьянел, лишь розовел, делался экспансивным и веселился над каждым пустяком. После стаканчика — другого, к концу обеда, Владимир Дмитриевич входил в лирическое настроение, начиная петь старинные романсы. Был совсем не музыкален и, разумеется, никакого понятия не имел, ни о музыке вообще, ни о музыке Петра Ильича — в частности, а потому его не стеснялся. Пел с трогательным выражением, со слезою в голосе; растягивал, а то и повторял слога слов самым невероятным образом. Петр Ильич подсаживался к Владимиру Дмитриевичу, целовал его и умолял еще и еще вспомнить что-нибудь потрогательнее из романсов и смеялся до слез. Часто говорил: «Ах, как я обожаю Владимира Дмитриевича! Где кроме милой Москвы можно встретить что-нибудь подобное?!» (Не забуду никогда одного романса, который Владимир Дмитриевич пел так: «не па-а-фы-ы-то-ряй, што я те-бя лю-у-у-блю»).

Восхищался Петр Ильич и Парашей, как типом очаровательной московской девушки. Он любил слово «девушка» и не любил слова «барышня».

Семейные обеды повторялись почти ежедневно, теперь — в честь Петра Ильича, то у одних, то у других, так что мы видали его по нескольку раз в неделю.

Как-то привел он с собою, прямо к обеду, к Коншиним своего друга, знаменитого критика и композитора, Германа Августовича Лароша, жившего в Кокоревской гостинице, на Софийской набережной, где поселился рядом с ним и сам Петр Ильич.

Ларош поражал своим феноменальным умом, универсальностью, умением говорить и неиссякаемым остроумием; поражал и оригинальностью своих привычек, доходивших до чудачества. Эти два друга украшали обеды, продолжавшиеся до самой свадьбы Парашаи и Анатолия Ильича.

Оценил Петр Ильич, как «типа» и дядю Яшу: его добродушие, приветливость, готовность помочь каждому в чем бы то ни было. Занимали Петра Ильича смешные стороны дяди Яши: незлостное сплетничанье, любопытство и до комизма доходившая жажда знать всё и про всех — первому в городе.

Почти с первого дня выпил Петр Ильич с ним на брудершафт, а за Петром Ильичом и Ларош. И стали они звать друг друга Яшей, Петей и Маней (от Германа). Это звучало потешно и словно в шутку.

Несколько раз заходили Петр Ильич и Ларош к нам в Толмачи на утренней прогулке. Они бегали любоваться на старинные церкви Замоскворечья: на Николу в Кадашах, Григория Кессарийского и другие. Помню, как засаживали они нас с мамочкой за фортепиано и играли с нами в 8 рук «Пасакалию» Баха, которую так любил Ларош и другие классические со-

чинения, больше Моцарта, которого «обожал» Петр Ильич. Любил он сидеть за столом с молодежью, т. е. «ненавидел» занимать дам. Обеды были запросто, гостей не рассаживали; потому перед обедом, он брал меня под руку, вел жеманно и шутя, к столу и сажал меня рядом с собой. Ларош подсаживался поближе, напротив. Петр Ильич, то веселился, как гимназист, дразнил меня, что я жеманюсь как московская невеста, или что я гадкая девчонка, подражаю Наташе Ростовой, а то делался серьезным, сосредоточенным и начинал говорить с Ларошом через стол о литературе или о музыке.

Впоследствии, когда я знала его хорошо, я всегда поражалась его переменчивым настроениям, невероятной нервностью и впечатлительностью. Это была самая патетическая личность, которую я знала.

Во время одного из первых обедов он сказал: «Веруша, ведь вы не имеете ничего против, чтоб я вас так называл? Вы мне так напоминаете мою племянницу. Анатолий, неправда ли, Веруша напоминает нашу Верушу?»¹ Мне это ужасно приятно!».

Вспоминаю как другой раз говорит он мне, с «коккетством» в голосе: «*Chère Verusha, notre cousinage me donne le droit à votre amitié*»²; и стал, как-то, само собою, говорить мне «ты». Можно ли описать мою радость и гордость!

Петр Ильич был необыкновенно нежный родственник. Он и его братья были воспитаны их старшей и единственной сестрою Александрой Ильинишной Давыдовой, жившей с семьей в своем имении Киевской губернии. Петр Ильич любил ее, как родную мать, из

¹ Веруша — это Вера Львовна Давыдова, вторая дочь сестры Петра Ильича — Александры Ильинишны Давыдовой.

² «Дорогая Веруша, наше родство дает мне право на вашу дружбу».

племянников и племянниц любил Татьяну, Веру и Боба. (Владимир Львович, которому впоследствии была посвящена 6-я Симфония). На свадьбу из Каменки, Киевского имения, приезжали Александра Ильинишна с дочерьми Татьяной и Анной, им было лет 17 и 15. Увидела я их в церкви во время венчания Параша (если не ошибаюсь, в домашней церкви Мариинского Института на Софийской Набережной, против Кремля). Татьяна так поразила меня своей необычайной красотой и симпатичностью, что я не могла свести с нее глаз.

Впоследствии Петр Ильич много-много рассказывал мне о ней, о ее романтической жизни, о ее смерти среди тура вальса, — среди шумного бала. Ее портрет в гробу стоял на письменном столе его в Клину, в доме, где он жил последние годы и где помещается Музей Чайковского.

Мы не перестовали видаться с Петром Ильичем во все его приезды в Москву, до самого моего замужества. Особенно часто видались во время постановки его новой оперы «Мазепа» в Московском Большом театре. Петр Ильич, как приезжал, сейчас же заходил к нам в Толмачи и сам «приглашал» себя к нам обедать, так как мы боялись это делать из деликатности. Когда Ларош бывал в Москве, то приходили оба вместе.

Петр Ильич останавливался в Москве у своего издателя и друга Петра Ивановича Юргенсона, в Колпачном переулке, в старом особняке со сводами в верхнем этаже, с большими коридорами. Рядом с домом, во дворе, находилась нотопечатня. Петр Ильич особенно любил жену Петра Ивановича — Софью Ивановну, о которой я уже писала, как о приятельнице Веры и Зинаиды Николаевны; он был крестным отцом старшего сына, Бориса. В большой дружбе же был с их дочкой Сашей и младшим больным

сыном, Гришей, самым симпатичным и тонким существом, которое можно себе вообразить. Сашу Петр Ильич звал на ты — Саша Юргенсон, а Саша звала его на ты — Петя Чайковский. Саша была года на три моложе меня, приятельницей и ровесницей моей сестры Любы; девочки видались по воскресеньям, то одна, то другая ездила к своей товарке на целый день. Петр Ильич любил возиться с подрастающей молодежью, любил детские игры; и более всего — игру в прятки. Рассказывала сестра моя Люба, что как-то у Юргенсонов во время этой игры, Петр Ильич потушил свет, лег на диван, закрыл глаза и был уверен, что отлично спрятался. Когда ищущие вошли в темную гостиную, Петр Ильич заорал благим матом и заболтал ногами.

Был он невероятно любопытен и любил слушать сплетни, как большинство музыкантов. Не забуду одного смешного эпизода.

Как-то Саша Юргенсон приехала в Толмачи в воскресенье на целый день и рассказывает, что у Пети Чайковского зубы болят. Он бегает, как дикий зверь, по коридору, в халате, с подвязанной щекой и кричит: «Я обожаю Феоктисту!» Феоктиста была прачкой в доме Юргенсона, умевшая угождать Петру Ильичу крахмальными воротничками, на которые он был капризен. Я решила вот на что: научила Сашу Юргенсон, когда она вернется домой, если бы у Петра Ильича еще болели зубы, подойти к нему и сказать: «Петя Чайковский, Вера поручила мне тебе передать...» и остановиться, потом прибавить: «Но я это сделаю, когда у тебя зубы пройдут, это не к спеху». Я была уверена, что от любопытства у Петра Ильича даже зубная боль может кончиться, что и было моей целью.

Саша в точности разыграла эту сцену. Петр Ильич приставал, схватив ее за горло: «Скажи

сейчас, сейчас скажи! У меня, ей Богу, зубы больше не болят!» Саша расмеялась: «Вера вот этого только и хотела, — больше ничего». Сначала Петр Ильич насупился, потом расхохотался.

Летом 1883 года Анатолий и Параша наняли дачу около станции Одинцово, М. Б. ж. дороги, в имении «Подушкино». У них была уже маленькая дочка Таня. По случаю ее рождения Петр Ильич посвятил 2-ую оркестровую сюиту Параше, как матери. Вместе с ними жили там Петр Ильич и Ларош. 29-го июня Петр Ильич праздновал день своего Ангела и пригласил родственников Параша и своих близких друзей. Мы четверо, родители и обе девочки, приехали часа в два. Владимир Дмитриевич и Надя с Яшей приехали позднее, к обеду. Была жара и мы оставались сидеть на сквозняке в гостиной. Дом был старинный с деревянными колоннами и всё в нем напоминало усадьбу Лариных; и мебель была старинная, но рояль был привезен из Москвы для Петра Ильича: ни Анатолий, ни Параша не играли на фортепиано. Помню, как Петр Ильич насильно усадил меня за рояль, сел рядом слева облокотился на угол его и потребовал, чтобы я играла ему пьесу за пьесой. Ничего не было менее страшного для меня, как играть музыканту или музыкантам, как было в данном случае. Ларош был всегда удивительно мил ко мне, что сохранилось до его смерти. Видно было, что Петр Ильич давно не слышал игры на фортепиано и сказал Ларошу: «Маня, как я люблю слушать настоящую женскую игру, это звучит так наивно и ужасно мило!»

Петр Ильич начал убеждать моих родителей отдать меня в Консерваторию в класс специальной теории, а Ларош предложил мне заниматься с ним историей музыки. Отец, разумеется, воспротивился, не признавая совместного обучения. Я была очень разочарована, что меня в Консерваторию не пустили.

В Подушкине обед был накрыт в Липовом Парке. Хозяева оба были радушные и милые. Петр Ильич был очень в духе, Ларош — невероятно занятно острил. Много пили. Одним словом именины были веселые. Мы уехали поздно вечером и ночевали в Толмачах, так как с 1880 года жили не в Кунцеве, а по Ярославской ж. дороге.

Вскоре Анатолий Ильич был переведен в Тифлис губернатором и Петр Ильич часто ездил гостить к нам.

Г л а в а XVII

К О Н Ш И Н Ы

После замужества Параша Владимир Дмитриевич продал свой особняк на Пречистенке известной красавице и меломанке Вере Ивановне Фирсановой, а сам, как истый романтик, нанял себе бэльэтаж в чудесном, стильном, маленьком дворце (так как этот барский дом трудно иначе назвать), стоявшем во дворе, за сквозной оградой, на Верхней Кисловке и принадлежавшем Княгине Надежде Борисовне Трубецкой.

Впоследствии его купил Сергей Иванович Щукин. Жил в нем со своею женою Лидией Григорьевной, дочерью Харьковских помещиков Кареневых. Она (как я уже упоминала по поводу жителей Кунцева) была загадочной красоты Днепровской русалки. В этом маленьком дворце он собирал своих знаменитых Матиссов, Пикассо и единственную на свете заколдовывающую коллекцию Гогенов.

Зала, гостиная и столовая были с высокими сводами, покрытыми причудливой лепкой.

Из столовой вела дверь прямо в крошечную домовую церковь. Кн. Надежда Борисовна там каждое воскресенье служила обедню и по субботам — всенощную; она чудесно относилась к Владимиру Дмитриевичу, разрешала ему и его домочадцам бывать на службах и это вносило много счастья в его душу поэта.

Старушка-княгиня жила в нижнем этаже. В передней, у подъезда, от которого вели наверх, по обеим сторонам, круглые лестницы, стоял в ливрее старый швейцар Прокофий, высокий, с зеленовато-бледным лицом, большим носом, которым он как-то чуть-чуть «подсапывал», с милыми добрыми глазами. Он напоминал мне Сашу Зилоти, о котором я часто думала, и я чувствовала к Прокофию большую слабость, чем меня и поддразнивали.

Владимир Дмитриевич проводил по прежнему день в магазине на Ильинке, так же ездил в Нижний на Ярмарку. В Кунцеве переехал от Солодовниковых на дачу Солдатенкова, где в наше время жили красавицы Пустоваловы. Гартунги с бабушкой и кучей ребятишек переехали на дачу рядом с Коншиными.

Володя ходил лениво в магазин, ездил часто то за границу, то на Кавказ, то в Крым. Там познакомился с семьей харьковских помещиков Слатиных. У них были две красавицы дочери, 18 и 17 лет, Александра Николаевна и Мария Николаевна. Володя безумно влюбился в последнюю; гостил у них в имении под Белгородом на возвратном пути из Крыма и был приглашен на все святки. Он пришел в восторг от помещичьей жизни, стал мечтать о женитьбе и покупке имения. Приехал зимою от Слатиных женою Марии Николаевны. Владимир Дмитриевич был доволен. Свадьбу назначили на весну, в Москве, в его доме. Кн. Надежда Борисовна сама предложила им венчаться в ее церкви.

Весною 1884 года приехала в Москву семья Слатиных. Мать была простая, милая женщина. Говорила она всегда на французском языке (на котором говорил Володя прекрасно); это вошло в привычку и с нами. Мария Николаевна сошлась с Сашей, моей сестрой, которая была всегда особенно дружна с Володей.

Александра Николаевна была спокойной, видной девушкой, Мария Николаевна же блистала южной, «малороссийской» красотой, такой незнакомой и привлекательной для нас северян-Москвичей. Высокая, с громадной черной косой. Карие, большие глаза задорно смеялись и ласковая, бедовая улыбка привлекала всех: мужчин и женщин. Была она энергичная, с большим здравым смыслом, милая, веселая-превеселая и даже разбитная, это черта была для нас совершенно новою и занимала нас. Мария Николаевна признавалась, что летом моется огуречным рассолом, от загара, а выезжая вечером, подкрашивает щеки свеклою и губы мажет губною помадой. Ох, как далеко ушли сейчас девицы и дамы от этих старых, наивных средств!

Венчание было поздно вечером. Мария Николаевна была бледная, серьезная, спокойная, изумительно-красивая, в фате, завязанной как русский платок. Напоминала мадонну какого-нибудь итальянского мастера.

Володя вскоре купил себе имение в Тамбовской губернии, на реке Вороне, где молодые и поселились, а зимами часто приезжали гостить в Москву. У них родились две дочки.

За те последние пять лет в нашу семью Третьяковых-Коншиных влился новый, свежий, немосковский элемент в лице Александры Густавовны Дункер, Анатолия Ильича Чайковского и Марии Николаевны Слатиной. Это внесло очень приятное разнообразие характеров.

Оставшись одиноким, Владимир Дмитриевич переехал в маленький особняк, чуть ли не в Мертвом переулке. Помнится, что около этого времени появился, «из дальних странствий возвратясь», второй сын Владимира Дмитриевича — Николай Владимирович и поселился у отца.

Он стал ходить в контору в Толмачи, вести иностранную корреспонденцию, которую специально изучал. Ежедневно завтракал у нас наверху. С трех часов же уходил в магазин на Ильинку. Он был не глуп, много видел, по его собственным словам «штался» по миру. Годами, в Берлине, Париже, Бельфасте, Лондоне, Нью-Йорке и др. городах, целыми днями простаивал на перекрестках главных улиц и любовался на проходящих женщин. Знал языки. Был чрезвычайно начитан. В пару дяде Яше был великий сплетник но, при большом уме и наблюдательности, — его рассказы были всегда живы, реалистичны, заняты по форме. Бывали и остроумны и даже подчас юмористичны. Поражал же своим невероятным цинизмом. Он был, несмотря на все эти качества, одарен, как все Коншины, веселостью, добродушием и большою отзывчивостью.

После ухода от нас Наталии Васильевны следующей осенью, когда нам с Сашей минуло 17 и 16 лет, родители украсили с громадным вкусом нашу уютную комнату, бывшую и спальней, и классной. Вместо классной, сделали гостиную, а спальня осталась таковою. Поставили нам старый, но прелестный *Bechstein*, два письменных столика, которые смотрели в разные стороны, уютную старую мебель. Там мы могли принимать наших друзей.

Николай Владимирович заходил к нам посплетничать часто до завтрака и всегда после него. Он расхаживал по нашей гостиной с энергией, потирал руки, рассказывал без умолку и смеялся, закидывая голову, своим раскатистым баритоном. Ему было лет тридцать (пожалуй с хвостиком). Он знал действительно, обо всем и обо всех: в Москве, России и за границей. В Москве собирал сплетни всех кругов общества; так что мы, видя сравнительно мало людей, из газет и через него, были в курсе всего происходящего, хорошего и плохого. Николай Владими-

рович мог иметь и, наверное, имел большое влияние на нас, на наше воображение и, пожалуй, и на психологию. Во всяком случае — на меня. Это я сознаю. Мы его любили за добродушие и доброе сердце и жалели его. Он всегда критиковал нас и возмущался, что нас держат взаперти. Почти ежедневно, входя, спрашивал: «А что Третьяковский лёд еще не тронулся? Ну куда же!» Мне часто говорил: «Верочка, ну кто тебя замуж возьмет? Кто помоложе и поглупее говорит: ей говоришь про арбуз, а она — про Гамлета! А кто постарше и поумнее, говорит: Верочка Третьякова? — это интереснейший вертопрах. Ну, кто же на тебе женится? А?» Мы заливались. Но и разыгрывали его. Так помню в тот день, когда папа поехал к бабушке, сообщить о моей помолвке (об этом от бабушки сейчас же узнали Надя и Яша, которые жили вместе с нею в новопостроенном доме на месте старого Ильи-обыденского), мы решили ничего Николаю Владимировичу не рассказывать и заранее радовались, как дядя Яша, придя в магазин, первый сообщит Николаю Владимировичу о неожиданном, радостном событии в Толмачах, где тот только что был и перезавтракал, по своему обычаю, спрашивая своих кузин, тронулся ли Третьяковский лёд?

В самом начале 90-х годов, как раз в то время, как Саша (Зилоти) был еще профессором Консерватории, жила была в Москве молоденькая закавказская красавица Нина Окрамчаделова ласковая, умная, зачаровавшая чуть ли не пол-Москвы: и старых, и молодых. Я её никогда не встречала, но слышала, что под её чары подпали оба Коншины, отец и сын.

В то время часто с юга наезжал Аркадий Зилоти, старший брат Саши моего, «запорожской», дикой красоты, безудержного темперамента и большой душевной доброты. Он перегонял стада быков и этим нажил в то время хорошие деньги. Купил у Сорокумовских, известных московских меховщиков, луч-

шие седые бобры, заказал шапку и шинель, мечтал жениться на какой-нибудь богатой девице, ходил к свахе. Он относился ко мне замечательно мило и рассказывал мне все свои похождения в этих делах, которые меня огорчали своею циничностью. Ничего из этого всего не вышло, кроме того, что он где-то случайно познакомился с Ниной Окрамчаделовой, от которой сразу сошел с ума.

Сплетни переплетались и путались: то Нина выходила замуж за старика Владимира Дмитриевича, то — за сына его — Николая Владимировича.

Как-то раз Аркадий влетел ко мне в ярости и объявил, что вызовет старика Коншина на дуэль. Сколько стоило мне убедить Аркадия в бессмысленности такого поступка. Мне это, наконец, удалось, благодаря тому, что он меня любил и мне верил. Кто-то сосплетничал об этом намерении Владимиру Дмитриевичу. Он был невероятно польщен, что его, почти 70-летнего, может 30-летний человек считать своим соперником: остался он до конца дней своих неисправимым романтиком.

Огорчил и испугал меня в Аркадии, недопустимый, казалось бы, цинизм и нигилизм по отношению к самому себе, равных которым я никогда, ни у кого в жизни, не встречала.

Возможно, что это и есть настоящий атеизм: отрицать в себе божественное и верить лишь в свое животное начало. Обезкураживало добродушие, с которым он говорил самые страшные вещи.

Более я его никогда не видала. Вспоминаю его с большою грустью.

Г л а в а XVIII

КОНЦЕРТ РУБИНШТЕЙНА

Весною 1880 года родители взяли нас с Сашей на оба концерта Антона Григорьевича Рубинштейна. В первый раз мы слышали его и также были в первый раз в большой зале Дворянского Соборания; сидели в первых рядах. Как раз перед нами были места «Красноворотских» Алексеевых. Алексеевы жили в собственном доме на Садовой у «Красных ворот», отсюда их прозвище. Ворота эти были снесены, помнится, после революции 1917 года.

Их было шестеро: родители, два красавца сына, Володя и Костя, которых мы уже встречали у их кузин Якунчиковых; им было 17 и 16 лет, — впоследствии Костя стал знаменитым режиссером и актером Московского Художественного Театра — Станиславским — и две дочки Зина и Нюша, 14 и 13 лет; они были «Татьяной и Ольгой» не только по наружности, но и по характеру. Нас заинтересовало это знакомство, так как мы собирались, вместо Кунцева, переехать в усадьбу, по имени Куракино, принадлежавшую Аладьиным, и только что купленную Сапожниковыми, около их шелковой фабрики, на реке Клязьме.

Сколько мы с детства навидались портретов Антона и Николая Григорьевичей! Сколько наслушались от родителей об игре Антона Григорьевича! Увидать его и услышать было таким волнением! А когда Антон Григорьевич вышел на эстраду под долго несмол-

кавший гром аплодисментов, — его могучая фигура с Бетховенской головой — поразила нас и мы, вся молодежь, сразу почувствовали, что находимся в присутствии громадной, гениальной личности.

Он был выше среднего роста, широкий, скорее худой. Над изумительным, по линиям, лбом — были зачесаны назад его тёмные волосы, падавшие пушисто на виски. Удлиненные, светлые, немного подслеповатые глаза, короткий нос, мужественный рот, энергичная, тяжелая походка, простота движений давала всему облику что-то величественное и трогательное.

Он начал играть с вариацией d-moll Генделя; фантазии C-moll Моцарта и перешел к сонате C-dur (Waldstein Sonate) Бетховена. Потом играл много Шумана, Шопена и кончил своим Valse Caprice. Играл много пьес на бис, последним же был марш из «Ruines d'Athènes» Бетховена. Мы, — молодежь, (смело пишу: «мы») были поражены, обворожены, растроганы; да, этого впечатления не опишешь, его надо пережить! Мамочка, знавшая Антона Григорьевича, взяла нас с собою в артистическую. В первый раз я почувствовала, что стоит передо мною великий артист: было в нем что-то титаническое, божественное, а вместе с тем такое человеческое, глубокое и нежное, что неотразимо влекло. До сих пор не забыла я, до подробностей, как он играл всех этих авторов! В 1882 году слышали мы его еще несколько раз. В половине 80-х годов он дал цикл «Исторических Концертов» в Москве, Петербурге и за границей. Это было величайшим событием в музыкальной жизни Москвы.

Впоследствии, когда мой муж был профессором Московской Консерватории, (между 1888 и 1891 годами) мы несколько раз вместе слушали Антона Григорьевича, сидя на хорах Дворянского собрания. Сходили с ума от простоты и глубины его исполнения.

Казалось, что иначе — и играть нельзя. Это была словно импровизация.

Антон Григорьевич играл замечательно всех авторов и классиков, и романтиков. Менее часто он играл Баха, так как иногда забывал и в фугах запутывался. Для меня он остался, *Par Excellence*, исполнителем Бетховена, Шопена и Шумана и единственным исполнителем Бетховена вообще. Отдельные сонаты исполнялись специально-тонко другими пианистами: Бюлловым, Есиповой, Зилоти; но Бетховена в целом, — кажется мне истинным, и до сих пор, лишь в исполнении Антона Григорьевича (и впоследствии, разумеется, в меньшем масштабе, — в исполнении D'Albert'a).

Неподражаемыми, незабвенными остались все вещи Шопена, в особенности соната *b-moll*, ноктюрн *c-moll*, этюд *a-moll*, прелюды, Шумана соната *fis-moll*, фантазия *c-dur*, «*Kreisleriana*», «*Warum*», «*Vogel as Prophet*», «*Erlkönig*» Шуберта... и его бисовое, потрясающее исполнение «*Rhuines D'Athènes*»; при воспоминании о котором и сейчас делается холодно. Игра его была «львиная», а иногда такая воздушная, словно птица улетела в беспредельные небеса; (не забуду никогда «*Si Oiseau j'etais*» Henselt'a).

Когда кому-нибудь, никогда не слыжавшему Рубинштейна, величайшим пианистом кажется такой-то — и когда я говорю, что Антон Григорьевич неизмеримо был выше и, что он недостижимо-велик, то этим людям хотелось бы мне поверить, а верится с трудом; точно так же и мне, никогда не слыжавшей Листа, хочется поверить, что Лист был несоизмеримо выше Рубинштейна. Головою должна допустить, по своему опыту, возможность, но представить и вообразить этого я не в состоянии.

Г л а в а XIX

СМЕРТЬ НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Незабываемым грустным впечатлением нашей юности было начало 1881 года, года утрат, которые переживали наши родители, и мы с ними. Скончались, один за другим, Федор Михайлович Достоевский, Модест Петрович Мусоргский и Николай Григорьевич Рубинштейн.

Родители наши читали и перечитывали Достоевского почти круглый год, особенно летом, в свободное время. Читали, и каждый врозь, и часто вместе. После ухода Наталии Васильевны мамочка и мы обе с Сашей читали иногда вслух, по очереди и так прочли многое из Достоевского, кроме «Братьев Карамазовых». Мамочка взяла с меня слово, что я не буду читать этой книги раньше 25 лет, что я исполнила и не жалею.

В начале 80-х годов, в Москве, во время открытия памятника Пушкину, был съезд всех наших знаменитых писателей. Родители бывали на всех торжествах, и мы с нетерпением ждали их рассказов.

Было незабвенное дневное публичное заседание в зале Дворянского собрания, где говорили речи Достоевский, Тургенев и другие. После речи Достоевского о Татьяне Лариной, как идеальном типе русской девушки и женщины, равный которому можно найти

лишь в Лизе в «Дворянском Гнезде» — Тургенев, после долголетней размолвки с Достоевским, бросился, тут же на эстраде, в объятия последнего. Так произошло примирение этих двух великих писателей. В зале была нескончаемая овация им обоим. Большинство публики плакало.

В той же зале собрания был и банкет. Мамочка сидела за столом рядом с Тургеневым, который ее очень любил. Познакомилась и с Достоевским. Он долго с нею беседовал и написал ей замечательное, трогательное, восторженное письмо, которое она нам прочла и которое хранила.

Насколько хорошо знал отец Достоевского, — я не знаю. Он не любил говорить ни с кем, кроме мамочки, которую боготворил, ни о чем, ему особенно дорогим.

Мы знали с детства, как оба родителя поклонялись Достоевскому, как глубоко ценили и любили его философию. Помню, каким потрясенным и разбитым отец приехал домой из Петербурга, после похорон Федора Михайловича.

Огорчен был отец и смертью Мусоргского, музыку которого он любил больше нас всех в то время. Он поручил Репину тоже безумному почитателю Мусоргского, написать его портрет, в больнице, незадолго до его смерти. Портрет этот, (в сером халате с малиновыми отворотами) замечательный по силе, — висит у нас в галерее.

Вспомнился мне по этому поводу рассказ Репина, в половине 80-х годов, в один из приездов его в Москву. Илья Ефимович поклонник музыки Мусоргского, убеждал как-то Ивана Ивановича Шишкина послушать вокальные произведения Мусоргского в клубе Художников в исполнении Александры Николаевны Молас (сестры Надежды Николаевны Рим-

ской-Корсаковой). Иван Иванович после концерта прощаясь с Репиным, сказал: «Ну, Илья Ефимович, слушал я слушал и ничего-то не понял». — «Да вы бы еще раз послушали, Иван Иванович, я убежден, что вы бы поняли всю силу и красоту». — «Нет, Илья Ефимович, если я еще раз пойду послушать, то я буду не Иван Иванович, а болван-болванович». Этот случай был не единичным даже с людьми, очень любившими музыку и интересовавшимися ею. Как-то боялись Мусоргского.

Еще в конце 1880 года начал распространяться слух о болезни Николая Григорьевича Рубинштейна. В постель он, говорили, ложиться не хочет, но, перемогаясь, продолжает работать и давать уроки своим ученикам. Ему постепенно становилось всё хуже и он решил, наконец, поехать за границу отдохнуть и полечиться.

Уезжали в январе в Париж Сергей Михайлович и Елена Андреевна Третьяковы. Они уговорили Николая Григорьевича ехать с ними вместе. Остановились в Grand Hôtel на В-d des Capucines; комнаты их были рядом. Скоро Николай Григорьевич слег в постель; Сергей Михайлович и Елена Андреевна проводили большую часть времени около него. Они, действительно, были связаны близкой, сердечной дружбой. Дело шло на весну; наступил март месяц. Врач сказал Елене Андреевне, что надежды на выздоровление Николая Григорьевича — нет. Она искренно горевала, но смерти так боялась, что просила врача ее предупредить, когда конец начнет приближаться, чтоб «убежать за тридевять земель». Было несколько дней, что Николай Григорьевич себя чувствовал лучше, бодрее. Елена Андреевна почти всё время сидела с ним. Он, по ее рассказам, много беседовал, даже шутил. Утром 11 марта он был особенно весел и начал мечтать о скором возвращении в Мо-

ску. Потом выразил желание отдохнуть. Положил свою руку на руку Елены Андреевны и начал дремать. Она, чтобы не тревожить больного, не отнимала своей руки и сидела тихо, долго-долго. Постучался и вошел врач; приблизившись к больному, нагнулся, послушал дыхание, поднял лицо полное удивления и сказал: «Его уже нет с нами». Елену Андреевну поразило, как незаметно подкралась эта тихая гостья — смерть. Страх — пропал, но пришло горе и для Сергея Михайловича, и для нее. Эта скорбная весть облетела Москву как молния, и как гром поразила. Николай Григорьевич был молод, ему было всего 45 лет, и все надеялись, что он поправится и вернется. Николай Александрович Алексеев сообщил сам по телефону нашим родителям об этом всеобщем горе.

В конце марта, в светлый теплый весенний вечер привезли из-за границы тело Николая Григорьевича и поставили в Университетской церкви на Большой Никитской, на углу Моховой. На другой день вечером мамочка поехала с нами обеими на панихиду. Громадная лестница была украшена тропическими растениями, стояло множество лавровых венков. Гроб утопал в несметном количестве цветов. После панихиды мы долго оставались. В тишине церкви, слышно было как плакали ученики Николая Григорьевича, стоя на коленях у гроба, полуспрятавшись в цветах. Эта церковь, с того дня, осталась нам вдвойне памятной.

Хоронила Николая Григорьевича вся Москва. Студенчество устроило цепь, фонари были окутаны черным крэпом. Распоряжался всем Н. А. Алексеев. Нас на похороны не взяли, поехали одни родители. Похоронили Николая Григорьевича в Даниловом монастыре.

Николай Александрович Алексеев говорил, что любимый ученик Николая Григорьевича — Зилоти, кончает Консерваторию весной. Уезжая за границу Ни-

колай Григорьевич выразил ему свое желание, чтоб он перед экзаменом сыграл «Пляску Смерти» Сергею Ивановичу Танееву, прибавив: «если не вернусь»... О выпускных экзаменах, на которых присутствовал Иван Сергеевич Тургенев, Зилоти подробно рассказывает в своих «Воспоминаниях о Листе».

Г л а в а XX

ЛЕТО В КУРАКИНЕ

Перемена нашего летнего местопребывания невольно изменила круг знакомства и привела к сближению с несколькими семьями Мамонтовского рода. Переезд из дачного места в усадьбу — дал более гостеприимный уклад нашей общей жизни.

Вызван был этот переезд болезнью нашей сестры Любы. Она, в продолжение нескольких лет, страдала острым ревматизмом, ежегодное возвращение которого врачи искали в сырости, «тянувшей» по вечерам из глубоких, заросших оврагов Кунцева.

Я уже упоминала, что усадьба Куракино лежала по Ярославской железной дороге. Стояла она в нескольких верстах от полустанка Тарасовка, на полпути к Троице-Сергиевской Лавре, как раз между Метищами, снабжавшими город Москву питьевой водой, и дачным поселком Пушкиным.

Решив покинуть Кунцево, мамочка начала снова предаваться своей мечте купить собственную усадьбу тургеневского типа. Но получила обычный отпор со стороны нашего отца, не признававшего земельной собственности для людей которые не обрабатывают землю своим трудом. Как торговый человек, он признавал для себя лишь городскую собственность, строил доходные дома, выстроил заведение для глухонемых и галлерею для собрания картин русской живописи

и считал это принципиально правильным. Мы старались понимать его точку зрения, но не могли не сочувствовать мамочке и не огорчаться.

Куракино было усадьбой «средней руки». Дом был бревенчатый, штукатуренный, одноэтажный, с дюжиной окон в длину фасада, с мезонином, с тремя крытыми террасами со стороны двора, по которому подъезжали к дому, огибая круглую лужайку, обрамленную кустами пионов и флокусов. С противоположной стороны, выходящей по направлению к реке Клязьме, с большого открытого балкона, над которым висел, подпертый деревянными колоннами, балкончик мезонина, вели ступеньки в парк. Были здесь и старинные липовые аллеи и много лужаек, среди которых высились громадные плакучие березы, и группы сосен; множество было кустов сирени, шиповника, жасмина, жимолости. Был и пруд, покытый кувшинчиками, с плакучими ивами на чужом берегу. Соловьи, по веснам щелкали все вечера и ночи. Днем щебетали и пели всевозможные птички. Из-за Клязьмы, до которой шел громадный заливной луг — куковали кукушки. Было солнечно, просторно и уютно. Верстах в двух, вверх по речке, неподалеку друг от друга, много лет назад поселились брат и сестра с семьями: Сергей Владимирович Алексеев и Вера Владимировна Сапожникова. Последней, в наше время, уже не было в живых. На ее даче, на самом берегу Клязьмы, жил сын ее Владимир Григорьевич, женатый на кухне своей Лилише Якунчиковой, которую мы с детства любили. Ребятишки у них тогда были еще маленькие.

Владимир Григорьевич купил Куракино, прилегавшее к земле его шолковой фабрики.

Куракино решено было сдавать, чем наши родители, с радостью, воспользовались. Наша семья жила в нем не менее тридцати лет и относилась в душе, как к своей собственности.

Многое за те годы переменялось и у Третьяковых, и у Сапожниковых.

Я жила там девушкой всего семь лет, и одно лето, приехавши из Германии, когда Саша был приглашен профессором в Московскую Консерваторию. Мне там жилось уютно и тепло, но настоящая привязанность к Куракину была всегда и сохранилась у сестры Саши Боткиной и отчасти у двух младших сестер, Любы и Маши.

Ведь мы переехали туда, как я уже говорила, весной 1880 года. И мне тогда было 13 лет, а младшему брату нашему Ване — не было и двух.

Я вышла замуж весной 1887 года; Саша — осенью 1890 года; Люба — летом 1893-го и Маша — зимой 1897-го, за год до смерти обоих наших родителей. Саша жила там каждое лето со своими дочками, Шурой и Тасей, и при жизни родителей и после их смерти, чуть не до революции. В силе привязанности к какому-нибудь месту число прожитых там лет играет в большинстве случаев большую роль, не говоря уже о привычке. После этого небольшого «лирического отступления», — продолжаю описывать.

Напротив нашего дома, на другом берегу Клязьмы в березовом лесу стояла маленькая, бревенчатая дачка. Там жили Кукины, Николай Семенович, служивший бухгалтером у Сапожниковых, и жена его Авдотья Александровна, которая с молодых лет была своим человеком в доме Веры Владимировны Сапожниковой. Позже буду еще упоминать о них.

Любимовка, скорее усадьба, чем дача, Сергея Владимировича Алексева стояла у большой дороги, идущей от Троицкого шоссе. Сначала пересекая реку, затем через лес и заливной луг, описывая полукруг, она прямо вела к фабрике Сапожниковых, где река наша была запружена большой плотиной с проезд-

ным мостом. Дом Алексеевых был помещичьего типа, со смежными флигелями по бокам. Во дворе, по левую руку лужайки, находились службы, а по правую — стоял двух-этажный, бревенчатый театр, с большой сценой и зрительной залой в два света. Сбоку, по коридору, шли уборные для актеров, а над ними, во втором этаже, были комнаты для гостей.

В десяти минутах ходьбы, через парк, была деревня Комаровка, где Алексеевы построили и содержали постоянную лечебницу, во главе которой стоял Владимир Акимович Якубовский, талантливый врач, человек умный и привлекательный в обращении со всеми, особенно с больными. У большой дороги, на берегу Клязьмы и недалеко от дома, стояла длинная, деревянная церковка с невысокой колокольней. В ней служились всенощная и обедня по воскресеньям и праздникам. Церковь принадлежала к усадьбе, но ходили в нее и крестьяне деревень Тарасовки и Комаровки, а также съезжались и все соседи. Мы приезжали на нашей лодке, которая называлась «Чайкой».

Церковь состояла из основной часовни и двух пристроек.

Сколько «замолила грехов» там милая тетя Манечка в Троицын день, окропляя своими святыми слезами каждый цветочек своего букета.

Родители наши летом в церкви не бывали. Отец уходил на долгие прогулки по всем праздникам, с раннего утра до обеда, а мамочка, в тишине играла на фортепиано или писала письма.

Все Алексеевы приходили к обедне. Нас поражала роскошь и количество нарядов у девочек. Им можно было дать гораздо больше лет, чем было им на самом деле. Даже младшие девочки Алексеевы были всегда разодеты и носили массу колец и украшений. Это было для нас ново. Третий сын, Юра, лет 11-ти,

прислуживал в алтаре и оттуда, через полуоткрытую дверь, заглядывался на барышень. Я знала, что я ему нравлюсь и мы весело переглядывались. Самый красивый и симпатичный впоследствии был для меня Юра. Бедный! Через сорок лет он стал, в Крыму, одной из самых несчастных жертв революции!

После обедни нас иногда звали к себе Зина и Ньюша. Они были милые и сердечные. Зина была очень серьезная, а Ньюша — веселая. Видались мы недостаточно часто, чтоб подружиться, но были в хороших отношениях.

Сергей Владимирович, небольшого роста, бритый, типичный Алексеев, с выдающейся вперед, пухлой нижней губой, которую из девяти детей унаследовало трое: Костя, Ньюша и Борис, особенно первый, что и составляло характерную особенность его лица на сцене.

Сергей Владимирович женился, как говорили в Москве, «на красавице Яковлевой». Звали ее Елизаветой Васильевной.

У нее были удивительно красивые, серые, грустные глаза, серебристые волосы, лицо матовое, бледное. Ходила она, раскачиваясь и сгорбившись, и на первый взгляд казалась немолодой. Но это впечатление исчезало при первом же разговоре с ней и при ее милой, молодой улыбке.

Каждую ночь, по нескольку раз, она обходила все детские и спальни старших детей, впоследствии даже женатых, крестила их, покрывала, потом часами записывала, что надо завтра купить для каждого ребенка: любимое сладкое или нужные ребенку вещи. Ежедневно ездил в Москву посланный, привозивший горы пакетов.

Мать требовала беспрекословно от детей только одного: съесть ежедневно огромный бифштекс. По ее

глубокому убеждению — это прибавляло в организме сил для его максимального роста. Этого она достигла, во всяком случае, в трех старших сыновьях и в Любе. Остальные дети, как и сами родители, были не выше среднего роста. (Станиславский выглядел почти великаном на сцене).

Елизавета Васильевна хотела охранить своих детей от развлечений вне дома. Чувствуя склонность их к театру, выстроила постоянные театры, сначала в Любимовке, а позже и в своем доме у Красных ворот, который был роскошнее оборудован, чем первый. Она достигла своей цели: молодежь устраивала по несколько спектаклей в год.

У Володи и Кости гостило всегда много товарищей. У девочек же товаров не было видно: им было всего веселее в своей компании. Жизнь их — двух братьев и двух сестер — вертелась вокруг театра. Они этим не только развлекались, но и этим жили. Девочки спрашивали нас, не захотим ли мы тоже принять участие. Мы ответили, что это зависит от наших родителей, которые поблагодарили и отклонили.

Я знаю, что отец считал участие в спектаклях ядом для меня, что я могу пожелать пойти на сцену, чего он бы никогда не допустил. Позже он воспротивился, о чем я уже рассказывала, несмотря на убеждения Чайковского и Лароша, моему поступлению в Консерваторию в класс специальной теории, несмотря на то, что носился с моей музыкой и особенно с моими импровизациями. Раньше этого он долго противился пригласить нам учителя рисования. И когда Наталья Васильевна убедила его сделать это для «развития глаза» — согласился на приглашение Василия Семеновича Розанова, знаменитого учителя и плохого художника, о котором отец отзывался, как о художнике, «опоганившим все присутственные места» своими портретами царей. Радовался, поддразнивая нас,

что «Василий Семенович, по крайней мере из вас художниц не сделает! Всех художниц надо на первой осине повесить; одна была приличная — Роза Бонёр, да и то годилась писать одних коров!». Отец, любивший искусство во всех его проявлениях, доходил, в нашем воспитании, до абсурда, граничившего с деспотизмом, который увеличивался с тем, как мы вырастали.

Вспоминаю, как Мария Константиновна Киричко рассказывала не без ехидства, что сыновья Анны Владимировны Кисловской «искали себе невест», под условием, что они никогда не ездили верхом, не играли в любительских спектаклях и не ездили на балы. «Девочки Третьяковы были бы для них самыми подходящими». Мария Константиновна смеялась, отлично понимая, как бы мы встретили этих женихов.

Вся семья Алексеевых была музыкальная, в особенности Володя, Нюша и Люба. Володя никогда не играл на сцене, но, будучи весьма недурным пианистом, вел музыкальную часть спектаклей. Исполнялись большей частью оперетки. У девиц были милые голоса и большие способности к сцене. У Зины — талант драматический, у Нюши — инженерю; у Кости же громадный режиссерский дар и тонкий комический талант.

Всего более осталось, из тех годов, в памяти моей исполнение, в один и тот же вечер: «Мадмуазель Нитуш» и «Маскотта»; в первой — Зина, во второй — Нюша и в обеих Костя. И сейчас слышу в ушах, как он в «Нитуш», в испуге бормотал: «Мать настоящельница, мать настоящельница»...

Около середины 80-х годов работал в лечебнице в Комаровке студент Костя Соколов, интересный, красивый и симпатичный. Он проводил всё свободное время в Любимовке и начал участвовать в спектаклях. У него оказался громадный опереточный талант. Лю-

ди постарше — сравнивали его тогда с знаменитым Родоном.

Последним спектаклем, который я видела у них в Москве у Красных Ворот, — было чудесное исполнение «Микадо» Гильберта и Сюлливана.

Пишу о Любимовке и доме их у Красных Ворот так много, ибо там зародился Московский Художественный Театр.

Теперь хочется сказать кое-что о судьбе некоторых из детей, Алексеевых.

Зина годом раньше меня вышла замуж, разумеется, за самого интересного из всех, кто у них бывал, за Костю Соколова. У Зины, в год моей свадьбы, родилась дочка, тоже Зина, вышедшая впоследствии замуж за одного из сыновей Виктора Михайловича Васнецова. Я навестила Зину и восхитилась лишней раз ее замечательной душой, силой воли и убежденностью. Соколовы скоро поселились в своем имении Воронежской губернии. Он лечил и вместе с Зиной устраивал любительские спектакли самого серьезного характера, в которых играли крестьяне и они сами. Были они идеалистами чистой воды.

Володя женился очень молодым на высокой, изящной, красивой молоденькой дочке Пушкинского подрядчика, Прасковье Алексеевне. Молодые круглый год жили с родителями Алексеевыми. Ребятишки у них рождались один за другим.

Уже когда я была замужем и жила в Лейпциге, Костя женился на Марусе Перевозчиковой, сестре своего товарища Дмитрия Петровича. Маруся стала впоследствии чудеснейшей актрисой Московского Художественного Театра — Лилиной. Встречалась я с нею на балах в 1885-86 годах; я была очарована ею.

В половине 90-х годов стало бывать в Любимовке гораздо больше молодежи: соседи Штеккер, где

были два молодых человека, Андрей Германович и Роберт Германович и симпатичная девица Мария Германовна, чудесно, без усталости, танцовавшая немецкий вальс. Появился новый друг у Кости — Александр Андреевич Корзинкин, культурный, милый. Он был сыном Андрея Александровича Корзинкина, женатого на Рыбниковой, отец которой собрал, как помнится, русские былины и песни. Страшно любил Александр Андреевич музыку, литературу, театр и с Константином Сергеевичем основал Шекспировское Общество. Константин Сергеевич и Александр Андреевич изредка приходили по вечерам к нам в Куракино. На прогулках по парку моим кавалером всегда бывал Александр Андреевич. Стал он бывать у нас и зимою в Толмачах, носил мне книжку за книжкой и я ему много играла. Познакомились мы и с его очаровательной сестрой Еленой Андреевной, которая бывала и у нас и на всех обедах и спектаклях у Алексеевых.

В 1886 году, летом, было великое торжество в Любимовке — серебряная свадьба родителей. А годом раньше Нюша вышла замуж за Андрея Германовича Штеккер и был обед за обедом, спектакль за спектаклем. Я проводила на этих празднествах всё время с Корзинкиным, с которым подружилась.

Все наши отцы-купцы ездили в Москву в вагонах специально для них устроенных из вагонов 3-го класса, но с новыми полированными скамейками. Набиралось купцов наших, начиная от Пушкина, Тарасовки и других станций, — несметное количество. Это стало клубом. Отец наш привозил много рассказов, сплетен, но бывали и серьезные разговоры о политике и делах. Это было даже развлечением. Как-то отец приехал и говорит мне: «Меня все поздравляют с твоей свадьбой с Александром Андреевичем Корзинкиным». Я так изумилась, так как была далеко от этой мысли. «Ты с ним может быть кокетничала при ком-нибудь?»

Или вообще?» — «Нет, папочка». — «А почему?» — «Потому что он слишком хороший». Другой раз мамочка говорит: «Папочка беспокоится. Он сказал, что если Роберт Германович Штеккер сделает Веруше предложение и она примет — то меня живого в гроб уложит». — «А почему? Папочка не сказал?» — «А потому, что он немец. Ты с ним не кокетничаешь?» — «Нет, мамочка». — «А почему?» — «Потому что он слишком неинтересный». И, мне кажется, оба родителя убедились без слов, в моей постоянной мечте о Веймаре, о Зилоти. Тем более, что я много разбирала «религиозного» Листа («*Harmonies Poétiques et Religieuses*»).

Г л а в а XXI

МАМОНТОВСКАЯ ПЛАТФОРМА

От Тарасовской платформы, по направлению к Пушкину, полотно железной дороги шло сначала по мосту через Клязьму, затем, перерезая холм, покрытый лесом, выходило в долину, к мосту другой речки, притока первой. У ската холма, на опушке леса стояли две красивые дачи, от которых, с обеих сторон полотна, симметрично и параллельно ему, спускались дорожки к Мамонтовской платформе. Она стояла внизу, как раз перед мостом. По склону холма, до самой речки, были разведены роскошные цветники, а сбоку были оранжереи. По левую руку полотна была дача Александра Николаевича Мамонтова, а по правую — Михаила Акимовича Горбова.

Переехав в Куракино, мы, по желанию мамочки, сейчас же поехали навестить дядю Александра Николаевича и обещали зайти к Елизавете Ивановне Мамонтовой, жившей в лесу, на берегу той же речки.

Я сейчас же узнала дачу последней, словно виденную когда-то во сне, и вспомнила, войдя в большую комнату в два света, с палатами, что там действительно была и даже ночевала в раннем детстве. Эту дачу Каминский выстроил в русском стиле для Михаила Николаевича. После его смерти и смерти матери, мамочка по летам здесь жила вместе со своей любимой, овдовевшей невесткой Елизаветой Иванов-

ной (я уже писала раньше о жизни с ней мамочки, когда она осиротела).

После отъезда из дому Татьяны Алексеевны Александр Николаевич жил с двумя старшими детьми Верой и Сашей. Жизнь детей со слепым, больным самодуром-отцом, впавшим в ханжество — было тяжело. Вера тремя годами была старше меня. Ей минуло 16 лет. Была она музыкальная, сердечная, с пылким воображением, одинокая, несчастная. Саша был мне ровестник, был такой же несчастный, добрый и оригинал большой руки.

Мы стали постепенно видаться. Нас довозили полторы версты, по полям ржи, в плетеной тележке — казанке — до Тарасовской платформы, а через пять минут Вера бежала уже по дорожке вниз к поезду нас встречать. Вечером мы приезжали обратно домой.

С 1881 года, после смерти Николая Григорьевича, начала ходить легенда, что из Парижа, вместо его гроба по ошибке привезли другой, какой-то женщины, что Николая Григорьевича похоронили в Париже, а эту женщину — в Даниловом монастыре. Нас это волновало и мы решили спросить самого Николая Григорьевича, на спиритическом сеансе. Мы писали азбуку вокруг на листе бумаги — делали пометку на блюдечке, клали руки на него. Блюдечко ходило и стол наклонялся и ходил по комнате. Николай Григорьевич говорил с нами и утвердительно в интересовавшем нас вопросе. У нас развился интерес к сеансам, которые длились часами, днем, и повторялись каждый раз, как мы к Мамонтовым ездили. Масса была интересных разговоров. Но, не скрою, что нервы от этого портились, а бросить не хотелось. И молчали мы об этом, боясь, что нам запретят. Так продолжалось много лет.

Рассказать о нашей дружбе с Верой и Сашей особенного — нечего. Разговоры вертелись вокруг му-

зыки, театра, вообще искусства. В продолжение семи лет, до моего замужества, а вскоре и Вериного, — отношения были теплые, хорошие.

Мы обе с Сашей были старше наших лет и не чувствовали никакой разницы в возрасте с Верой. Я помню, скорее я оберегала Веру от многих ее фантазий, которые были опасны, на мой взгляд, но и так симпатичны. Она была шалая, но чудесная.

Но моей настоящей подругой оставалась Зина Якунчикова. Живя теперь летом вдалеке — с нею переписывались особенно часто, после смерти Васи, которого мы с ней потеряли как раз в первое лето нашей жизни в Куракине, в июне 1880 года. Лишь изредка Зина приезжала в Любимовку гостить к сестре своей Лилише Сапожниковой.

Помню, что в 1881 году, 15 июля в день именин Владимира Григорьевича Сапожникова, был у них большой обед, в саду. Были все соседи и приехало много родственников, между которыми были дядя Савва Иванович Мамонтов, двоюродный брат мамочки, знаменитый меломан и жена его Елизавета Григорьевна, родная сестра именинника, Владимира Григорьевича. Были и многие из семьи Якунчиковых, Зина и Наташа во всяком случае, помню как сейчас.

Дядя Савва был талантлив, почти гениален, с громадным шармом, умел сразу объединить всю молодежь вокруг себя. Елизавета Григорьевна была скромная, глубокая, культурная, сердечная, всеми уважаемая и любимая, и родными и художниками, постоянно бывавшими у них в Москве и гостившими в их имении, близ станции Хатьково, Абрамцеве, которое в прежние времена принадлежало семье Сергея Тимофеевича Аксакова.

Дети у Елизаветы Григорьевны были возраста детей нашей семьи: старший, Сережа, был годом меньше меня, за ним шли: Дрюша, очень талантли-

вый и тонкий и Вока (Всеволод). Девочки Верушка и Шурушка были гораздо моложе. Первая из них была впоследствии близкой подругой моей младшей сестры, Маши. Мы эту семью изредка видали в городе, и то как-то случайно. Елизавета Григорьевна пригласила нас обеих с мамочкой, а также Зину и Наташу к себе на именины 5-го сентября. В этот день съезжались в Абрамцево все дяди, тетки, племянники, племянницы и множество друзей. Мы, разумеется, страшно радовались туда поехать, так как известно было, что там весело, как нигде.

Познакомились мы с Машей, Таней и Соней Мамонтовыми; там же были Зина и Наташа Якунчиковы. Было множество мальчиков Мамонтовых. Мы валялись на сене на сеновале, бегали по полям, обедали на большой террасе. На другое утро дядя Савва взял нас всех на охоту на зайцев, с гончими, в дубовую рощу, за полями. Не часто, но всё же несколько раз была я в те года в Абрамцеве.

Задумал дядя Савва выстроить церковь неподалеку от дома, в лесу. В то время в Москве еще жил Репин, там же поселился уже Васнецов, и Поленов только что вернулся с востока, из Палестины и Египта. Этим воспользовался дядя Савва, поручив им всю церковную живопись будущей церковки. Помню один год Репин с этой целью жил со своей семьей на даче близ Хотьково, где мы у них бывали. Васнецов с семьей жил в Абрамцеве недалеко от дома, в большой избе с верхним светом, прозванной Яшкиным домом. Он писал там большую картину, помнится — «Богатырей». Поленов, будучи неженатым, жил в большом доме. Гостила там часто и подолгу Наташа Якунчикова. Очень была заинтересована Василием Дмитриевичем Поленовым, с которым, через некоторое время и повенчалась, в новой Абрамцевской церкви.

Около нее похоронен Дрюша. Он был талантливым архитектором и чуть ли не по его проекту была выстроена эта очаровательная церковка.

На Рождестве дядя Савва поставил у себя дома, в громадном, высоченном своем кабинете «Снегурочку» Островского с музыкой Чайковского.

За что только дядя Савва сам не брался. И пел, и сочинял стихи и музыку, и рисовал, и лепил, и актерствовал, всё-то у него выходило талантливо!

Заставлял друзей своих, уже не говоря о племянниках, участвовать в своих фантазиях, как только приходила ему мысль, что такой-то, или такая-то, то или другое может исполнить. Иногда засаживал он художников и садился сам с ними, чтобы одновременно рисовать или лепить друг друга. Так существует прекрасный бюст И. Е. Репина, работы В. М. Васнецова, сделанный в подобных условиях.

Художники должны были не только писать декорации, рисовать костюмы, но и лицедействовать, по желанию или приказу дяди Саввы, у которого был необъятный энтузиазм, невольно заражавший других. В таких условиях постановки и исполнение пьес были художественными и дух произведения передавался целиком.

В «Снегурочке» Мороза — играл Васнецов, Бермяту — Репин, Царя Берендея — дядя Савва, Снегурочку, в прологе, — Оля Мамонтова. Прекрасной, трогательной Снегурочкой в самой пьесе — была Маша, Купаву играла Таня, Леля — Зина Якунчикова, Николай Николаевич Вентцель очень «драматически» играл Мизгиря.

Характерными Бобылем и Бобылихой были Николай Семенович и Авдотья Александровна Кукины, слепого бандуриста пел Юра Мамонтов, скоморохами плясали Вока и Ваня.

При повторении «Снегурочки» следующей зимой заменены были лишь две роли: вместо дяди Саввы, Берендея играл Петр Антонович Спиро, дав более тонкий образ мудрого легендарного Царя, а в роли Леля заменила Зину Якунчикову — Наташа Мамонтова.

Последним спектаклем, который я видела в доме дяди Саввы — было его собственное произведение «Каморра». В то время начал участвовать в спектаклях молодой Антон Серов, как ошибочно назвал его Репин, думая, что имя «Тоша» происходит от Антона, в действительности «Тоша» было сокращенное «Валентоша», от Валентина, настоящего имени Серова. Прозвище «Антон» навсегда осталось за ним в доме Мамонтовых. Играл он преталантливо. Пела в «Каморра» — Александра Николаевна Бостанжогло-Галенбек.

В половине 80-х годов дядя Савва открыл в Газетном переулке (если не путаю) — Итальянскую оперу. Переслушали мы с Сашей там большое количество опер, которые более не давались в то время.

О прежней, знаменитой, итальянской опере — и помину не было. Опера в Большом театре стала, главным образом, русской, сохраняя лишь ставшие классическими в репертуаре иностранные, как «Гугеноты» (4-ый акт которого Франц Лист считал гениальным), «Фауст», «Кармен» и проч.

У Мамонтова бывали очень талантливые артисты, сделавшие себе имя в его опере. Так, любимцами Москвы стали два очаровательных молодых певца, прекрасной наружности и хорошо игравшие — Антонио и Франческо д'Андрате. Помню их в «Фаусте», «Трубадуре», «Травиате», «Джиоконде», «Севильском Цирюльнике» и особенно в «Кармен». Самую Кармен пела талантливая, музыкальная, но переигрывающая меццо-сопрано Любатович. Сопрано была Ролла. Для Джиоконды была выписана даже Мария Дюран.

Сестра Саша увлекалась тенором Антонио, а я — баритоном Франческо д'Андрате. Ездили мы по большей части с тетей Манечкой, любительницей итальянской оперы и театра вообще. Она, милая такая и удивительная, успевала даже, по субботам, сходявши в 6 часов ко всеобщей везти нас в карете, в Газетный переулок, в оперу! Как она увлекалась, как аплодировала! Девочки Мамонтовы, имея контрамарки, ходили в оперу почти ежедневно и мы там встречались и вместе восторгались!

В половине 90-х годов, когда мы жили за границей, дядя Савва основал знаменитую русскую «Мамонтовскую оперу». Там расцвели таланты Шаляпина, Рахманинова, (как дирижера и отчасти оперного композитора), Надежды Ивановны Забела, для которой Римский-Корсаков написал «Садко». Она была изумительной исполнительницей и в других операх Николая Андреевича (в «Снегурочке», «Золотом петушке»). Также расцвели таланты Серова, Коровина. К сожалению, я уже не застала этой, поистине художественной, оперы. Но вернувшись в Россию в первый год 20-го столетия, наслаждалась и поклонялась этим талантам в отдельности. Шаляпин и Забелла-Врубель были членами труппы Мариинского театра, также Коровин был декоратором этого театра вместе с Головиным.

Братья д'Андрате бывали часто в Леонтьевском переулке у Мамонтовых. Наташа, которой было в те года 16, 17 и 18 лет — серьезно была увлечена Франческо, а я — Сашей Зилоти. Изю всех девочек Мамонтовых я особую нежность чувствовала к Наташе. У нас были самые романтические беседы. Мы обе скрывали наши чувства от посторонних глаз и были почти что «товарками по несчастью». Наташа училась в гимназии в одном классе с Варей Зилоти, сестрой Саши Зилоти. Я ее встречала у Наташи, через некоторое время мы начали с Варей переписываться. Она меня

никогда Саше не выдавала. Всё это для меня увеличивало романтическую атмосферу в доме «Леонтьевских» Мамонтовых. Мы видались с Наташей довольно часто до самой моей свадьбы. В середине 80-х годов Маша Мамонтова была уже несколько лет замужем за Владимиром Васильевичем Яқунчиковым, а Зина — за Эмилием Юльевичем Мориц. Была упоена счастьем с этим, действительно, необыкновенно интересным человеком. Родились у нее дети один за другим. Она нигде не бывала и ни с кем не видалась. Было очевидно, что ничего ее не интересовало вне ее мужа и ее семьи. Мы с ней виделись очень редко и совсем не видались со времени ее второго замужества. Наташа заменила мне Зину. Это была единственная подруга моложе меня, но мы подходили друг другу нашим «романтизмом».

Вышедши замуж, я жила много за границей и оттуда вернулась в Россию, прямо в Петербург, в первый год двадцатого столетия. Поэтому знаю последующую судьбу Мамонтовых лишь понаслышке.

Серов, прошедший свою юность и часть молодости в доме Мамонтовых как «член семьи» — много раз писал всех барышень Мамонтовых, особенно часто младших. Написал и знаменитый портрет с Верушки, еще девочкой¹, сидящей за столом в Абрамцево, перед фруктами на скатерти.

От хлынувших воспоминаний о трагической судьбе многих из этих трех семей Мамонтовых — в глубокой тоске кончаю эту главу...

¹ Картина Серова «Девочка с персиками».

Глава XXII

НАШИ ХУДОЖНИКИ

Хочется рассказать о ряде художников, живших в Москве, — кто постоянно, а кто временно, — с которыми у нас в семье были чудесные отношения; разумеется, весьма различные с каждым из них. С некоторыми была и большая душевная близость.

Затруднение для меня в этих рассказах составляет то, что в юности впечатления, чаще всего складывались из общих разговоров за столом, а самые характерные и ценные отношения наших родителей с этими художниками должны были, неминуемо, ускользать. Много совершалось, разумеется, где-то вне нашей столовой, о чем мы могли лишь догадываться и чувствовать «в воздухе», по психологии развития этих отношений.

Только что сказанное может одинаково относиться и ко всем людям, бывавшим у нас запросто: писателям, музыкантам и просто знакомым.

Биографических данных почти ни о ком не знаю. Много монографий выпущено было после нашего ухода из России, но я не имею их под рукой, чтобы проверить. Также слишком сложно получить некоторые сведения от близких, оставшихся на родине и могущих помнить факты, кроме тех, которые остались в моей памяти. Решаюсь всё же описать то немногое, что помнится; словно полуполюгены, тающие в тумане прошлого...

Земля наша велика и обильна — талантами!

Перов — родом из остзейских баронов; Владимир Маковский — из московских дворян; Репин — чугуевец, из Запорожья; Васнецов — из вятских северян; Суриков — сибиряк, из Красноярска.

Откуда только Россия-Матушка не дарила нам друзей! Вспоминаю их лица. У одних сильные и выразительные, у других — тонкие, прекрасные! Как их лица, так и их таланты и характеры были богато-разновидны, даже почти противоположны один другому и всем остальным!

А все пути привели их в Рим — в Московскую Третьяковскую галерею, чтобы висеть рядом на ее стенах, во славу Русского Искусства! Разве это не легенда?!

В. Г. П е р о в

Василий Григорьевич фон Крюденер, еще в школе, так прекрасно набрасывал пером каррикатуры и портреты учителей и товарищей, что последние дали ему прозвище Перов, которое он сохранил на всю жизнь своим псевдонимом, ставшим его фамилией.

Помню, с детских лет, как он часто приходил к нам завтракать или обедать; его остроум, которых мы не могли понимать и рассказам, из которых мы некоторые понимали — не было конца; говорил он мягким голосом, серьезно, а все взрослые за столом заливались смехом, в особенности, наш отец.

Василий Григорьевич был роста выше среднего, брюнет, изящной наружности. Хорошо одевался, часто ходил в коричневой, бархатной жакетке. Манеры его просты и прекрасны. Когда вы смотрели на него, не могло быть сомнения: он художник, и самый тонкий. Особенно выдавали его — его руки.

Как-то, помню, привез он с собой свою молодую жену Елизавету Егоровну, небольшую, полную, с круглым лицом, темными глазами и невероятно милой улыбкой. Привели они один раз к нам мальчика наших лет, Володю Перова, оказалось, что он был сыном первой жены Василия Григорьевича. На всю жизнь, кажется, Володя остался в дружеских отношениях со своей доброй мачехой. Елизавета Егоровна быстро сошлась с мамочкой. Будучи очень музыкальной, она любила играть у нас в четыре руки, а когда приходилось, то и в восемь рук.

Перов был профессором в Школе живописи и ваения, на Мясницкой. Там ежегодно бывали в классах ученические выставки на Святках, и выставки «передвижников» на Страстной и Святой неделе. На всех этих выставках мы бывали по многу раз, часто одни, но когда приезжали туда с мамочкой, то заходили к Перовым. У них была большая мастерская с громадным окном, завешанная и заставленная картинами; в углу стояло фортепиано. Больше ничего не помню. Мы болтали с Володей и он иногда бывал и у нас. Так проходили года. Наша галерея всё более богатела картинами и портретами работы Перова. Последние были тонки психологически, передавая и абсолютное сходство. Чтобы написать такие портреты, как Гончарова, Рубинштейна, Тургенева и, особенно, Достоевского и суметь рассказать на полотне «всего человека» — надо было быть огромным художником. Так мне представляется сейчас.

Когда мы были большими девочками, мы стали замечать, как плохо выглядел в то время Василий Григорьевич; стали слышать озабоченные разговоры о его здоровье и видели часто заплаканные глаза милой Елизаветы Егоровны, когда она приходила к завтраку повидаться и отвести душу с нашими родителями. Василий Григорьевич прямо таял.

Ранней весной 1882 года наши родители перевезли его с Елизаветой Егоровной к нам на дачу в Куракино. Он жил в уютной, светлой детской, выходившей на большой круг во дворе, на солнце.

Наши родители мучились и томились. Лечил Василия Григорьевича его брат, Анатолий Григорьевич Крюденер, сын мачехи Василия Григорьевича. Впоследствии А. Г. Крюденер у нас часто бывал — и в Москве, и в Куракине, приезжая на воскресенье.

Понемногу Василию Григорьевичу становилось всё хуже. Начал тосковать и скучать по Кузьминкам,

под Москвой, где любил проводить лето, был убежден, что там, в каменном флигеле, он скоро поправится. Вскоре он туда уехал.

В ту весну уже была готова пристройка галлерей, вдоль Толмачевского переулка, т. е. перпендикулярно старой. Три залы наверху и столько же внизу. Ввиду того, что верхний этаж старой галлерей был выстроен вровень с нашей столовой, и был несоразмерно высок, пол в пристройке подняли и пришлось сделать дубовую лесенку из старой галлерей в новую.

Только что закончили развешивать картины в пристройке, а в старой галлерее всё, в том числе и весь Перов, было перевешено более просторно. Это радовало умирающего Василия Григорьевича.

Помню горе родителей наших при вести о его кончине в Кузьминках. Отпевали его в переулке на Мясницкой, близ Школы живописи и ваяния. Все мы, конечно, были в церкви, а на кладбище нас не взяли и я не могу вспомнить где похоронили его.

Помню как мы с сестрой Сашей под этим грустным впечатлением, не могли целый день ничем заняться и болтались в галлерее. И как там старался нас утешить и развлечь, тоже только что вернувшийся с похорон художник Николай Дмитриевич Кузнецов, который стал ежегодно, весной, приезжать в Москву во время Передвижной выставки.

Вспомнилось мне сейчас, как он в тот день, увидя меня, сидящей на лесенке в галлерее, задумавшись, — так мило подошел, нагнулся, заглянул снизу мне в лицо и спросил своим потешным одесским говором: «А что с вами, Верочка?...» Я расхохоталась и мне стало сразу легче. Было мне тогда пятнадцать лет.

В. Г. М а к о в с к и й

Одним из самых очаровательных, тонких, душевных людей, которых я знала в жизни — был Владимир Егорович Маковский. Был он привлекателен и своей внешностью: ростом гораздо выше среднего, худой, живой в движениях, элегантный, с зачесанными назад темно каштановыми, волнистыми волосами, небольшой бородкой, светлыми глазами и чарующей улыбкой.

С детства и до моих 25 лет, когда я навсегда покинула Москву, я часто видала его в Толмачах. Нередко он завтракал у нас, когда приходил утром по делу к нашему отцу, и часто запросто обедал один.

Чувствовалась большая теплота в его отношениях с обоими нашими родителями. Любил музыку до безумия. После обеда у нас всегда просил мамочку ему поиграть. Они шли в залу, а папочка оставался в столовой, курил свою сигару, читал, слушал издали и наслаждался. Начиналось и кончалось Шопеном. Владимир Егорович слушал, сидя рядом с мамочкой облокотившись на рояль, почти всегда возвращался в столовую заплаканным и как будто облегченным. Мы, ничего не зная, чувствовали какую-то большую драму в душе его. Когда он уходил, бывало нежное прощание и просьба придти к нам как можно скорее. Приезжал он изредка и в Кунцево, под осень, в темные вечера, сколько всего переиграла мамочка Владимиру Егоровичу!

На Рождество и весной, в день Марии Египетской, в день Ангела тети-Манечки, или в день рожде-

ния мамочки — устраивались в Толмачах большие обеды, на которых бывали многие художники, а также Владимир Егорович со своей женой Анной Петровной. Она была высокая, с элегантной фигурой, с «русским кислым носом», как выразился о себе самом когда-то в Кунцеве Иван Сергеевич Тургенев. Любила ораторствовать о «сенсационных» происшествиях; громко, через стол и употребляла кстати или некстати слова: «Я констатирую факт». Это было для нас молодежи достаточно, чтоб чувствовать разницу в обликах ее и удивительно простого, чуждого какой-либо безвкусицы Владимира Егоровича. Впрочем — она была очень любезная и милая.

После смерти В. Г. Перова Владимир Егорович занял его место, как профессор в Школе живописи и ваяния. Насколько помню, Маковские жили в той же квартире, где жили прежде Перовы, и мы к ним изредка заходили после выставок.

Не могу рассказать никаких фактов, известных нам, детям, в отношениях наших родителей с Владимиром Егоровичем.

Было и осталось впечатление, что в душе его жил целый мир поэзии, романтики. Удивляло меня тогда несоответствие между его душевным обликом и его искусством. Его картины прекрасные и интересные полны, за немногими исключениями, неумолимого бытового реализма.

Замечено в жизни, что лучшими комиками на сцене и клоунами в цирке бывают люди самые серьезные, вдумчивые, даже с трагическим уклоном.

Не романтизм ли (как антипод) развил в Маковском ту аналитическую сосредоточенность, которая так ярко выражена в психологии бесчисленного множества типов на его картинах.

В истории русской живописи, насколько я могу вспомнить, было только четыре семьи, которые дали ряд художников-живописцев. Кто — пару, кто — це-

мый «выводок», а кто — и несколько поколений. Это: Брюлловы, Репины, Маковские и Бенуа. У знаменитого Карла Павловича Брюллова был племянник Павел Александрович, известный своими прелестными алжирскими пейзажами. У Ильи Ефимовича Репина был сын — художник, Юрий. Работ его не видала. В семье Маковских выросло сразу четыре живописца: братья Константин, Владимир, Николай, и сестра-акварелистка, имени которой вспомнить не могу. Николай Егорович писал бесконечные виды Египта, довольно колоритные, но однообразные. Константин и Владимир Егоровичи были «знаменитыми Маковскими»: первый — в Петербурге, второй — в Москве. Владимир Егорович был художником-«жанристом», по Московскому выражению, нередко впадавшим в тенденцию. Его картины сохраняют свою ценность, как память об ушедших типах, ушедшем быте, ушедшей эпохе. Это более психологические моменты, чем настроения или переживания, более описательные, чем чисто-живописные картины. Рисунок меня часто смущал неправильностью пропорций фигур; его живопись казалась мне не столько живописью, сколько раскраской. Я чувствую наибольшее «настроение» и вижу наибольшую «живопись» в картине, где двое старичков-помещиков, муж и жена, варят под деревьями варенье, и самое глубокое переживание — в картине «Оправданная»; драматически понятая, как бы Мадонна с ребенком.

Для меня Владимир Маковский остается большим художником-психологом, но отнюдь не живописцем по существу. Константин Егорович по большей части писал портреты, женские и мужские — и иногда прекрасные. В нашей галлерее висят портреты певца Петрова и Даргомыжского. Константин Маковский, по моему мнению, был переоценен публикой, как блестящий, популярный художник, и недооценен серьезными критиками, проглядевшими, может быть, бо-

ясь его некоторой банальности, — его громадный чисто живописный талант. Один «Алексеич» в Третьяковской галлерее, по-моему, доказывает это. Сколько прекрасно написанных мест в его больших декоративных портретах (например, портрет его второй жены, урожденной Ледковой с детьми) и в больших полотнах, как «Боярский пир» и «Русалки». При хорошей школе его живописная техника была бы первоклассной. Может быть, я и преувеличиваю, но с детства возмущалась несправедливой и не точной, по-моему, оценкой этих двух даровитых братьев-художников. У Владимира Егоровича старший из сыновей, Александр, был портретистом, а второй, Константин — архитектором. У Константина Егоровича — сын Сергей — был известным художественным критиком и писателем об искусстве, с очень тонким вкусом.

В семье Бенуа художественный талант унаследовался еще шире членами ее, в нескольких поколениях. Пока, насколько мне известно, в трех. Родоначальником «Бенуяды» (вроде как говорят в Германии: «Die Vasche») был Николай Бенуа, архитектор-акварелист. Из трех его сыновей, которых я знаю, двое пошли по пути отца: Леон и Альберт Николаевичи; последний был особенно знаком нам своими тонкими, восхитительными акварелями; третий сын стал знаменитым, чудесным и любимым всеми живописцем Александром Бенуа. Сестра их, жена скульптора Лансере, стала матерью двух известных художников Николая и Евгения Лансере и известной художницы Серебряковой, написавшей портрет своей очаровательной дочери, голенькой, лежащей на диване. (Портрет находится в коллекции Б. А. Бахметьева, в Нью-Йорке).

У Альберта Николаевича Бенуа почти все дети талантливые акварелисты.

У Александра Николаевича обе дочери способные к живописи. Сын его — талантливый художник-декоратор, известный своими работами в Париже и в Риме.

И. Е. Р е п и н

В воспоминаниях об Илье Ефимовиче Репине придется мне снова, и не в последний раз вообще, обращаться к спасительной «живой хронологии», по примеру рассказа Чехова.

Богатство впечатлений вносил Илья Ефимович в наши юные души уже одним своим присутствием, одной своей гениальностью, чрезвычайной наблюдательностью, большим умом, переплетенным с лисьей, очаровательной хитростью и меткостью. Он бывал всегда интересен и вкрадчиво уютен.

Часто приходил он с нашим отцом прямо из галереи к нашему семейному завтраку. Отношения между отцом и ним были ярки обоюдным восхищением, поклонением, теплотой и стоят совсем особняком в моей памяти. Мы заслушивались и заглядывались на них, сидящих по бокам угла стола. Несмотря на кажущееся спокойствие и сдержанность, искрились в глазах Ильи Ефимовича бесконечный темперамент, энтузиазм и веселая ирония, рядом с верой во всё прекрасное.

Среднего роста, с курчавыми густыми прядями волос и бородкой, длинным носом, лисьими зелеными глазами и милой, хитрой улыбкой — он был привлекателен.

Помнится, что несколько лет подряд жил он в Москве со своей женой, Верой Алексеевной, на редкость милой, тонкой и чарующей своей, почти детской, простотой, и со своими занятыми ребяташками.

Мне представляется, что они переехали в Москву из Парижа, куда Репин был послан пенсионером по окончании Академии Художеств в Петербурге, по клас-су Михаила Петровича Чистякова.

Помнится, что Надя, вторая дочка Репиных, называлась у них «нашей Парижанкой». Вера, оригинальная, похожая на отца своего, и Надя, более хорошенькая и темная — были тогда подростками лет 6-ти и 8-ми, а Юрий был лет 3-х или 4-х. Волосы на голове ему брили, оставляя длинный запорожский чуб.

Помню, но очень смутно, некоторые уголки их квартиры; ни дома, ни улицы припомнить не могу. Мы к ним изредка с мамочкой заезжали. Вера Алексеевна тоже изредка бывала у нас вместе с Ильей Ефимовичем на обедах и мы всегда радовались ее видеть и с ней поговорить.

Вспоминается мне, словно сквозь сон, как в последнее наше лето в Кунцеве, лето 1879 года, приехал к нам как-то в праздник, утром, Илья Ефимович. После завтрака пошли родители наши на прогулку в знаменитую Липовую Рощу, чтоб показать ее Репину; взяли с собой и нас, старших девочек. В глубине рощи Илья Ефимович сорвал несколько чудесных, темнолиловых фиалок и незабудок, сложил их в букетик и подал мне, говоря: «Вот это соединение красок необыкновенно красиво, и мое любимое сочетание».

Святки и первые дни 1883-го года мы с сестрой Сашей провели с родителями в Питере, и там мы бывали у Репиных на Екатерининском канале. Помню балкон, выходивший на канал. На нем стояли постели, где семья Репиных, в дохах и шапках, спали, несмотря ни на какой мороз. Эта мысль нас прямо испугала, как что-то совершенно новое, неслыханное, показавшееся нам тогда почти безумием. В лето 1882 года в окрестностях Москвы, на Ходынском поле, непода-

леку от Петровского дворца, была Всероссийская Промышленная выставка с обширным художественным отделом. Картины Репина — прямо гремели.

В Москве написан был им, по заказу нашего отца, превосходный портрет бабушки Александры Даниловны, портрет Льва Николаевича Толстого, старообрядца Сютаева, поэта Афанасия Афанасьевича Шеншина-Фета, Ивана Сергеевича Тургенева¹.

В Москве же Репиным были написаны портреты Веры Алексеевны Репиной, спящей в кресле, дочери их Веры, сидящей на заборе на солнце и другие. Если не ошибаюсь созданы там, а может быть и написаны, изумительные по живописи и по ярко и тонко выраженной психологии картины: «Царевна Софья», «Иоанн Грозный» и «Не ждали», для которой позировали Вера Алексеевна, Вера и их горничная Надя. Когда написаны обе версии «Запорожцев» — не знаю. Самая ранняя картина Репина, о которой мы слышали еще до нашего знакомства с ним — была «Бурлаки». Кажется мне, что для портрета Мусоргского, написанного в больнице, незадолго до кончины последнего, в январе 1881 года в Петербурге, Репин специально ездил туда из Москвы, по желанию нашего отца. Сколько гениальных портретов работы Репина приходило и вешалось на стенах нашей галереи.

¹ Для этого портрета Иван Сергеевич в этот приезд в Россию позировал много раз. В то время он увлекался, казалось, красивой Еленой Ивановной Бларамберг, писательницей и сестрой композитора Павла Ивановича Бларамберга. Помню, как обедали у нас, совсем запросто, Иван Сергеевич, Елена Ивановна и Репин. Мы, разумеется, мало понимали в островах Ивана Сергеевича, но веселились смехом взрослых, особенно нашего отца и Репина. Вздумали вдруг гости наши спорить о том, кто, с повязанными глазами, лучше других нарисует Венеру Милосскую. Принесли листы бумаги и карандаши. Все трое гостей завязали себе глаза. Что получилось на бумаге — нам не показали, но украдкой, мы заметили, что у Ивана Сергеевича линии были на месте, даже закругленные и круглые, а у Репина все они были перепутаны.

Среди них особенно восхищали меня два портрета Антона Григорьевича Рубинштейна.

В лето, когда младшая дочка Репиных, Таня, была еще младенцем, они жили близ станции Хатьково, по Московско-Ярославской железной дороге. Дачка их стояла в молодом лесу у самого полотна.

В то время Илья Ефимович, вместе с Васнецовым и Поленовым, расписывал маленькую церковку в селе Абрамцеве, принадлежавшем, как я уже упоминала, Савве Ивановичу Мамонтову, и написал, как помнится, престольный образ Спасителя для иконостаса той же церковки. Помню, как наши родители, Наталья Васильевна и мы с сестрой Сашей ездили в Троице-Сергиевскую Лавру, сговорившись с Репиным, который к нам подсел в поезд в Хатькове. В Лавре мы осматривали особенно внимательно ризницу, сокровища которой показывались, как музейные редкости.

На возвратном пути родители проехали прямо домой, в Куракино, а мы с Натальей Васильевной остались до вечера у Репиных. Наталья Васильевна увлекалась талантом и личностью Репина и пробеседовала с ним на балконе до самого ужина. Не забуду, с какой грустью и жалостью я смотрела на хлопоты бедной, милой Веры Алексеевны: у Тани шли зубки, она всё время плакала, Вера Алексеевна то и дело убегала к ней, то ее кормить, то убаюкивать. Надо было ей еще хлопотать с ужином, и с каким-то неудавшимся пирожным, и я в душе досадовала на Наталью Васильевну: зачем было оставаться и давать столько хлопот ласковой и нежной Вере Алексеевне? Плач за стеной больного младенца на руках молодой матери — остался с того дня на всю жизнь для меня одним из самых грустных впечатлений в жизни женщины. Сейчас слышу за сценой плач ребенка на руках Ермоловой 2-й (в пьесе «Блуждающие огни», шедшей в Московском Малом Театре), в то время, как на сцене муж — Горев, бурно объясняется в любви Ермоло-

вой 1-ой, по пьесе — сестре своей жены. Помню, как я глотала слезы и думала: «Не стоит жить».

Вспоминаю как-то раз, в Москве, мы с сестрой Сашей заехали к Репиным. Вера Алексеевна, сидя случайно со мной одной в столовой за столом, говорила мне, как она, после целого утомительного дня, уложив свою ватагу ребят, измученная, садится за этот стол помолчать и придти в себя в тишине.

«И вот придет Илья, начнет рассказывать о своей работе в тот день над своими картинами — и усталость моя мгновенно исчезает. Ложусь спать счастливая, полная энергии на будущий день. Тогда я забываю и свое, надоевшее мне лицо, которое утром, когда я причесывалась, приводило меня в зеркале, прямо в отчаяние своей некрасивостью».

А как она была мила! Она осталась для меня идеалом душевной женственности, идеалом подруги художника!

С половины 80-х годов, до и после моего замужества, я продолжала видеть Илью Ефимовича в доме моих родителей, когда он приезжал из Петербурга в Москву по делам. Так длилось до начала 1892 года, пока я, с мужем и детьми, не уехала надолго за границу. Свиделась я снова с семьей Репиных, лишь переехав в Петербург, в мае 1900 года. Уютно провела с ними несколько часов в их квартире в Академии Художеств. Увы! Это было, в силу разных обстоятельств, разразившихся вскоре в их семье, — последнее мое свидание с ними.

В. М. Васнецов

Немного позже Репиных начали бывать у нас Виктор Михайлович Васнецов и его жена, Александра Владимировна, врач по образованию, умная и скромная.

Виктор Михайлович, с первого взгляда, очень удивил нас своей наружностью типичного северянина; высокий, худой, с рыжевато светлыми волосами, висящими словно мочалки по бокам длинного, скорее красивого лица, с прямо глядящими на вас глазами. Голос гнусавый и говор совсем особенный. Наши прислуги сразу прозвали его дровосеком, лесовиком, а мне рисовался он «лешим», так как о домовых и леших у меня не было представления, как о чем-то некрасивом или недобром. Как бы подходила Виктору Михайловичу роль Деда-мороза в «Снегурочке» Островского! как сейчас слышу: «Любо, любо мне»!

На одной из Передвижных выставок, не слыхав еще тогда имени Васнецова, увидав, висящую совсем отдельно его картину «Слово о Полку Игореве» — я была очарована, восхищена до внутренних слез. Я любила древнюю Русь — а Васнецов рассказывал ее, как легенду, как балладу, и я вернулась домой с выставки совсем взволнованная. Это первое впечатление было и осталось самым сильным от эпического таланта Васнецова. Впоследствии любила я и его «Богатырей», и его «Аленушку», и его Киевскую Мадонну, стоящую на облаках, и «Грозного», сходящего по лестнице из кремлевских теремов, и многое другое.

Отношения были с Виктором Михайловичем в нашей семье немного иные, чем с другими художниками. Между нашим отцом и Васнецовым чувствовался обоюдный громадный интерес и уважение.

Заходил он к нам часто невзначай, когда у него находилась минута отдыха или зарождающегося творчества. Забегал иногда на минутку после заката солнца, окончив работу, перекинуться словом со всеми нами. Когда приходил обедать, то засиживался. В своем творчестве не был скрытен с нами, охотно говорил о своих планах и мечтах. Любил музыку сильно, ярко, мало ее знал, но жаждал ее, искал и находил в ней вдохновение, к мамочке и ко мне обращался, как к источнику, из которого черпал, слушая музыку, новые мысли — и фантазия его летела за уносящимися звуками. «Верочка, идем! Играйте мне Бетховена» (выговаривал он это имя чисто по-русски). И вот играю ему сонату за сонатой, или в четыре руки с мамочкой симфонии, или квартеты. Сидит, Виктор Михайлович, слушает, вдруг вскочит, ухватившись руками за голову: «Бетховен, как он говорит образно, образно! Ну вот спасибо. Побегу домой. А вы (обращаясь к нам с Сашей), дня через два, когда пойдете гулять по Полянке, — зайдите ко мне посмотреть, что у меня выходит». Мы, конечно, заходили и показывал он нам, когда — начатую картину, когда — свои панно Каменного века, заказанные ему для Исторического Музея.

Позже, после поездки в Равенну, когда обдумывал и делал наброски для росписи и для фресок Владимирского Собора в Киеве, — пристрастился (по его словам) и к Баху, к его «Пассакалии», к прелюдиям и фугам, приходил с каждым годом всё чаще «за музыкой».

Когда мне было 17 лет, он сделал с меня набросок своей Царевны для картины «Иван Царевич на Сером Волке».

Так шел год за годом. Понемногу полюбил Виктор Михайлович и Шуберта, частично и Шопена, даже заслушивался Фауст-Симфонией Листа, которую мы любили с самой юности играть с сестрой Сашей на два фортепиано. Нравился ему и «Тассо», и «Мефисто-Вальс» своей фантастичностью.

Когда я стала невестой Саши Зилоти, Виктор Михайлович рассердился не на шутку: «А я думал, что вы любите музыку больше всего на свете; а вот вы любите музыканта и изменяете своей музыке. Это — великое разочарование! Я не хочу вас больше видеть!». И убежал.

Разумеется, эти слова были лишь выражением преувеличенной, минутной досады, и не могли бы никогда повлиять на наши отношения. Виктор Михайлович привык, в продолжение ряда лет приходиться к нам в дом всегда, когда ему хотелось слушать музыку. Отказа ни с мамочкиной, ни с моей стороны никогда не было. Он точно чувствовал неотъемлемое право на это, право художника.

Но как ни странно, события складывались само собою именно таким образом, что нам не пришлось потом никогда видеться.

Тогда же я вскоре заболела, в январе умер мой младший брат. Свадьба наша была перед масленицей и мы с мужем уехали жить в Германию. Когда мы, немного позже, жили в Москве, во время трехлетнего профессорства Зилоти в Консерватории, — Васнецов расписывал Собор Св. Владимира в Киеве. В начале 1892 года мы уехали надолго в Западную Европу и, по возвращении в Россию, в мае 1900 года, поселились не в Москве, а в Петербурге, откуда и бежали за границу, во время революции, в феврале 1920 года.

В последние годы в России я нередко ездила в Москву, как член Совета Третьяковской галереи,

при Грабаре. В хлебосольной, радушной семье его жены, милой Вали Мещериной, я встречалась со многими художниками, но с Васнецовым встретиться не пришлось. Словно, подслушав вызов Виктора Михайловича, судьба решила нарушить наши многолетние, добрые отношения.

В. И. Суриков

Приблизительно в тех же годах, когда мы выдались с Васнецовым, поселился в Москве Василий Иванович Суриков. Родом он был из Красноярска, «почти якут», по его собственному выражению, и наружность у него была, мне кажется, типичная для того Сибирского края: небольшой, плотный, с широким вздернутым носом, темными глазами, такими же прямыми волосами, торчащими над красивым лбом, с прелестной улыбкой, с мягким, звучным голосом. Умный-умный, со скрытой, тонкой сибирской хитростью, он был неуклюжим молодым медведем, могущим быть, казалось, и страшным, и невероятно нежным. Минутами он бывал прямо обворожительным.

Познакомились мы раньше всего с его картиной «Казнь стрельцов» на одной из Передвижных выставок, вскоре после которой картина была повешена на стене нашей галереи. Какое сильное, страшное впечатление давала эта изумительная картина. Облик Петра меня так поразил, что в мою болезнь, случившуюся вскоре, я бредила им. Он являлся мне во сне, в виде кошмара, в продолжение многих лет.

Не вспомню, когда мы лично познакомились с Василием Ивановичем. Ни в его картине, ни в нем самом невозможно было сразу не почувствовать громадной силы гения. Он стал заходить к нам из галереи, с нашим отцом, к завтраку. Как-то позвал мамочку и нас с Сашей к себе, показать свою новую, еще не оконченную картину «Меншиков в Березове».

Когда мы приехали к нему, мы услышали его звучный голос: «Лиля!». Вышла к нам милая, молодая, скорее красивая, скажу даже очаровательная женщина, бледная, с лучистыми темными глазами, темной косой. Она была всегда, и впоследствии, конфузливая, но приветливая. Квартира была у них чрезвычайно маленькая и холодная. Чтобы видеть картину его, стоявшую на мольберте в первой комнате — надо было уйти вглубь передней и оттуда смотреть через дверь, открытую на обе половинки. Невероятной силой, невероятной грустью повеяло от фигур детей Меншикова, особенно от старшей дочки, сидящей у колен отца, на скамеечке, по всей вероятности. Она кутается в шубу, очевидно ее знобит, она расхварывается. Исторически известно, что вскоре она умерла от оспы. Как далеко несутся на лицах детей мысли о покинутом, потерянном! И эта сокрушенная мощь на лице затравленного человека, еще недавнего временщика!

Посмотрев картину, мы пошли в детскую, где нас встретили две девочки: старшая, Оля, лет шести, портрет отца и младшая, Лиля, более миловидная. Мы посидели у них с часок, было у них очень уютно.

Со следующей Передвижной выставки «Меншиков» был привезен в нашу галерею и повешен неподалеку от «Стрельцов».

В половине 80-х годов наняли Суриковы на лето избу в Мытищах. Село это знаменито центральным водопроводом для снабжения всей Москвы питьевой водой. Лежит оно на Троицком, собственно Ярославском шоссе, по которому столетиями шли целый год, особенно летом, непрерывные вереницы богомольцев, направлявшихся сначала в Хатьковский монастырь, затем в Троице-Сергиевскую Лавру; шли со всех краев России, сначала поклониться мощам множества Московских угодников, а в Лавре — мощам Сергия Преподобного. Разнообразие типов — не было

конца. Мы сразу догадались, что Суриков задумал писать картину с толпой, народную историческую картину.

Село Мытищи отстояло от деревни Тарасовки по тому же шоссе, только верст на 10 ближе к Москве. Суриков писал, захлебываясь, всех странников, проходивших мимо его избы, интересных ему по типу.

Когда смеркалось, часто он пешком «отмахивал», по его выражению, десять верст и появлялся неожиданно у нас в Куракине. Пили чай на балконе, живо, интересно беседовали; потом переходили в дом, где в гостиной засаживали меня, грешную за фортепиано, и надолго. Василий Иванович всегда тихо и звучно просил: «Баха, Баха, пожалуйста!». Игались из «Wohltemperirtes Clavier» прелюд за прелюдом, fuga за фугой; игралась и органная токката и fuga d-moll в переложении Таузига, тогда — мало известная, а в настоящее время везде заигранная, но Василий Иванович трогался более всего самыми красивыми, и на мой вкус, прелюдями в оригинале, особенно любил прелюд f-moll, который приходилось каждый раз ему повторять по нескольку раз.

Темнело. Приезжал из Москвы отец наш, всегда душевно радовался найти у нас Василия Ивановича, который обычно оставался обедать. А если шел дождик, то и вечером музыка продолжалась к удовольствию и отца. К осени, как дни становились короче — Василий Иванович всё чаще приходил «послушать Баха» и за дружеской беседой отдохнуть от утомительного дня писания прохожих странников, с которыми не обходилось иногда без недоразумений всякого рода.

На следующей Передвижной выставке увидели мы выставленную в отдельной комнате «Боярыню Морозову». И поняли, зачем Василию Ивановичу понадобились все эти оригинальные, сильные, а иногда даже

страшные лица, которые он нам показывал в этюдах, летом, когда мы, катаясь, заезжали к ним в Мытищи.

«Боярыня Морозова», разумеется, тоже висит в нашей галлерее, украшая самую дальнюю стену амфилады пяти зал пристройки, идущей вдоль Толмачевского переулка.

Не помню более, в каком именно году была выстроена вторая пристройка. Первая пристройка состояла из трех зал в нижнем этаже и стольких же в верхнем. Она была готова, как я уже писала, незадолго до смерти В. Г. Перова, весной 1882 года. Вторая пристройка, состоявшая из двух зал внизу и двух наверху, была готова года за два, если не ошибаюсь, до моего замужества. Во всяком случае в середине 80-х годов. Досадно, что хронологическая память так у меня хромает. Принято было, на нашем домашнем языке, всю галерею делить на «верхнюю» и «нижнюю», на «старую» — параллельно церковной ограде — и «новую», вдоль Толмачевского переулка. Позже были выстроены залы вдоль Протопоповской земли, перпендикулярно Толмачевскому переулку. Была выстроена пристройка к дому, в северной его части, по три комнаты в каждом из двух этажей. В бельэтаже долго жили сестра Люба, брат Миша и их воспитательница, Ольга Николаевна Волкова. В средней (бывшей Мишиной комнате) родилась моя старшая дочка Вера, осенью 1890 года, а в третьей, бывшей Любиной комнате, скончался наш отец, 4-го декабря 1898 года. Позже все эти комнаты были переделаны в одну большую залу галлерей. После смерти родителей и наш семейный дом вошел в состав галлерей. В большой зале, где жили наши фортепиано — повешена коллекция икон. С ней висят «Стрельцы», «Меншиков» и «Никита Пустосвят» Перова. Картина «Меншиков в Березове» для меня самая лирическая, хотя, возможно, что и более слабая, из трех картин Сурикова в нашей галлерее. «Боярыня Морозова» ря-

дом с «Явлением Христа народу» А. И. Иванова в Румянцевском Музее и «Тайной Вечерей» Н. Н. Ге в Музее Александра Третьего — по моему мнению самые великие русские картины.

Не без волнения я заканчиваю мои воспоминания о В. И. Сурикове, о величайшем, гениальном, стихийном живописце русском. Контакт с гениальной личностью, хотя бы в продолжение недолгих лет, оставляет невольно навсегда глубокое впечатление на душу человека.

В ближайшие годы ко времени, о котором рассказываю, я, выйдя замуж, по большей части жила за границей. Слышала, что Оля Сурикова, удивительно милая душа, — скончалась молодой, а младшая Лиля, — вышла впоследствии замуж за очень талантливого художника Щербиновского.

Н. Н. Ге

Было три периода в моей жизни, когда я много видалась с русскими художниками.

Первый период занял целую четверть века, от моего детства до переезда моего, и надолго, в Западную Европу, т. е. от 1866 по 1892.

Назову имена художников этого периода, приблизительно в хронологическом порядке, по времени знакомства с ними: Горавский, Лагорио, Трутовский, Риццони, Айвазовский, Боткин, Рачков, Перов, скульптор Антокольский, Прянишников, Владимир Маковский, Константин Маковский, Ге, Максимов, Крамской, Верещагин, Репин, Васнецов, Суриков, Поленов, Куинджи, Кузнецов, Бодаревский, Мясоедов, Брюллов, Ярошенко, Шишкин, Чистяков, Левитан.

Второй период, — три года прожитых в Париже (от 1892 до 1895 года), которые дали моему мужу и мне дружеские отношения более, чем с полдюжины художников: Боголюбовым, Харламовым, Леманом, Романом, Гриценко, Ткаченко, Ендогуровым и другими.

В третий период, в Петербурге, от 1900-го по 1920-ый год, в продолжении двух десятилетий, мы видались со многими художниками «Мира Искусства», сплотившимися вокруг Дягилева: с Серовым, Врубелем, Сомовым, Бенуа, Бакстом, Добужинским, Грабарем, Миллиоти, Яремичем, Коровиным и Головиным.

Целый полувековой калейдоскоп! Забежав вперед для общей картины знакомства в моей жизни с русскими художниками, возвращаюсь в рамки воспоминаний.

С большой симпатией вспоминаю всегда большого художника Николая Николаевича Ге и умную, милую жену его Анну Петровну, урожденную Забела. Несмотря на духовную близость их с нашими родителями, видали мы их редко, живя в различных краях России. Когда приезжали они из имения Забела, на Украине, бывали у нас часто, обедали, завтракали.

Это были люди с большим шармом, громадной культуры, полные возвышенного настроения.

Как высоко отец наш ценил талант Н. Н. Ге, показывает очень красочный разговор, за завтраком у нас, с Михаилом Петровичем Боткиным, приехавшим из Петербурга весной 1882 года, по делам устройства художественного отдела Всероссийской Промышленной выставки на Ходынском поле. Михаил Петрович со свойственной ему хитрецей и дипломатичностью, начал в шутовском тоне рассказывать Павлу Михайловичу, как великий князь Владимир Александрович, в качестве президента Академии Художеств, выражал ему, Михаилу Петровичу, мечту видеть среди художественного отдела на Ходынском поле коллекцию картин Третьякова. «Но я сказал великому князю, — прибавил Михаил Петрович, — что об этом я и заикнуться не посмею, что нет на свете тех сил и того средства, которые бы могли заставить Павла Михайловича Третьякова согласиться на такое рискованное дело». — «Напрасно вы так думаете, Михаил Петрович, — возразил Павел Михайлович, потирая нос платком и хитро улыбаясь, — такое средство есть». Боткин изумился: «Да неужели есть, Павел Михайлович? Какое же?» — «Да вот, я сам, с радостью, перевезу все мои картины на Ходынку, если великий князь даст распоряжение подарить в мою галерею «Тайную Вечерю» Ге».

Зная эту картину по гравюре, висевшей на стене у мамочки в кабинете, мы поняли отца, когда увидели ее в оригинале в Академии в Петербурге на Святках

того же года. Теперь она висит в Русском Музее, по крайней мере висела до нашего бегства из Петербурга. С детства мы с грустью и интересом рассматривали в галлерее картину «Петр и Царевич Алексей». Интересен был нам и портрет «Искандера», как в то время называли Герцена. Впоследствии невероятной силой, частью привлекали, а частью отталкивали крупные картины Ге, изображающие сцены с Пилатом, суда над Христом и его крестные страдания. Картины эти стихийные, неумолимо-реальные. Некоторые висят в Третьяковской галлерее.

Николай Николаевич Ге был почитателем Льва Николаевича Толстого, и как писателя, и как философа, относился к нему с большой объективностью. Наш отец ценил и любил беседы с Николаем Николаевичем Ге, но иногда мило подшучивал над ним или рассказывая нам о своих с ним беседах, если приезд Николая Николаевича случался в то время, как нас в городе не было. Вспоминаю последнюю беседу, о которой отец рассказывал, заливаясь тихим смехом, мамочке и мне, в Куракине, летом 1888 года, когда мы с моим Сашей у них гостили:

«Заходил ко мне в Толмачи сегодня утром милейший Николай Николаевич Ге, чудесный человек, но и чудак же: спрашивает меня, как наши молодые, Вера с Сашей, живут, по-божьи, или не по-божьи. Я ответил, что по-божьи, т. к. Вера Сашу слушается и делает всё, как он хочет. — «Ну, а у нас наоборот, — разъяснил Николай Николаевич, наши молодые живут не по-божьи: Петрушка слушается Катю, и делает всё, как она хочет».

В. Д. П о л е н о в

О Василии Дмитриевиче Поленове, которого очень ценю и люблю, как настоящего романтического художника, — не могу не сказать хоть несколько слов. Я изредка его встречала в продолжение многих лет у наших родителей, иногда у Якунчиковых или в доме Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны Мамонтовых. Разговаривать мне с ним почти не пришлось и вспоминаю о нем, с большой симпатией, лишь по впечатлению от его гармонической личности. Он происходил из очень культурной семьи, был исключительно хорошо воспитан. Помню, тетя Зина Якунчикова, как-то летом, в Введенском, после обычного у них многолюдного обеда, сказала нам, молодежи: «А вы все замечайте и учитесь, как Василий Дмитриевич себя держит, как просто и как внимательно ко всему окружающему. Обратите внимание, как красиво он чистит апельсин, как всё, что он делает, — эстетично». Тетя Зина сама была эстетом.

Василий Дмитриевич был высокий, хорошо сложенный, держался прямо и свободно. Был лицом невероятно дурен, но обладал громадным шармом. Жил он много за границей. Бывал у нас чрезвычайно редко. В галерее нашей сначала появилась его картина «Представление новобрачной», интриговавшая всю молодежь. Любовались мы и жалели этих трех девушек, очаровательных, запуганных и несчастных. Второй картиной было «Больное дитя». Это для меня одна из самых трогательных картин на свете. Молодая мать, а, может быть, старшая сестра, — лицом и

фигурой напоминает Марию Николаевну Климентову¹, которой в то время Василий Дмитриевич сильно был увлечен.

Написаны эти обе большие картины так тонко, реально, сочно и колоритно в скромной гамме красок.

Ездил Василий Дмитриевич надолго в Палестину, писать этюды для задуманной и впоследствии написанной, громадной картины «Христос и Грешница». Ряд палестинских этюдов висит в нашей галлерее. Люблю очень идущего по берегу Тивериадского озера Христа. Сама картина не знаю где находится. В ней мне нравилась гамма красок, многие типы, даже самого Христа, так небанально понятого.

Я уже упоминала о том, что Поленов, вместе с Репиным и Васнецовым, расписывали церковку в Абрамцеве, имени Саввы Ивановича Мамонтова (в бывшем имени С. Т. Аксакова), под Хотьковым. В этой церковке Василий Дмитриевич венчался с Наташей Якунчиковой, боготворившей его до конца жизни.

Поленовы жили в Москве в старинном, барском особнячке с колоннами, с садом. Помню дом — и снаружи, и внутри, — а в какой части города он стоял, — не могу вспомнить.

Две небольшие картины, написанные там, находятся также в нашей галлерее. На одной изображен сад с двумя идущими женскими фигурами: бабушки и внучки, — взрослой девицы в розовом платье. На другой чудесно написан светлый обширный двор, поросший зеленой травой. Налево забор и дом, вдаль на солнце, блестят купола приходской церкви. Это такая

¹ Климентова создала Татьяну в только что тогда написанных «Лирических сценах» из Евгения Онегина, в 1878 году Чайковским, по просьбе Николая Григорьевича Рубинштейна. На выпускном экзамене в Консерватории она пела «Фиделию». Была долгие годы любимицей Московской оперной публики. Была лучшей Татьяной, лучшей Тамарой. Вышла она замуж за С. А. Муромцева, знаменитого политического деятеля первой Думы.

настоящая Москва, трогательная, полная поэзии, прошлого. Сколько тепла!

У Василия Дмитриевича и Наташи, такой милой, сердечной, культурной — было несколько детей. Сначала два мальчика, затем две девочки. Больше — не могу вспомнить. Бывали мы у них с мамочкой очень редко, заезжали лишь днем не надолго. В Москве все как-то жили особняком, в семье, у каждого была своя яркая, внутренняя жизнь и видеться всем было прямо некогда.

Помню, как потеряли Поленовы своего первенца — Федю. Казалось, что Василий Дмитриевич этого горя не переживет. Вспоминаю сейчас, что как раз в то лето они жили в Жуковке, в красивом, небольшом имении Набоковых, на высоком берегу Клязьмы, близ села Большева, в нескольких верстах от Куракина.

Василий Дмитриевич, помню, целыми днями там работал на столярном станке, по совету врача, чтобы механическое занятие могло его отвлечь и дать возможность, хоть временно, забывать свое неутешное горе.

Это были последние встречи мои с Поленовыми. Я была уже замужем, Саша-сын был тогда маленький. Саша-муж только что принял профессорство в Консерватории, по просьбе Сергея Ивановича Танеева, только что принявшем на себя директорство. У меня родились ребенок за ребенком, у Наташи тоже. Мы случайно, но радостно встречались в доме дяди Саввы Ивановича Мамонтова. Хорошо помню симпатичную и высоко культурную сестру Поленова, Елену Дмитриевну. Была она талантливым художником, сделала и поэтичные иллюстрации русских сказок, была верным другом Наташи.

В. В. В е р е щ а г и н

Моя галерея портретов художников Толмачевского периода была бы неполной, если бы я не рассказала моего впечатления от гениального явления в лице Василия Васильевича Верещагина, как впоследствии я говорила о близком человеке семьи Зилоти — Вере Федоровне Комиссаржевской. Она была, как личность, бесконечно талантливее своего, всеми признанного таланта. Не умаляя, а возвышая ее способности до универсальности, также хочется сказать и о В. В. Верещагине, что он был, как личность, неизмеримо гениальнее своего всеми признанного гения.

Чтобы охарактеризовать Верещагина, — сделаю отступление.

В мои зрелые годы кто-то просил меня сравнить и охарактеризовать два явления, два проявления гения: Листа и Рубинштейна. Не любя сравнивать вообще, я тогда постаралась выяснить себе, как всего короче, ярче и вернее можно обрисовать характер гения каждого из них: Рубинштейн был лев, царь; Лист был, и лев на земле, и орел в небесах, и змий в преисподней и в вечности, как символ мудрости. Рубинштейн — одноликий; Лист — многоликий. В Рубинштейне жил Бог; в Листе — и Бог, и Мефистофель. В Листе был — религиозный дуализм; в Шумане — ему самому осязаемый — дуализм романтический; в нем жили и Эвзебиус, и Флорентан. Всего ближе было бы сказать, что в Верещагине поразительно объединились орел и ягненок.

Появление Верещагина захватывало дух. Его орлиный взгляд неумолимо притягивал к себе. И поражало, что в то время, как его титанически мощная рука сжимала вашу детскую руку, слышалось его тихое, почти детски-ласковое: «Здравствуйте».

Громадного роста, красиво сложенный, с движениями пантеры, с небольшой головой, светлым лбом, пронизательными глазами, орлиным носом, каштановыми волосами и удлинённой бородой — в большинстве случаев в спортивной тужурке — появлялся он прямо из галереи, через смежную дверь — в нашу столовую; один, а, как то, помню и со своей женой, маленькой, беленькой, некрасивой немкой, с умными глазами. Когда Василий Васильевич знакомил ее с нами-детьми, он сказал: «Das ist meine kleine Frau»¹, поднял ее на руки, пробежал вокруг стола и посадил ее на стул. По тому, как неудивленно смеялись наши родители на эту веселую шутку, — ясно было, что они хорошо были знакомы с супругами Верещагиными.

Жили они в те времена в Мюнхене, где с ними и видались, не раз проездом из Италии, наши родители. Приезжал Верещагин в Россию редко, по делам устройства своих выставок.

О судьбе его Хивинской коллекции картин я уже рассказывала по поводу размолвки между нашим отцом и Дмитрием Петровичем Боткиным. Из-за судьбы этой коллекции, сначала подаренной отцом обществу любителей художеств, председателем которого был Д. П. Боткин, затем, за ненахождением обществом места для коллекции, — повешенной в галерее нашего отца.

В те ранние годы мы — дети Василия Васильевича еще не встречали.

Помню его позже, особенно во время выставки его коллекции Балканской войны, с изображениями

¹ Это моя маленькая жена.

императора Александра 2-го, следящего за битвой с высокого холма; Скобелева — скачущего на своем белом коне перед нашими войсками; и всех ужасов, бесконечных, безграничных ужасов войны. На черном фоне, при электрическом освещении — эти картины, живые как жизнь — поражали, трогали, ужасали, сражали; помню как изуродованный часовой глядел на вас с немой мукой, а за картинами где-то неслись звуки фисгармонии, певучие, тихие, жалобные... сейчас слышу, как раздирали душу звуки песни без слов Мендельсона; не было почти никого из публики, кто бы не вытирал слез, а я рыдала спрятавшись в темный угол комнаты. Верещагин любил музыку и знал ее силу; знал и силу благородной пропаганды, пропаганды гуманистических чувств. Помню как-то наш отец сказал в дни этой выставки: «Верещагин — гениальный штучарь, но — и гениальный человек, переживший ужас человеческой бойни».

Почти весь Верещагин целиком висит в Третьяковской галлерее. Сначала «Хивинская экспедиция», за ней все этюды Индии и последней — «Балканская война». Если первая интересуется прежде всего своей архитектурностью, вторая прельщает красотой красок, словно камней самоцветных, третья подавляет тоской за все человеческие ужасы, но и возвышает своим героическим духом. Несмотря на всю чарующую прелесть его *erscheinung*, его «явления» — нельзя было ни минуты забывать геройского, трагического уклона во всей его манере говорить и двигаться. Да и жизнь его завершилась среди трагедии «Петропавловска» вместе с адмиралом Макаровым, на Дальнем Востоке. Эта гибель, помню, потрясла всю Россию.

Переношусь в иную атмосферу в воспоминаниях о двух сравнительно молодых художниках, одесситах, приезжавших с начала 80-х годов на север, по вёснам, во время Передвижных выставок, сначала в Петер-

бург, затем в Москву. Это были два приятеля-антипода, и по наружности, и по характеру, и по уму, и по таланту — Николай Дмитриевич Кузнецов и Николай Корнилиевич Бодаревский.

Гостя в Москве всю весну они заходили к нам чуть ли не ежедневно, в продолжение целого ряда лет; часто у нас обедали и были, попросту говоря, нашими кавалерами; ухаживали за нами. Наша милая тетя-Манечка над ними подсмеивалась, подшучивала и прозвала их: «капорцы и оливки», также «халва и рахат лукум». Они были неразлучны. Кузнецову нравилась Саша, Бодаревскому — я.

В Дворянском собрании во время концертов, с «депутатского» подъезда ждал нас всегда слуга наш Андрей Маркович (Андрея Осиповича Мударогиленко уже не было в живых); с громадным белым узлом, в котором завязывались наши «ротонды», суконные светло-серые ботинки и белые пуховые платочки, на случай мороза. Наши художники выхватывали наши вещи из рук Андрея Марковича и старались завязать на наших шеях теплые платочки, и накинуть на нас шубы, и главное надеть на нас и застегнуть ботинки. Всё это проделывалось с шумом и южным темпераментом и натиском, которые смешили и нас, и мамочку.

Помню премьеру оперы «Мазепа» Чайковского, которую мы уже изучили и не могли дождаться услышать (а слышали не без частичного разочарования). Обычно, в «Большой» театр брался нам бенуар, на левой стороне, дальний от сцены, № 8. Наши художники все антракты простояли в партере около нашей ложи. Разумеется, пошли сплетни по Белокаменной, что это наши женихи. Нас это изводило. Николай Владимирович Коншин, наш кузен, о котором я уже много рассказывала, приходя из конторы к нам наверх завтракать, дразнил нас, что художники вот-вот сделают нам предложение и неминуемо получат «ар-

буз», т. е. отказ, по московскому выражению; и заранее представлял их лица и неистово смеялся. Он любил сплетни превыше всего.

Как-то наш отец пришел к завтраку и сердито сказал: «Говорят, что Кузнецов собирается сделать Саше предложение. Как же он может жениться, когда, как я слышал, он имеет семью и детей».

После отъезда Кузнецова в имение своей матери, с которой он всегда жил вместе с братом своим Дмитрием Дмитриевичем, мы услышали, что Николай Дмитриевич действительно женился на ключнице в их имении. Следующей весной Николай Дмитриевич сам нам рассказывал, как мать его позвала к себе и выразила желание, чтоб он женился на матери своих двух очаровательных ребятшек, тем более, что она достойная, добрая и умная. Николая Дмитриевича мать благословила, повенчала честь-честью и отправила молодую за границу, научиться манерам и языкам.

Мать была либеральная, интеллигентная, всю жизнь всем интересовалась. Ездил на открытие Суэцкого канала; вообще держала знамя семьи высоко.

Николай Дмитриевич был похож на свою тонкую гречанку-мать, но был по типу грубее. Был высокий, плотный, с черными миндалевидными, елейными, но хитрыми глазами, со сросшимися над носом густыми бровями, черными усами. Когда приходилось нам танцевать — казался он косолапо-комичным. Как человек, был он очень милый, сердечный; прежде всего, невероятно даровитый и художник большого таланта.

Судя уже по одному портрету Петра Ильича Чайковского, висящему в нашей галлерее, сомневаться в этом невозможно. Для меня этот портрет единственный, в котором, кроме физического сходства, выражен и весь патетизм Чайковского, как самая характерная и стихийная черта его музыки.

Вспоминая о Николае Корнелиевиче Бодаревском через целое полу столетие, перевидав за мою долгую жизнь бесчисленное множество людей разных типов и национальностей, — должна сказать, что не встречала человека «объективно» более красивого по чистоте линий и тонкости «раскраски» его «скульптурного» облика. Он был высок ростом, движения его были пластичны. Борода и волнистые волосы, зачесанные назад, были русые с золотистым оттенком, черты лица правильны, нос, в профиль, чуть-чуть срезанный вверх, не был лишен оригинальности; глаза светло-карие тоже золотистого оттенка, были своеобразного разреза, цвет лица светло-терракотово-золотистый. Всё было в гармонии. Не было, ни слащавости, ни банальности. Легко было его себе представить рыцарем, в латах, из какой-нибудь средневековой легенды. Чувствовалось в нем глубокое сознание неотразимости своей красоты. Он брал ее, как неотъемлемое и само собой понятное, а потому держал себя скромно. Одевался со вкусом, в гармонии со своей внешностью, всё казалось сросшимся с ним самим. Говорил он медленно и монотонно. Беседовать с ним было мне не о чем. Болтать же и шутить — не рисковала. Когда мы познакомились, мне было всего 15 лет, но мы были обе с Сашей взрослыми девушками. Музыка любили они с Кузнецовым оба, разумеется музыку романтическую. Кузнецов даже мог очень мило сыграть «Aveu» из «Карнавала» Шумана. Как все русские помещики-любители музыки вообще и «романсной» в частности, — обожали Шумана, затем Чайковского и доплыли постепенно до Грига.

Саша болтала с Кузнецовым, а мне занимать Бодаревского легче было, играя ему весь вечер. То, от доски до доски, «Евгения Онегина», то «Руслана», а позже и «Кармен» Бизе и даже его же «Арлезьен».

«Кармен» гремела в Петербурге с осени 1882 года, пела и сводила всех с ума в этой роли Ферни-Джер-

мано. Отец наш, бывши в числе поклонников, и этой оперы, и исполнительницы, «стрелял в Питер» то и дело, чтоб послушать лишний раз. Когда на святках того же года мы попали с родителями в Петербург, Ферни-Джермано уже уехала и мы услышали «Кармен» в первый раз в жизни весной 1885 года, в Париже, с создательницей этой роли — Галли-Мари. Тогда же видели мы первое представление «L'Arlésienne» Бизэ. Были мы обе с Сашей обворожены и покорены гением Бизэ. Обе эти пьесы были сейчас же куплены и не сходили с нашего фортепиано. Без конца разносились эти звуки по Толмачевскому дому, на радость наших столовых горничных, а также и молодых конторщиков, работавших иногда поздно внизу, как раз под нашей залой.

Какой-то весной заехали мы с мамочкой в общую мастерскую наших приятелей, многократно нас приглашавших посмотреть их картины.

Картины Кузнецова показались нам менее интересными, чем портреты его работы. Картины Бодаревского были всегда лиричны, но мало яркие. Более других нравились мне барышни в украинских костюмах на высоком берегу Днепра, смотрящие вдаль.

Бодаревский часто упрасивал меня позировать ему для портрета, но я отговаривалась за недостатком свободного времени. До самой моей свадьбы мы всё время брали уроки у лучших профессоров литературы и истории и много времени посвящали музыке.

В один прекрасный день, в половине лета 1886 года, вдруг приезжает в Куракино — Бодаревский, элегантнее, чем когда-либо, с чудесным, громадным, серой гладкой шерсти, псом, с фотографическим аппаратом, складным мольбертом и ящиком красок. С плохо скрываемым, победоносным видом, как будто его приезд само собою понятен. Я знала, что никто

его не приглашал. У меня прямо сердце упало: зачем? к чему? Ясно, чтобы написать мой портрет. Так не хотелось ни портрета, ни терять летний досуг, посвящаемый нами на чтение и изучение еще неизвестной нам музыки, старой и новейшей. Родители были вежливы, но ясно было мне, что и им этот «никчемный» приезд был некстати, а отказаться позировать такому многолетнему знакомому — мне казалось для него обидным. Со следующего утра начались ежедневные сеансы, под громадными березами, под горкой, в платье и шляпе. Снимал фотографий без конца и грустил, что нигде не выходила моя улыбка. Еще бы! Портрет подвигался не так, как ему хотелось, особенно тягостно стало, когда начались излияния чувств. «Ведь я никогда не скрывала от вас, что интересуюсь одним молодым русским пианистом в Веймаре». — «А я думал вы вызываете меня на ревность». — «Я не скрывала от вас, что никогда не смогу разделить ваших чувств». — «Но ведь я же должен был вам нравиться...». — «Почему же: должен?». — «Вы были такая моо-лоденькая, а я был такой красивый». Боже мой, Боже мой!

Моя сестра Люба, на три года моложе меня, из-за кустов смотрела на наши сеансы, огорчалась, боясь, что вдруг выйду за него замуж. Потом убежала в свою комнату и редела. Узнав об этом, я сказала, что, если выйду замуж, то только за Зилоти. Она поверила и успокоилась вполне.

К счастью, в те дни приехала к нам гостить милая Александра Николаевна Пуговкина, двоюродная племянница нашего отца.

Я была положительно разбита жалостью к Бодаревскому. Александра Николаевна меня ободряла, но и понимала, что и сержусь и злюсь, безуспешно стараясь утешить и вразумить такого непонятливого человека. Он так и не понял никогда, что можно было

остаться равнодушной к его, правда, замечательной красоте, считая это с моей стороны каким-то просто недоразумением.

Он портрета моего, к счастью, так и не написал, уехал разбитый, молча. Мои милые родители ни слова не спрашивали во все те мучительные для меня дни и ничего не спросили и после его отъезда. Я была так тронута и благодарна им.

В декабре того же года я стала невестой Саши Зилоти, нас благословили и он уехал за границу, до весны. На Святках приехал Бодаревский в Москву, пришел «с визитом», как говорилось в Белокаменной, поздравил и пожелал мне счастья. «Поздравьте и меня, я только что женился». Действительно я его от души поздравила и была тронута его корректностью и добрым отношением.

Г л а в а XXIII

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

В начале 80-х годов мы чаще и чаще слышали от нашего отца о его свиданиях с Львом Николаевичем Толстым; то последний заходил побеседовать с отцом, то отец заезжал к Льву Николаевичу.

Беседы их всегда касались их мнений и взглядов о делании добра, о благотворительности, о терпимости, о непротивлении злу, об искусстве, о религии и о всех вопросах, в то время интересовавших Толстого. Он только что написал свою «Исповедь» и «В чем моя вера». Это было начало расцвета его философских идей. Мы зачитывались его писаниями и с интересом слушали рассказы отца о его разговорах с Толстым; они почти всё время спорили. Как-то отец сказал Толстому: «Вот когда вы, Лев Николаевич, научитесь прощать обиды, то тогда я поверю в искренность вашего учения о непротивлении злу». Рассказывая это, отец ехидно-добродушно улыбался.

В то время Толстые решили, как мы вскоре узнали, жить по зимам в Москве, для образования своих многочисленных детей, и купили себе дом-особняк в Хамовниках. Старший сын их, Сергей, поступил в университет, а старшая дочь Татьяна, поступила в Училище живописи и ваяния на Мясницкой. Татьяна была в классе Иллариона Михайловича Прянишникова, вместе с Николашей Третьяковым, моим двоюродным братом.

Прянишников был талантливым художником-«жан-

ристом». Делал он всю жизнь успехи в технике живописи, чего нельзя было не заметить при хронологическом изучении его картин, висящих в Третьяковской галлерее. Думаю, что он должен был быть поэтому хорошим преподавателем живописного искусства.

Бывал он у нас редко. Был оригиналом в употреблении слов, так, по рассказам Николаши, когда в классе Прянишникову что-нибудь не нравилось в этюде ученика, он говаривал: «Это разве написано; это набуровкано».

Татьяна была в приятельских отношениях с Николашей, который ее как-то и привел к нам. Ей хотелось сделать копии с некоторых картин в галлерее. Отец наш ей это разрешил, как ученице Училища.

Таня приходила к нам к 10-ти часам утра, у нас завтракала и работала до трех часов, потом пила с нами чай. Ей было 17 лет, а мне 15; мы скоро подружились. Была она простая, сердечная, веселая, оригинальная и, в своем роде, очень интересная, напоминая, и отца своего, и свою мать.

Переехав в Москву, Софья Андреевна сделала визит мамочке, которая вскоре ей его отдала. Софья Андреевна начала приезжать к нам изредка днем к чаю. Была она высокая, привлекательная, женственная, ласковая, веселая, разговорчивая, умная. Ей было тогда лет 38. Она очаровала меня совершенно и я до сих пор не могу вспоминать о ней без нежности. Она как-то сказала мне: «Ох, как сложно быть женой знаменитого человека. Женой писателя — трудно, а женой философа — еще труднее». Иногда увозила Таню с собой; обычно приходил за Таней ее второй брат, Илья, которому тогда было всего 14 лет¹, изредка и сам Лев Николаевич.

¹ Лет через сорок мы встретились с Ильей Львовичем в Нью-Йорке, где он жил, как и мы, и читал лекции о своем отце. Был

Три вещи поразили меня при встрече с ним тогда у нас: первая, что он был невысокого роста, плотный (что подчеркивали рубашка, высокие сапоги, поддевка и картуз для улицы); вторая — пронизательность взгляда его голубых глаз из-под леса бровей и третья — его широкая, ласковая улыбка, во всё его доброе лицо. Эти глаза и эту улыбку я сразу полюбила и сохранила эту любовь навсегда, несмотря ни на какие рассуждения впоследствии. При чувстве нежности к Софии Андреевне и чувстве поклонения Льву Николаевичу — писателю, у меня не могло быть в сердце моем «суда» над ним. Была и есть лишь бесконечная жалость за все глубокие трения и все страдания, вынесенные, к несчастью, на суд людской.

Отец наш поклонялся Толстому, как романисту и великому писателю. Как «философу» же — гораздо менее и не раз говаривал, что Лев Николаевич — гениален, а умна за него Софья Андреевна. Софью Андреевну он ценил и любил.

Приходя к нам, Лев Николаевич шутил с нами, а иногда полусердито спрашивал, прививают ли нам заразу «бесовского скакания и плясания», водят ли нас в балет и в театр вообще.

Между Таней и Львом Николаевичем ясно было обоюдное обожание. Она, перед уходом, не раз выпускала у нас в столовой свою густую, каштановую косу и, подавая Льву Николаевичу гребень, с лаской капризного ребенка говорила: «Отец, расчеши мне волосы, заплети мне косу, никто не умеет заплести косы так ровно, как ты». Лев Николаевич весело, ласково, умело исполнял Танино желание, закалывал косу в «шиньон» и они отправлялись в путь, — пешком

слишком, неприятно-похож на него физически, чертами лица, — без его остроты и силы. Как человек Илья Львович был очень симпатичен, необыкновенно ласков и прост. В Нью-Йорке и скончался.

домой, так как полотно, ящик с красками и мольберт оставались в галлерее в чуланчике под лестницей.

Кроме Тани Толстой, в ту зиму и в последующие в галлерее копировало несколько учеников Училища живописи и ваяния. Между ними были два брата Левитана, из которых Исаак стал знаменитейшим русским пейзажистом-лириком. Мне никогда в жизни не привелось с ним ни познакомиться, ни встретиться. Левитан, Коровин, Аполлинарий Васнецов были друзьями моей сестры Любы, жившей в Москве более долгое время, когда таланты этих молодых художников уже расцвели.

Вне времени копирования в галлерее мы с Таней почти не видались. Наш отец предпочитал для нас знакомство с девицами нашего круга. Я не помню, чтобы он запрещал, но это чувствовалось и как-то оно выходило само собой.

После моего замужества мне не приходилось более встречаться с Толстыми. Живя снова в Москве (от 1888-го по 1891 год), когда Зилоти занимал место профессора Консерватории по просьбе Сергея Ивановича Танеева, я часто от последнего слышала рассказы о Толстых, у которых он постоянно бывал. В те годы случались у них, наверное, несогласия, но всё же жили они, казалось, дружно.

Как-то Сергей Иванович зашел к нам вечером прямо от Толстых и, со всей своей смешливостью, рассказал о только что случившемся, занятом маленьком приключении. Когда Сергей Иванович пришел в Хамовники, на его звонок вышла Таня, немного смущенная, извиняясь, что мама наелась капусты и, почувствовав себя плохо, легла в постель. Сергей Иванович выразил сожаление и собрался уходить, но Таня просила остаться и, усадив Сергея Ивановича в гостиной, начал что-то рассказывать. Вдруг в дверь влетел один из младших братьев Тани, крича: «Таня, у мама мальчик родился». Таня растерялась, Сергей

Иванович заспешил уходить, но, прощаясь, со свойственным ему милым «ехидством» и, заливаясь смехом, заметил: «Вот так капуста с осложнением!» и оба с Таней расхохотались.

Весной 1889 года я ожидала нашего второго ребенка, пришла как-то мамочка и рассказала, что накануне, в концерте, видела Таню Толстую, которая сидела неподалеку от нее. Со своего места Таня громко и ласково спросила: «Вера Николаевна, а что Вера уже родила или еще нет? Поцелуйте ее». Типичная, непосредственная Таня! Верная себе, неизменно милая и добрая, через четверть века, наперекор всем и всему, привела она свою несчастную мать к одру умирающего отца.

Помню, что в те годы в Москве как-то ездил к Толстым, по приглашению Софьи Андреевны, Петр Ильич, а также и Зилоти. Оба они вынесли тягостное и неприятное впечатление от беседы со Львом Николаевичем. Ужасались абсурдными, по их мнению, мыслями его о музыке и об искусстве вообще. Меня это огорчало и не хотелось этого принять из любви моей ко Льву Николаевичу. Живя и за границей и в России — всё время с трепетным интересом и волнением слушали мы противоречивые толки о жизни Толстого и Толстых, всё осложнявшейся и постепенно переходившей из драмы в настоящую трагедию. «Не могу молчать» потрясло всех: и в России, и во всем культурном мире. Весть об уходе Льва Николаевича разнеслась по всей земле и достигла нас и наших, уже взрослых, детей в Петербурге. Не забуду никогда этого утра! Весь мир волновался и был удовлетворен, как и я, тем, что Лев Николаевич, наконец, исполнил свою волю, но думать не могла я о несчастной Софьи Андреевне!

Г л а в а XXIV

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ

Летом 1882 года, как я уже раз упоминала, была в Москве, на Ходынском поле, Всероссийская выставка, с громадным художественным отделом и Музыкальным павильоном, деревянным, полукруглым, в виде амфитеатра, со стеклянным потолком. Там ежедневно давались различные концерты. По воскресеньям нередко наши родители ездили с нами обеими, Сашей и мной, на выставку и днем бывали мы на симфонических концертах с оркестром И. Р. М. О. (Императорского Русского Музыкального Общества) под управлением разных русских музыкантов. Всего не вспомнить мне сейчас. Самыми яркими остались воспоминания, как Сергей Иванович Танеев играл фантазию с оркестром (собственно 3-ий концерт) Петра Ильича, как молодой Котек, вскоре умерший от чахотки, любимец Петра Ильича, чудесно играл его скрипичный концерт, который нас навеки очаровал. Этот же концерт вскоре исполнил и Адольф Давыдович Бродский, друг Петра Ильича.

Большой нашей симпатией пользовался Арно Гильф, игравший уже в продолжение нескольких лет на первом пульте вторых скрипок. Концертмейстером был Иван Войцехович Гржимали, а первой виолончелью — Фитценгаген: участие в оркестре И. Р. М. О. было обязательным для профессоров Консерватории.

Гильф был занятной наружности, небольшого роста, со странной походкой — на бок. Похож был на львенка, со светлыми кошачьими глазами, золотисто-каштановой шапкой зачесанных назад волос, с сердитым видом, когда был серьезен, но всё лицо его делалось сморщенным и потешным, когда он внезапно разражался диким смехом при шутках товарищей в оркестре, до начала концерта, голова его откидывалась назад, и *rinse-nez* летело с его близоруких глаз.

Разумеется, нам хотелось с ним познакомиться, что и случилось следующей зимой.

Слушали мы хор Агренева-Славянского, псевдорусского стиля. Боярские костюмы хора были банальны, безвкусны. Хотя отец и считал, что Славянский сделал много для распространения народной русской песни — нам этот стиль был не по душе. Мы любили песни в оригинальном виде, в исполнении самих крестьян.

Слушали мы цыган, которые нас обворожили и унесли в новый романтический мир.

В художественном отделе было много картин, много хорошего. Над всем царил Репин.

С этим летом связано у меня воспоминание о Дмитрие Васильевиче Григоровиче.

Как директор Школы поощрения художеств в Петербурге, он много способствовал устройству на выставке отдела прикладного искусства. Жил он всё то лето в Москве и по воскресеньям нередко приезжал к нам в Куракино с «часовым» поездом, прямо к завтраку и оставался до последнего вечернего поезда.

Мы в Куракине ходили в русских старинных сарафанах, так и выезжали, на удовольствие Дмитрия Васильевича его встречать на Тарасовскую платформу. Был он к нам, молодежи, внимателен, ласков и держал себя невероятно живо и молодо. Нельзя было не назвать его красавцем в полном и небанальном смысле слова. Очень высокий, тонкий, чудесно одетый,

по большей части в серое, с седыми пушистыми волосами, седыми баками, с красивыми серыми глазами, быстрыми движениями и невероятным потоком слов... Рассказывал он живо, иногда очень интересно, но нас поражал бесконечный материал сплетен о людях. В каких-то фантастических цифрах он подсчитывал их ежегодные доходы. Наш отец относился к нему страшно мило, ласково и поддразнивал его, а после отъезда Дмитрия Васильевича на поезд не мог не вспоминать и не смеяться снова над тем, сколько нелепого вылетало из уст его, и прибавлял: «Ну и вральман же милейший Дмитрий Васильевич!». У меня осталось от него впечатление добрейшего, светского человека, и никогда, глядя на него, нельзя было поверить, что им были написаны «Гутаперчевый мальчик», «Переселенцы» и «Рыбаки», которые в ранней юности мы любили читать. Портрет его в галлерее отца — изумительно его передает.

Заезжал под осень в Куракино и Я. П. Полонский, с красивой женой и двумя детьми, очень интеллигентными, проездом из деревни Тургенева, где они гостили лето.

Заглядывали к нам и приезжавшие на выставку многие Петербургские художники, помнится: Шишкин, Мясоедов, Ярошенко, П. А. и В. А. Брюлловы.

Лето было очень оживленное и для отца нашего утомительное. Часто после выставки мы обедали в Петровском Парке у Алексеевых, или у Эриксонов и возвращались поздно в Куракино, а на следующее утро отец снова рано уезжал до вечера в Москву.

Г л а в а XXV

КОНЦЕРТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Осенью 1882 года мне минуло шестнадцать лет, нам взяли абонемент на концерты Музыкального Общества. Родители наши, как действительные члены, имели два кресла в первых рядах, а мы с Сашей и тетей-Манечкой сидели на хорах. Эти концерты давались попрежнему в зале Дворянского собрания.

После смерти Николая Григорьевича, с осени 1881 года, дирижировал этими концертами Антон Григорьевич и затем Николай Альбертович Губерт, профессор свободного сочинения в Московской Консерватории и друг Петра Ильича. К весне был приглашен на несколько концертов, на пробу, Макс Эрдмансдёрфер, из Занзерсгаузена, женатый на ученице Листа Паулине Фихтнер.

Почему выбор остановился на немецком дирижере — не пойму и сейчас. Неужели не было либо одного, либо нескольких русских дирижеров, которые могли бы чередоваться? Эрдмансдёрфер приглашался дирекцией И. Р. М. О. из года в год в продолжение семи лет.

Как вспоминаю сейчас, Эрдмансдёрфер был «хлесткий» дирижер, с большим виртуозным опытом. Его исполнение нередко страдало дешевыми эффектами, в стиле придворного оркестра какой-нибудь германской Resident-Stadt. Эрдмансдёрфер и выходил первое

время на эстраду с шапо-клаком и белыми перчатками в руке, так неподходяще к нашей Белокаменной.

У супругов Эрдмансдёрфер были рекомендательные письма к мамочке и к тете Зине Якунчиковой, у которых и начали бывать. Также приглашались к директорам И. Р. М. О.: Сергею Михайловичу Третьякову и Николаю Александровичу Алексееву. У них мы довольно часто вместе обедали.

Эрдмансдёрферу было тогда 32 года, а его жене лет 35. Жена его была красива, умна, «как чорт», и элегантна, как истая венка. Жили они в меблированных комнатах у Никитских ворот. Приехав к ним в первый раз с визитом, мы сразу заметили сидящего у окна Арно Гильфа, который, оказалось, жил в тех же меблированных комнатах. Вблизи и еще более при разговоре он нам страшно понравился. Мы как-то сразу подружились. Когда супруги Эрдмансдёрфер у нас обедали, приглашала мамочка и Гильфа. Он говорил с лейпцигским, т. е. саксонским диалектом. Мы с Сашей говорили по-немецки свободно, но с остзейским акцентом, над которым подсмеивались наши новые друзья. Мы невольно скоро отучились. Практика для нас в этом языке была громадная.

Гильфу было 24 года. Он был очень умен, интеллигентен, хорошо воспитан, чрезвычайно музыкален и талантлив. Он начал часто приходиться к нам по воскресеньям днем, со скрипкой и мы с ним часами играли сонаты Бетховена и особенно охотно сонаты Моцарта, а то засаживал меня за фортепиано одну и всего чаще просил ему играть Шопена. Иногда уходили мы в галерею: картины Гильф очень любил. Случилось как-то, что в три часа, когда публика разошлась, мы начали играть в лошадки, рысью бегали по длинным залам, что, при его кривой походке, было потешно, и веселились мы, как дети. Видались мы и в артистической после концертов. В антракте же он приходил к нам на хоры. Так пролетело два года.

Почему-то в то время потребовали возвращения в Германию всех мужчин призывного возраста и Гильфу пришлось уехать в Лейпциг.

Прощаясь, мы расставались, по его желанию, навсегда; он окружал меня большой нежностью, на которую я не находила такого же ответа в своем сердце. Всю ночь я безутешно плакала. Ведь я теряла друга и почти что учителя по исполнению камерной музыки. Было нестерпимо грустно.

Возвратившись в Москву, он к нам не зашел. Весной 1886 года, вспоминается, встретились мы в доме дяди моего Сергея Михайловича Третьякова на музыкальном вечере, на котором играл Л. С. Ауэр и пела М. Н. Климентова. Встретились мы так просто, тепло. Весь вечер сидели вместе, разговаривая о музыке и о Германии, которую я тогда уже знала, по путешествию с родителями осенью 1884 года. Прошедшего или возможности видаться — мы не коснулись.

Еще раз, совсем неожиданно, жизнь нас столкнула лет через двенадцать, в Лейпциге, в доме музыкального писателя и критика Фритча, принимавшего деятельное участие в организации созданного Сашей Зилоти общества List-Verein, и Сашиного личного друга.

Вернусь к Эрдмансдёрферу. За годы его дирижерства мы переслушали много классической и романтической оркестровой музыки, не только первоклассной (которую мы знали по исполнению мамочки и Елены Осиповны Рибя), но и второстепенной, включавшей массу сочинений Раффа, Гольдмарка и других немецких авторов. Французы в то время почти совсем не исполнялись, а русские композиторы лишь изредка. Самым ценным для меня было знакомство с оркестровыми сочинениями Листа.

Переслушали мы за те годы массу хороших и

многих знаменитых артистов. Почти все концерты для фортепиано, скрипки или виолончели слышали мы в первый раз.

Эрдмансдёрфер становился благороднее и проще под влиянием серьезных требований русской публики. Приезжал на зиму в Москву, уезжая на лето в Баварию. Постепенно стали они бывать у нас реже. Отчасти оттого, что у них завелся большой круг знакомств, а отчасти, главным образом, от того, что нашему отцу, года через два, надоели слишком частые обеды с разговорами на иностранных языках, которые он понимал, но на которых не говорил (мамочка говорила прекрасно по-немецки и по-французски). Эти смешанные разговоры были отцу утомительны и неинтересны; он, помню, улыбаясь, как-то выразил это, напевая полу-говорком из оперетки «Прекрасная Елена». «Много цветов, слишком много цветов». Отношения оставались дружественные.

Русские музыканты, верные памяти Николая Григорьевича, ненавидели Эрдмансдёрфера, «немца», и мечтали видеть палочку Николая Григорьевича в руке русского дирижера. Было немало недовольства и интриг. Н. А. Алексеев жаловался: «Я думал, что нет ничего хуже на свете гувернанток и кучеров, а теперь вижу, что артисты куда хуже».

Сам Эрдмансдёрфер был человек способный, но плохой дипломат; за него была дипломатична и ловка Полина Францовна, как звала наша дирекция его жену. Через нее С. М. Третьяков и Н. А. Алексеев вели свою политику в И. Р. М. О.

Когда С. И. Танеев, по собственному желанию, передал свой директорский «жезл» в руки профессора Консерватории В. И. Сафонова — естественным образом и дирижерский «жезл» перешел в его руки. Казалось, наступила тишина и спокойствие. В действительности же — лишь на самое короткое время. Са-

фонов был диктатором современного типа. Умел с невероятной ловкостью выводить из терпения опасных ему людей: так ушел Чайковский, ушел Брандуков, ушел Зилоти. Танеев боролся не на жизнь, а на смерть, посадив себе сам беду на голову.

С царством Сафонова прекратилась наша связь с Музыкальным Обществом.

В январе 1892 года покинули мы с Сашей Зилоти нашу Белокаменную и, кажется, — навеки.

Г л а в а XXVI

З И Л О Т И

В начале апреля 1883 года мы с сестрой Сашей и мамочкой отдавали супругам Эрдмансдёрфер прощальный визит перед отъездом их в Германию. У них было с дюжину гостей. Раздался звонок. В открытую дверь гостиной видно было, как в переднюю вошел долговязый молодой человек. Скинув шубу, он старался снять с шеи белый, длинный шарф. Вошел в гостиную быстро, болтая руками вдоль своей длинной фигуры. У него было бледное лицо с зеленоватым оттенком, небольшие карие глаза, большой нос и необыкновенно красивый рот. Сестра Саша шепнула мне: «Да ведь это тот самый шпинат, которого мы видели на хорах в концерте». Это был Зилоти.

Мамочка и мы обе разговорились с ним. Оказалось, что он на днях уезжает с супругами Эрдмансдёрфер в Германию к Листу. Мамочка спросила его, знает ли он немецкий язык: «В детстве я говорил, а сейчас я даже не смогу спросить себе стакан чая». Говорил он с каким-то особенным сопением. Через полчаса мы простились, выразив ему самые теплые пожелания успеха.

Его образ был олицетворением шарма. Я еще тогда не слыхала его игры, но много слышала о нём, как о любимом ученике Николая Григорьевича, который называл его в классе «сапун-пашой», а Москва называла его «Сашей Зилоти». Я знала, что он окон-

чил курс в Консерватории после смерти Николая Григорьевича, как раз два года назад, когда играл на экзамене «Пляску Смерти».

Через несколько недель приснился он мне, не на земле, а в небе. Он летел на меня и глядел мне прямо в глаза. Проснулась я в большом волнении.

Через несколько времени снова снится он мне, но уже на земле, входящим к нам в дом, но дом фантастический. И мы беседуем, беседуем о чем-то важном: о мыслях, идеях, о музыке. Этот сон произвел на меня громадное впечатление.

Всё лето, в Куракине, снился мне он. Наши беседы становились всё дружественнее. Я начинала его узнавать, как человека.

В октябре вернулись из-за границы Эрдмансдёрферы. Он зашел к нам сейчас же поздороваться и на третьем слове заговорил о Зилоти. О том, что он ничего не делает, играет в карты, ухаживает. Обручился с хорошенькой евреечкой, сестрой одного ученика Листа и дочкой Лейпцигского мехового торговца. Дирекция И. Р. М. О. разозлилась и перестала ему посылать деньги на жительство.

Меня это задело и показалось неточным. Ведь я его уже знала. Правда только во сне, но что-то внутри, глубоко в душе сказало мне: «Ну пусть Фанни хорошенькая — всё равно он будет твой».

При первой встрече госпожа Эрдмансдёрфер сказала мне, что я произвела впечатление на Зилоти: «Die kleine Fräulein Tretiakoff». — «Die kleinere ist die Älteste, die grössere ist die Jüngste». — «Die kleinere von Wuchs». Мне не поверилось, но зачем ему было это ей говорить? А она никогда мне не лгала.

Прошла зимняя пора. Шестого марта 1884 г. был объявлен концерт Зилоти, в Дворянском собрании. Мамочка была в этот вечер занята и поехала с нами милая наша тетя Манечка.

Зилоти очаровал меня своей игрой. Соната Листа «Après une lecture de Dante» меня поразила и сразила, а «Пештский Карнавал» поднял на дыбы всю залу и меня вместе с ней. Слушала я и слышала в душе снова: «Пусть Фанни, не знаю как, но всё равно он будет моим».

В то время ухаживал за мной молодой князь Кудашев, я заставила его аплодировать во всю мочь, так как сама стеснялась, от слишком большого волнения, которое, по возможности, хотела скрыть. Милая тетя Манечка аплодировала и кричала «браво», что делала, когда приходила в энтузиазм. Меня это так радовало. Тетя Манечка была моим истинным другом.

В апреле дядя мой Сергей Михайлович, как член дирекции Музыкального Общества, устроил для Зилоти большой вечер. Была масса гостей, вся Московская аристократия, музыканты, художники. Из «купцов» были приглашены Еленой Андреевной лишь мы, как неизбежные родственники.

Помню, как Зилоти играл Данте-Сонату, As-dur балладу, Es-dur, «Consolation» Листа и под конец «Пештский Карнавал», остальное не помню — ни что он играл, ни как. Помню лишь, что было всё для меня божественно хорошо. В антракте гости расположились пить чай в гостиной, а мы остались в зале. С сестрой Сашей беседовал Константин Егорович Маковский, а со мной — Владимир Егорович. Зилоти тихо сидел на диване в аван-зале. «Я подойду к нему» — сказала я вопросительно милому Владимиру Егоровичу. — «Да, разумеется, пойдите, Верочка». Как я только сделала несколько шагов, Зилоти вскочил мне навстречу: «Как я рад вас видеть». Я обалдела, спешу сказать ему, как чудно он играет. От волнения трещу, всё быстрее. «Ну что там, вы лучше расскажите, что вы делали за этот год». — «Разве это интересно?» — «Мне — да». Он был такой же ручной,

как когда мне снился. «Обещайте, что будем ужинать вместе».

На наше счастье не было «Tischordnung» и мы сели за один из круглых столиков; мамочка, а против нее мы обе по бокам Зилоти. О чем-то говорили: «Неправда ли вы так думаете?» вспомнила я из одного из снов. «Как же вы могли сомневаться?» — «Да я вас ведь не знаю». — «Да, правда, вы меня не знаете, но скоро узнаете», — засмеялся он.

Голова закружилась у меня.

Мы собирались осенью ехать с родителями, в первый раз за границу, в Германию. «Когда будете в Лейпциге — отыщите меня, как я рад-то буду. Адрес мой всегда можете узнать у Franz'a Jost'a, 1, Petersteinweg. Я либо в Лейпциге буду, либо у Листа в Веймаре».

Мамочка обещала и пригласила его как-нибудь зайти к нам. Он выбрал один из ближайших дней, в 11 часов утра; посмотреть галерею и завтракать у нас.

В назначенный день в одиннадцатом часу я всё поглядывала в окно, в наши ворота, которые были всегда, целый день открыты. Без пяти одиннадцать на извозчике приехал какой-то молодой человек и, позвонив, оставил записку от Зилоти: «Мои прелестные друзья, Николай Сергеевич Зверев заболел и я должен дать уроки за него. Приду в другой раз непременно, если позволите». Эта пунктуальность была и осталась навсегда особенностью характера Зилоти.

Через несколько дней давался в Большом театре Консерваторский ученический спектакль. Поставили «Волшебную флейту» Моцарта. Как и всегда, в Большом театре нам брали бенуар № 8, последний с левой стороны.

Во время первого акта я чувствую, что кто-то смотрит на меня сверху, справа. Поворачиваю голову и вижу Зилоти в одной из центральных лож 2-го

яруса правой стороны, улыбающегося и кивающего головой. Он окружен незнакомыми мне лицами; пожилым господином, седым и бритым, пожилой дамой и несколькими юными лицами. В антракте слышу стук в дверь аван-ложи. Открываю — Зилоти.

«Как же я этого не знал, что вы будете здесь? А я сижу с Николаем Сергеевичем, Анной Сергеевной и зверятами».

Так называл Зверев своих юных воспитанников. В каждом антракте Зилоти прибегал к нам. Во время исполнения оперы я всё смотрела украдкой направо вверх, ничего не слыхала, лишь смутно вижу сейчас пёструю фигуру Трезвинского в роли Папагена, да еще фигуры трех каких-то черных дам. Одну из них, помню, пела Лачинова, будущий мой друг Лиля Аренская. В последнем антракте мы простились с Зилоти «до осени». Так сказала мамочка. Он неожиданно должен был уехать в Веймар раньше, чем предполагал.

«Бедная моя головушка», — подумала я. «Бедная моя Верушечка», — подумала, наверное, мамочка. Она понимала меня без слов.

Вскоре, в самом начале мая, по нашему обычаю, переехали мы на дачу. Жили всегда тихо всё лето и нередко заживались, в хорошую осень, до самого Покрова. Это было уже наше пятое лето в Куракине.

Да, всю долгую зиму мечтала я о весне, о лете, о тепле. Среди спящей, скованной природы я тосковала от холода, тьмы, галок и ворон в саду и еще больше от жгучего, захватывающего дыхание мороза и блестящего на солнце и хрустящего под ногами снега. Оттаивала душой лишь с оттепелью или с чуть заметным морозцем, когда тихий снежок мягко падал звездочками с неба. Говорила мамочке, что хочется мне, как медведю, забраться в берлогу на всё темное, холодное время и спать. И проснуться лишь, когда солнце начнет греть, когда зажурчат ручьи по ули-

цам, когда наступит день Алексея Божьего человека — «с гор потоки», когда начнется оживание и общее воскресение природы.

И вот каждый год, без обмана, весна приходила, пришла и теперь.

В Куракине, как мы стали взрослыми и свободными, начиналось приволье. Я наслаждалась ощущением себя, как неотъемлемой частички чудесной природы. Всё благоухало и звучало. Первые ночи, бывало, и не спишь, слушаешь с замиранием сердца, как трещат соловьи в кустах акации, или в кустах сирени под нашими высокими окнами, всегда открытыми в тихую погоду. Ландыши под липами и березами, лютики, фиалки, и кувшинчики на маленьком заливе нашей милой речки Клязьмы, текущей в Оку, а с Окой вместе — в Волгу, — кукушки за рекой, перепела на лугах после заката солнца. Позже летом пестрые ковры цветов расстилаются на лугах, гудение мириад пчел на липовом цвету по всем аллеям в парке. А затем золотая осень с синим небом и горящими закатами, прогулками за шоссе, в молодой лес, из которого приносим полные корзины белых грибов-боровиков, подосиновиков, березовиков, маслят, а то и рыжиков и опёнок. Нет ничего дороже, ласковее душе и московскому сердцу — подмосковной скромной, милой природы. Ходишь и хвалишь Бога.

А в это лето я и совсем ног под собой не чувствовала, словно летала поверх дорожек и тропинок, и счастливая, и горестная.

Куракинский день, под крылышком мамочки и тети Манечки, с книжками и фортепиано, не молчавшем во весь день пролетал быстро, слишком быстро. Его хотелось удержать, как мечту. Столько хотелось прочесть, столько хотелось переиграть — и нового, и старого из музыкальной литературы. Тетя Манечка достала у Гутхейла, как и всегда, массу нот, интересовавших меня, достала, разумеется, «Дан-

те-сонату» и «Пештский Карнавал». Эти пьесы были для меня слишком трудными, чтобы их играть прилично. Да и не хотелось их играть, чтобы не признаться слишком явно в своем настроении. Я жадно слушала их, читая глазами ноты, и вспоминала, как их играл Зилоти.

Мои беседы с Зилоти, во сне, продолжались. Помню, как, сидя в один чудесный, жаркий день в уютной нашей комнате и на большом кретоновом диване, мы с сестрой Сашей разговаривали о наших мечтах в данную минуту. «Ну, что бы ты сейчас хотела?», спросила меня Саша. «Слетать в Веймар, — ответила я, — хоть на мгновение».

Как-то во второй половине лета мамочка спросила меня, когда намыливала мне волосы над большим тазом: «А как ты думаешь, что делает теперь ваш новый друг Зилоти? Где-то он сейчас обретается?» — «Либо в Веймаре, либо в Лейпциге, мамочка». — «А ведь мы ему обещали его разыскать, если поедем через Лейпциг?» — «Да, мамочка». — «А тебе было бы очень приятно его видеть?» — «Очень, мамочка».

Г л а в а XXVII

ПОЕЗДКА ЗА ГРАНИЦУ

Пришла и осень, и мы начали сборы в поездку за границу. Это слово волшебно звучало и волновало. Папочка по вечерам на даче любил стричь сухие ветки на сирени или пройтись по парку, потом, обычно, приходил в гостиную с книжкой, садился в совсем особенное кресло, оставшееся при Куракинском доме от прежних владельцев (кресло было низкое, круглое, подлокотники начинались низко, подымались откосо вверх и поддерживали руки, державшие книгу). Любил папочка тогда слушать музыку. Чего-чего я ему не переиграла за 7 лет моей жизни в Куракине.

Мы несколько раз ездили с мамочкой в город к Маргарите Отговне, вдове мамочкиного брата Кирилла, и матери наших маленьких красавиц-кузин Маргоши и Лёли.

Маргарита Отговна имела мастерскую белья и платьев. Наверное наши родители решили, что нам нужно брать с собой. Мамочка имела большой опыт в этом, путешествуя столько раз в жизни с папочкой по Италии и Сицилии. Сшили нам темно-синие костюмы, очень тонкого сукна и блузы французского кашемира красновато-малинового цвета с синими шелковыми галстуками, сшиты были и тальмы темно-синие, почти черные, покрывавшие платья, на случай дождя. Шляпы нам сделали из легкого темно-синего фетра — мужского фасона, с провалом посередине, как сейчас носят все мужчины.

На всех трех, — мамочку и нас двух, полагался всего один небольшой ручной чемодан. У каждой из нас была сумочка в руках и зонтик. Лишь обуви у каждой было по запасной паре и по две смены белья.

Предполагалось путешествовать не более 6-ти-7-ми недель. Решено было этой осенью изучить Германию, а будущей весной — Францию, так как наши родители их недостаточно знали. Наш отъезд был назначен на десятые числа сентября. Я и не ожидала, что так грустно будет расставаться с тетей Манечкой и нашими самыми младшими сестрой и братом, Машей и Ваней, которым было 9 и 5 лет. Они оба красивые и милые, вносили столько радости в жизнь своих старших сестер.

Выехали мы с вечерним поездом с Николаевского вокзала. Утром были в Петербурге. Переехали на извозчиках на Варшавский вокзал, оттуда шел поезд на Вержболово. На другой день в обед приехали в Эйдкунен, где меняли поезд. За вещами пришел Geräcktträger; Schaffner прокричал «einsteigen» и понеслись мы по распланированной, возделанной равнине, расчищенным рощам и лесам.

На третье утро рано приехали мы в Берлин, остановились в «Central Hotel». Лил дождь и специфически пахло на улицах кислыми карамельками. Сколько впоследствии ни бывала я в Берлине, от впечатления дождя и кислых карамелек я отделаться не могла. Берлин остался навеки мне антипатичным.

Сразу установился точный распорядок дня: раннее вставание, после кофе до обеда, который бывал обычно в час дня, — осмотр музеев и достопримечательностей, после обеда отдых в комнате, с 4-х часов до ужина прогулки и катание по городу, часто за город, после ужина ежедневно театр, утром за кофе решали вместе, читая афиши, — на какой спектакль заказать билеты.

В первое же утро пошли в Kaiser Friedrich Museum. Подымаясь по мраморной лестнице, наткнулись на Елизавету Григорьевну Мамонтову, жену дяди Саввы Ивановича и на Наташу Поленову, урожденную Якунчикову.

В музее было много интересного. Из знаменитых музеев это был второй, который мы видели в жизни; первым был два года назад Эрмитаж, поразивший нас своим богатством прекрасных картин, знакомых нам давно по репродукциям. Отец нам каталогов давать избегал, часто сам указывая на самое ценное, по его мнению, независимо от популярности или непопулярности произведения, а скоро стал нас экзаменовать: «Ну а это, скажи, кто?» Мы всё реже ошибались, разбираясь всё лучше в стиле, эпохе и постепенно и в авторах картин, нам незнакомых.

Кроме этого музея, ничто не нравилось в городе. Даже и Тиргартен мало прельстил. Очаровал зоологический сад и аквариум. Город был большим, оживленным, но, в сущности, безвкусным. Что мы оценили полностью — это оперу.

Помню, ездили мы в какую-то загородную санаторию для нервно-больных. Там лечилась наша приятельница Анночка Рибо, младшая дочка нашего учителя, вскоре она совсем помешалась и умерла. В Берлине же в то время жила ее старшая сестра Людмила Осиповна с матерью своей Марией Осиповной. Заходили мы и к ним. Людмила Осиповна была чем-то больна и тоже вскоре скончалась и похоронена рядом с бедной Анночкой.

Из Берлина поехали мы в Дрезден, остановились в Hotel Bellevue, в Германском старом стиле, на берегу Эльбы; вблизи Брюльской террасы, Королевского Дворца и знаменитой картинной галереи, в которой мы прямо пропадали. Несмотря на предубеждение многих в то время — и молчание отца, чтобы на нас не влиять, Сикстинская Мадонна Рафаеля меня пора-

зила выражением глаз, которые то закрывались, то снова открывались, и улыбка, чуть заметная, скользила и снова исчезала. Сколько раз в жизни, попадая в Дрезден я смотрела на нее — это изумительное впечатление сохранялось.

Показывая нам другую знаменитую Мадонну, Гольбейна, отец просил нас ее хорошенько рассмотреть, хитро улыбался, но причины не сказал. Много картин мы пересмотрели, всё ближе знакомясь с итальянцами, голландцами, германцами и начинали в них разбираться.

Слышали мы в Королевской придворной опере в то время известную оперу «Der Trompeter von Seckingen» и «Lohengrin», которого пел знаменитый тенор Винкельман. Слышали мы эту оперу в первый раз, т. к. в Москве ее еще тогда не давали. Разумеется, впечатление от музыки и самой легенды было громадное и чарующее.

Ездили мы кататься на пароходе по Эльбе, чтобы посмотреть Саксонскую Швейцарию. Река была не полноводной, как мы ожидали, а полувысохшей и за недостатком воды, вверх по реке, мы до красот Швейцарии и не доплыли.

Мы были близко от Лейпцига. Папочка хотел осмотреть его завтра днем, чтобы ночевать уже в Веймаре. Как я волновалась и как молила судьбу... Я чувствовала, как волнуется и мамочка. На другое утро, в вагоне, на полпути, она, набравшись храбрости, не глядя на нас, говорит: «Папочка, мы прошлой весной обещали молодому русскому пианисту Зилоти отыскать его, если поедет в Лейпциг. Он об этом очень просил и дал адрес музыкального магазина, в котором мы можем узнать, где он находится, чтобы с ним повидаться». Отец наш насупился и сердито сказал: «Ведь вы же знаете, что я во время путешествия знакомств терпеть не могу!» И все молча ехали дальше.

В Лейпциге шел дождик. Музей пренеинтересный, шлёпали по грязи на ярмарке и по еврейской торговой улице.

Тоска меня съедала. Чувствовала, что мамочка меня жалеет, хотелось плакать.

Приехали к вечеру в Веймар, остановились в Hotel Erbprinz, первой из двух отмеченных звездочкой в гиде. Улица была узенькая, да и весь город казался вечером узеньким и темным.

Ужинали мы в маленькой столовой, направо от передней; налево была видна большая столовая.

Служил нам курносенький, курчавый мальчик, очень смешливый и этим симпатичный. Подали нам *karpfen*, который был полон костей и мало нам понравился. Насытившись супом и компотом, мы вышли побродить по городу, который сразу очаровал нас своей чисто германской, для нас совсем новой атмосферой. Вышли на какую-то площадь, затем свернули в какую-то улицу. По левой стороне, в нижнем этаже кто-то прекрасно играл. Мы постояли — послушали. Тоска моя росла и еще пуще хотелось плакать. Я знала, что немало молодых пианистов живут по летам в этом городке, во время пребывания здесь Листа. Игра только что слышанного нами пианиста, совершенно была не похожа на игру Зилоти, но он где-нибудь здесь мог сейчас тоже играть. Ночью я, разумеется, не спала и проплакала всю ночь напролет. В окне, на фоне неба, при свете фонаря видела я Зилоти, смотрящего на меня, как бывало во сне. Но я знала, что не сплю, так как лежала с открытыми глазами. Среди ночи под окнами раздался шумный говор и смех веселившейся молодежи: «Боже мой, а ведь, может быть, между ними находится Зилоти. Наверное, он еще здесь, ибо Лист так рано на зиму в Рим не уезжает». От бессонной ночи меня лихорадило».

После кофе, в той же маленькой столовой, когда

папочка вышел на минуту и смешливый мальчик нам что-то подавал, мамочка спросила его:

— В Веймаре ли еще маэстро Лист?

— Да, он еще здесь и его ученики часто приходят сюда обедать.

«И зачем это мамочка спрашивает? Не всё ли равно, раз я Зилоти увидеть не смогу».

Пошли смотреть город. На площади стоит знаменитый театр, а перед ним — памятник Гёте и Шиллеру вместе. Зашли в дом Шиллера, в дом Гёте, в музей. Осмотрели дворец, где в чудесном зале, при герцогине Марии Павловне, Гёте и Шиллер читали свои великие произведения.

Возвратились мы в отель как раз к обеду. В столовой был накрыт большой стол с массой приборов. По внешним сторонам стола, параллельно двум стенам, стояли стулья против света, а по внутренним — спиной к окнам, перед которыми стоял длинный стол с газетами и журналами. Пройдя через пустую столовую, мы сели рядом в гостиной. Родители — у окна, а мы — девочки, у стены, и в открытую дверь видели, как начали с шумом входить молодые люди, то по одиночке, а то группами. Все они бросались к столу с газетами. Кто их брал в руки, а кто над ними нагибался.

Вдруг Саша толкает меня: «А здесь знакомые есть». — «Ах, не всё ли равно, мне неинтересно», — ответила я усталым голосом. — «Нет, интересно», — прибавила Саша, хитро улыбаясь. Начинаю всматриваться в профиль фигуры, наклонившейся над газетой, вглядываюсь пристальнее. Еще мгновение, — и я направляюсь к этой фигуре, которая выправляется, оборачивается и мы встречаемся изумленными глазами: «Зачем вы здесь? Нет, зачем вы здесь? — воскликнул Зилоти. — Как же я этого даже во сне не видал?» Быстро жмет руки нам обеим, затем и подошедшим родителям. — «Ну как я рад, что мы здесь

случайно встретились! Откуда вы? Как я счастлив по-видать снова своих русских! Ведь я, пожалуй, скоро по-русски разучусь говорить».

Слышу папочка, с очаровательной улыбкой говорит:

«А мы собирались вас вчера разыскать в Лейпциге, да дождик помешал». — «Не верьте вы ему, — тихо смеюсь я, — в пути он нелюдимый, а сейчас, увидев, что вы не страшный — обрадовался нашей встрече».

Болтая быстро и радостно, Зилоти усадил меня и Сашу через прибор, оставив себе место между нами, а родителей — против нас, спиной к стене. Я сидела по его левую руку. Вся молодежь за столом на нас смотрела с любопытством, кто прямо, а кто украдкой.

«Если бы я знал, что вы здесь были вчера вечером, я бы забежал к вам поздороваться. Ведь нас, несколько товарищей, ужинало рядом в отеле. Мы так засиделись, что нас просто выгнали на улицу. Мы протестовали, но это не помогло». — «Тогда было, наверное, очень поздно и мы уже видели третий сон», — заметил папочка. — «А я не спала и слышала шум и смех на улице». — «Правда?», — спросил Зилоти, — и мы рассмеялись.

Начались распросы и рассказы с обеих сторон. Мамочка тихо сидела. Я чувствовала, что она счастлива за меня. «Meister еще здесь, сегодня в 4 часа как раз у нас, т. е. у него урок, если бы вы согласились, — обратился Зилоти к мамочке, — я сейчас после обеда сбегал бы к старику и попросил бы разрешение вас с ним познакомить. Я так хочу, чтобы вы его видели».

Поблагодарив Зилоти, мамочка просила это устроить. «Ну, а как ваши занятия? Вы довольны? — спросила мамочка, которая до сих пор мало говорила, предоставляя ход жизни, — самой жизни. «Занятия с

Meister'ом прямо не опишешь, нет таких слов, чтоб объяснить, как это велико. Часто Meister становится у крышки рояля, против вас, и счастливы вы, если сумеете прочесть в выражении его лица и по движению рук, что он хочет сказать. Иногда он простирает руки, выпрямляется и летит словно орел».

Шел обед. Подали помню, Erbsten-suppe mit Schweinsahnen, любимый суп Зилоти, как он пояснил, затем шпинат с крутонами и яйцами. Мы с Сашей переглянулись и засмеялись. Что подавали дальше — не помню, чего-то много, всё казалось изумительно вкусным. Еще никогда с тех пор, как я стала взрослой, я не чувствовала себя такой счастливой!

После обеда Зилоти попросил нас его подождать в гостиной, куда он вернется «от старика», а также просил позволения провести день с нами. Скоро он прибежал:

«Meister нас ждет и очень рад *connaître mes compatriotes*. Он к русским очень хорошо относится», — весело прибавил Зилоти.

Мы все вместе пошли на кладбище, где стоит церковь Св. Марии Магдалины, выстроенная герцогиней Марией Павловной, сестрой Александра и Николая Первых. Спустились мы в склеп, где стоят гробницы Гёте и Шиллера, у изголовья Гёте — золотой лавровый венок, у Шиллера — серебряный. Было в склепе сыро и мы с радостью вырвались на солнце, которое в этот день светило особенно ярко. Зилоти шел с накинутым на плечи осенним пальто.

С кладбища прошли мы по улице, на которой выходила *die Gaertnererei*, домик, где жил Лист по левым, по приглашению герцога, на опушке Королевского парка. Затем шли по *Amalienstrasse*. «А вот где я живу». — вдруг сказал Зилоти, и остановил нас у окна в нижнем этаже небольшого домика, по правой стороне улицы. «Если хотите — войдите, я хочу вам показать мою комнату». Вход был через дворик.

Комната была небольшая, светлая, чистая. В углу стояла железная кровать, накрытая белым покрывалом; рояль стоял посреди комнаты, повернутый так, что играющий сидел спиной к окну. Комната была угловая и по этому одному уже уютная. Стоял комод и небольшой письменный стол.

«Вот теперь будете знать, как живет за границей бедный русский пианист», — как-то задумчиво сказал Зилоти, когда мы выходили из его комнаты во дворик. Мне было так трогательно на душе. Мы шли по парку. «Откуда у вас такие прелестные шляпы с канавкой? Я никогда в жизни таких не видал. Я хочу тоже шляпу с канавкой». И мы смеялись, как дети, всему, что друг другу говорили...

«А вот направо и дом, где живет старик». Мы вошли во двор, где толпилась молодежь. Внизу, у входа, встретила нас пожилая, высокая, красиво сложенная женщина: «Pauline, das sind meine Freunde aus Russland», — сказал ей Зилоти и нам ее представил: «Frau Pauline Appel, meine grosse Freundin».

Она подала нам всем руку, а также познакомила нас со своей замужней дочерью. Это была знаменитая кухарка Листа, жившая у него с молодости. Видно было сразу, что она дружески относится к Зилоти. Он сыпал словами, в чисто-немецких выражениях, шутил с ней и она ему шутливо-метко отвечала. И всё более делалось ясно, что она его очень любит и, наверное, балует. «Ведь первое время, когда я ни души не знал в Веймаре, я просиживал вечера у Паулины. Я у нее и немецкому языку научился», сказал Зилоти, когда мы поднимались наверх.

В длинной комнате, с большими окнами на три стороны, с полосатыми драпировками, знакомой теперь всем музыкантам и путешественникам, бывавшим в Веймаре, уже было большое количество молодежи, успевшей туда придти, покуда мы беседовали с Паулиной. Направо, в глубине комнаты, сидел Meister у сто-

ла. Он встал и пошел нам навстречу. Подводя нас к нему, Зилоти произнес: «Meister, darf ich Ihnen meine Russische Freunde vorstellen»¹. Лист поздоровался с родителями, затем с нами. В нем была такая простота и такое величие. Не верилось, что это человеческое существо. Поразили и приковали меня: его пристальный взгляд, полный доброты, слегка приподнятые брови с отражением невероятной грусти и скользящая ирония в его улыбке. Помню, как я растерялась от громадного впечатления. Слезы сжали горло. Я не воображала, что на свете может существовать такой человек.

Лист что-то говорил мамочке по-французски и она ему отвечала, тоже, видно было, ошеломленная и расстроганная. Через несколько минут начался урок. Кто-то начал что-то играть. Зилоти утащил нас с Сашей в небольшую столовую и познакомил со стоящим в углу молодым человеком, с длинными волосами и сложенными на груди руками: «Это мой друг Артур Фридгейм, он играет гораздо лучше меня». — «Ну, Сашка, брось». — «Я говорю правду», — сказал Зилоти, обращаясь к нам, — «Сашка, отстань», — сказал, смеясь, мотая головой, точно защищаясь, Фридгейм.

Мы сразу же его узнали, так как слышали его предыдущей зимой в Музыкальном Обществе в Москве. Играл он концерт Бетховена *C-moll* и концерт Листа *Es-dur*. Игра его была тогда прекрасная, блестящая, но несколько суховатая. Облик у него был артистический и чрезвычайно симпатичный. Он был старше Зилоти на несколько лет и был воспитан в Петербурге в *Annen Schule*.

В один из перерывов между пьесами, Зилоти, по предупреждению мамочки, что мы долго оставаться не будем, чтобы не утомлять Meister'a, провел нас с

¹ Маэстро, могу ли я вам представить моих русских друзей?

ним проститься и его поблагодарить. Зилоти проводил нас до нашей гостиницы и снова убежал к Листу, обещав зайти за нами перед театром, куда хотел непременно пойти с нами. Давали «La Dame Blanche» Boieldieu. Эту оперу мы уже слышали в детстве в Консерватории². Ни его, ни нас эта опера более не интересовала, но хотелось побыть вместе и взглянуть на театр, где столько великого происходило во времена Гёте и Шиллера, да и во времена Листа, когда он еще дирижировал Веймарской оперой.

Мы только что сели в маленькой столовой выпить чего-нибудь, как смешливый мальчик ворвался в дверь, неся три букета: мамочке — из более темных цветов, а нам с Сашей по белому, из тубероз и дикого, осеннего жасмина, в резных картонках.

— Откуда это? — спросила мамочка, хитро улыбаясь.

— Я не могу вам сказать, Зилоти мне запретил.

Мы все расхохотались.

«Ну как это любезно, это такое баловство», — сказала мамочка Зилоти, когда он пришел за нами. «Я ей Богу не виноват», — засмеялся он. Я сидела, как заколдованная.

Мы вместе зашли в какую-то кофейную закусить и отправились в театр. — «Вы не удивитесь, когда мы будем садиться на наши места, если вся публика начнет оборачиваться и смотреть. Ведь город маленький и все жители знают Листа да и всех нас». У нас были места на первом балконе в самом центре. Как мы вошли вместе с Зилоти, — все начали оборачиваться, вставать, смотреть, даже в бинокли. «Ну что я вам говорил! Я знаю свой Веймар! Вам неприятно?», — спросил меня тихо Зилоти. «Ах, нисколько!», — ответила я, — «даже очень занятно». Я сидела на крайнем месте у прохода, рядом со мной налево — Зи-

² Зилоти сам тогда играл в оркестре, как он нам рассказал.

лоти, затем Саша и родители. Оперы как бы и не существовало. Мне помнится, что, как только поднялся занавес, Зилоти, наклонившись ко мне, тихо и быстро начал говорить, со своим характерным сопением. «Да, я хотел вам сказать всё о себе, я бросил жениться³. Вы, наверно, слышали, что я вскоре после моего приезда за границу обручился с Фанни Кан. И случилось это так: один раз, когда я сидел у нее, вошла в комнату ее мать и спросила, не в качестве ли жениха Фанни я у них бываю. Я сказал «да», подумав, что, если я скажу «нет», то меня не будут принимать. Фанни была очень хорошенькая и мне было занятно за ней ухаживать. Когда я написал об этом Звереву, Буслаеву и родителям, мой отец, разумеется, был настолько против, что готов был меня проклясть, если я женюсь на еврейке. Мама моя молчала. Но не в этом дело. Я возил Фанни в Веймар представить Листу. Когда я пришел следующий раз к нему, чтоб узнать его мнение, он сказал, что она действительно хорошенькая, но мне показалось, что он был как-то холоден. Когда же я пришел ему сообщить, ровно через год, что разошелся с Фанни, он не мог скрыть своей радости и крикнул своему лакею: «Мишка, принесите шампанского». Я пил за здоровье старика, который сказал мне, что, если я когда-нибудь вздумаю жениться, то лучше жениться на девушке одного со мной вероисповедания, это первое условие, чтобы друг друга понимать».

«Фанни совсем меня не понимала. Когда я ей один раз долго играл, она тотчас же после этого просила меня подарить ей заводной органчик. Это меня очень обидело. Порвав с Фанни, я возвращался в Веймар и по дороге, переезжая через реку, бросил кольцо из

³ Моя память ручается за подлинность и точность слов и выражений Зилоти, часто неправильных, которые были характерны для его Веймарского периода, когда ему почти никогда не приходилось говорить по-русски.

окна вагона. Кольцо стукнулось о каменную загородку моста, подпрыгнуло несколько раз и упало прямо в воду. Я вам когда-нибудь всё расскажу. Я более не хочу жениться»... — «Для артиста это и лучше, может быть», — сказала я. — «Но зато друзья мы хорошие», — тихо заметил он, глядя прямо в глаза, украдкой пожав мою руку. — «Куда вы едете отсюда?». — «В Айзенах». — «Как бы я хотел поехать с вами, но старик обещал мне сняться со мною, здесь у Louis Held'a, как раз завтра. На днях мое рождение, мне минет 21 год. Ух, какой я старик!».

Мы рассмеялись.

Притащил он конфет. Помню, коробка была квадратная, обклеенная глянцевитой темно-лиловой бумагой. В ней был шоколад и какие-то фиалки из сахара. Угостив родителей, мы втроем, молодежь, ели конфету за конфетой.

«Давайте больше есть конфет, чтобы не было так тяжело расставаться», — приговаривал Зилоти, со вздохом, полу-шутливым, полу-молящим голосом. Затем, словно после промелькнувшей мысли, наклонившись ко мне, едва слышно прибавил: «Бедная моя головушка!».

Он довел нас до дому, там, в маленькой столовой, выпили мы пива и начали прощаться. «Когда вы вернетесь в Москву?», — спросил Зилоти. — «В начале ноября, вероятно», — ответил папочка. — «Я там уже буду. Я должен явиться в комиссию по воинской повинности. Мне на днях минет 21 год. Ух, как я боюсь! Хотя Алексеев (Николай Александрович, голова города Москвы и член дирекции И. Р. М. О.) мне весной обещал помочь, в случае чего освободить, если будет возможно. Так до скорого свидания в Москве. Буду думать о вас, как вы путешествуете, вспомните и вы меня, хоть изредка».

И что-то напевая и закрывая за собой стеклянную дверь, скрылся в полу-темноте.

До утра лежала я, одурманенная туберозами и воспоминаниями чудесной встречи. «Как могло это случиться без Божьей Воли?» — спрашивал меня мой внутренний голос.

А на другое утро, и очень рано, с букетами в руках мы покинули Веймар. Останавливались в Готе, видели музей и дворец, затем остановились в Эрфурте, видели собор. К вечеру приехали в Айзенах — город Баха. Мечтали о Тюрингенских лесах, о Вартбурге, в связи с «Тангейзером».

Действительно, Тюрингенский лес, в золотую осень был полон неотразимой, германской поэзией.

Видели в лесах и Drachen Schlucht, и замок Wilhelmstäte. К вечеру пошел дождь и родители решили посидеть дома, немного отдохнуть, а мамочка собралась нам вымыть волосы.

Я была разбита, сломлена, лежала на постели, под германским балдахином, почти без чувств, вдыхая волшебный запах тубероз и глотая тихо катившиеся слезы.

Мамочка позвала Сашу в свою комнату рядом с нашей и вымыла ей волосы. Когда Саша вернулась и за собой затворила дверь, она сказала мне: «Когда мама мне мылила голову, она спросила меня: «Что это, Зилоти Верушу в лоск уложил?». — «А ты что ответила?» — спросила я Сашу. — «А я ответила: то-есть как?»».

Глава XXVIII

С Н О В А Д О М А

В начале ноября мы вернулись домой. Шесть недель путешествия показались нам целой вечностью, по количеству новых впечатлений. Радость была большая снова увидеть тетю Манечку, наших ребятишек, сестру Машу и брата Ваню, нашу комнату, наши рояли и галерею. Сразу завертелось зимнее колесо с уроками музыки, немецкого языка, также французского и английского, с уроками истории, с концертами, театрами и выездами на скучные, родственные обеды.

Когда мы приехали, Зилоти был уже в Москве и скоро пришел к нам, принес нам показать свою фотографию с Листом и свои собственные, которые мы, разумеется, у него стащили. Я поставила фотографию с Листом в рамке, в центре своего письменного стола. Это несколько лет подряд интриговало моих подруг.

Зилоти рассказал, что уже являлся в комиссию по воинской повинности, но не вышел шириной в груди, чему несказанно радовался, и что должен являться еще два года подряд.

Вообще был он очень высок, тонок. Гнулся, жаловался, что после игры у него болит спина между лопатками и он должен ложиться ненадолго, иногда несколько раз в день. Рассказывал, что в конце зимы поедет играть в Антверпен, куда дал ему рекомендацию Лист.

Эту зиму приходил он довольно часто, когда бывал в Москве между концертами в разных городах России. Обыкновенно приходил в 11 часов утра. Мы уходили втроем с Сашей в галерею до самого завтрака или он нам играл в зале. Играл много Листа, из его оркестровых сочинений, старался нас удивить неизвестными нам вещами, что ему никогда не удавалось, и это его веселило.

Помню, начал он играть «Маргариту» — из Фауст-Симфонии и был изумлен, что мы знали эту чудесную вещь — почти наизусть. Помню, как он, остановившись на том месте, где Маргарита обрывает лепестки: «Любит — не любит — любит...», — вопросительно посмотрел на меня. Я замерла.

Особенно поразило его, что мы хорошо знали «Mephistowalzer».

Как-то он просил меня непременно ему сыграть что-нибудь. Я сыграла две мазурки Шопена, *a-moll*, *oeuvres postumes*; в средней части одной из них он меня остановил: «Кто вам показал это? Один Николай Григорьевич мог бы это сделать». Я ответила, что мне никто не показывал, это само собою логично и понятно.

Играли мы с ним в четыре руки из «Костюмированного Бала» Рубинштейна и веселились. Затем он нам играл из сонаты *b-moll* Шопена. Сыграл и *adagio*. После этого не хотелось ничего слушать, а лишь молча хранить это впечатление...

Среди зимы как-то привел с собой своего брата Владимира Ильича, который был мировым судьей в Старобельске, Харьковской губернии. Он был года на три старше Зилоти, еще выше ростом, тонкий, красивый, с длинным носом и симпатичный. Приходили они вместе несколько раз. После отъезда Володи Саша Зилоти как-то сказал нам: «Ну и погиб же че-

ловек!» — «Отчего?» — испуганно спросили мы. — «По вашей милости», — улыбнувшись обратился он к Саше. И сколько потом лет Володя всё еще погибал...

В январе 1885 года был танцевальный вечер у наших Мамонтовых в Леонтьевском переулке. Чуть ли не в Татьянин ден, в день ангела Тани. Поднявшись по лестнице, мы встретились с входящим Зилоти, во фраке. С ним была его сестра Варя, которую я перед тем незадолго как-то встретила у Наташи. Они были товарками по гимназии.

Не трудно было убедиться, что Зилоти никогда не танцевал, так как в кадрили подавал свою руку, как дома, что было смешно, но как-то очень мило. Легких танцев, как в то время называлось, он танцевать и не пробовал, а сидел с мамочкой и что-то с ней серьезно обсуждал.

Когда мы ехали домой, она сказала нам, чтобы мы съездили к нашему фотографу, Дьяговченко, и снялись в куртушках, как мы называли русские шушуны, которые мы зимой носили в комнатах на плечах. И прибавила: «Раз меня об этом просили». Нетрудно было догадаться, кто просил. Разумеется, мы это исполнили в один из ближайших дней.

В скором времени Зилоти уехал за границу, на целый год. Прощаясь, он сказал: «Приезжайте жить в Веймар». Это он говорил уже не раз. Если б я могла тогда поверить, как серьезно это говорилось, как трудно было бы мне к нему не убежать! Где-то, глубоко притаившись, жила мечта, почти надежда, что придет когда-нибудь, да, когда-нибудь, время, когда Зилоти и я перестанем прятаться и молчать — и сможем сказать друг другу самое важное. «Мы были молоды тогда» — и очень горды!

Когда наши фотографии были готовы, мы по-

слали ему по две разных с каждой из нас. Они были необыкновенно удачны, — похожи по выражению, без прикрас. И написали несколько слов.

В начале апреля поехали мы с родителями во Францию и Бельгию. Так же налегке, как и прошлой осенью.

Г л а в а XXIX

П И С Ь М О О Т З И Л О Т И

Во второй половине мая 1885 года вернулись мы домой из нашего второго путешествия с родителями. Не успели мы осмотреть несколько намеченных городов Бельгии, получили известие, что у Николаши и Александры Густавовны Третьяковых родилась дочка, их третий ребенок. Родилась она слабенькой, и мамочка, обещав быть крестной матерью, спешила окрестить маленькую Олю.

Вскоре после крестин, в Сущевском доме, Третьяковы переехали на дачу, неподалеку от Куракина, в имение Набоковых Жуковку, близ села Болшева, на высоком берегу Клязьмы. Мы, по приезде, тоже тотчас же переехали в Куракино и летнее колесо сразу завертелось: чтение, фортепиано, частые поездки к Николаше и Густавовне, как ее из нежности называли наши родители.

Оля росла трудно, хворала, была нервная, покойная. Александра Густавовна за ней ходила день и ночь, с особенной нежностью. Все трое детей были красивы, с большим шармом, как их родители. Отношения у нас были с ними, по прежнему чудесные, какими и сохранились навсегда.

Каждое лето проходило словно по трафарету: как у соседей, так и у нас праздновались все дни Ангела, дни рождения, дни свадьбы; бывали многолюдные обеды. Это скорее портило наше лето. Мы любили

будни, свободу, и тишину. Любили изредка ездить в город за покупками личных вещей.

В одну из таких поездок, проезжая на извозчике по Канаве, около Кадашевского переулка, удивилась я, увидев идущую по тротуару Варю Зилоти. Я остановила извозчика. Оказалось, что Варя шла из нашей галлерей. «Вы уже на даче? — спросила она. — «Да, а ты когда едешь в деревню?». — «На-днях». «Имеешь ли известия от Саши?». — Это имя было так ново по звуку. Я его выговорила в первый раз. — «Саша редко пишет. Писал как-то маме, что много работает, но чувствует себя не особенно».

Хочешь писать мне? — прощаясь спросила Варя, — «очень хочу», радостно ответила я. Варя сказала мне свой адрес: Козловско-Воронежская ж. д., станция Муравьевка, село Знаменское. А я, во избежание всяких осложнений с родителями, просила ее посылать письма ко мне — Саше Юргенсон, с которой они были в одном классе гимназии и летом переписывались, прося ее пересылать письма моей сестре Любе, которая будет их передавать мне. Очень сложный, но самый верный путь. Я почувствовала при первой встрече с Варей, что могу положиться на нее и что она меня никогда не выдаст, а потому была с ней откровенна с самого первого дня знакомства у Наташи, которая была мне верным другом. Так мы могли говорить втроем. Встреча, такая неожиданная, с Варей была, несомненно, тоже делом рук Божиих. Я была счастлива, что буду, хоть изредка, слышать о Зилоти.

Мы летом, как я уже писала, часто ездили к Вере Мамонтовой. Как-то возвращаясь оттуда поздно вечером вместе с мамочкой, которая изредка ездила навещать своего слепого брата, взяли нашу почту на Тарасовской платформе. При свете фонаря я сразу узнала на одном из конвертов почерк Зилоти. Ловко подсунула это письмо под другие и дома, выйдя из экипажа, спрятала его в карман. Я настолько волнова-

лась, что распечатала его дня через два, при сестре Саше, с которой его вместе и прочли. Штемпель был из Килия. Письмо, как сейчас помню, начиналось так: «Мои прелестные друзья!». Благодарил за фотографии. Описывал, как в самом конце весны, по желанию Листа, должен был спешно выучить «Мефисто Вальс», чтоб сыграть его в одном концерте; работал «как оглашенный, переутомил себе руку: будучи в нервном возбуждении, как-то выбежал на улицу без пальто, прозяб и заболел; «Мефисто» играл в концерте большим, но играл удачно, «старик остался доволен».

Болезнь же руки становилась всё серьезнее и ему посоветовали ехать в Киль к знаменитому хирургу.

Писал, что до безумия мучился мыслью об руке, а что «старик мучился не менее меня самого. По совету хирурга начал купаться в море, но после первого же раза почувствовал себя так плохо, что сказал доктору: «Как вы хотите, а купаться я более не буду». Врач не только согласился, увидав плохой результат, но прямо именным указом запретил мне на всю жизнь купаться в холодном море».

Рассказывал, как товарищи уговаривали его поехать кататься на парусной лодке. Поднялась буря и было так страшно, что он лег на дно, покрыл глаза картузом и только молился. Давал клятву Богу более под парусами не кататься.

В Киле же делали ему операцию в носу: «Выжидали что-то так, что дым шел». Жгли без местного наркоза. Держали его пять человек и была такая боль, что он их всех пятерых «разбросал в разные углы». Писал о своей заветной мечте основать в Веймаре Общество Листа, но из-за запрещения Листа решил это сделать в Лейпциге. «И при моей настойчивости старик в конце-концов уступил и согласился, прибавив: ничего с вами не поделаешь». Письмо заканчивалось словами: «Помолитесь за меня, чтоб моя рука прошла!».

Письмо это, милое и грустное — почти целиком осталось в моей памяти.

При моей любви к мамочке и ее нежном отношении ко мне я не была в состоянии не сказать ей о получении этого письма и не рассказать его содержание. Она была трогательно-мила, интересовалась и радовалась. Но на другой день позвала меня к себе, умоляла дать ей слово, что я переписываться с Зилоти не буду, что его письмо было ответом на наше письмо с фотографиями и с нашей стороны такового не требует. Сразу я почувствовала новую тактику и давление со стороны отца. Но почему? Из-за каких-нибудь сплетен, которыми Москва всегда была богата? Я собралась закусить удила. Сказала, что переписываться пока не собираюсь. Если бы хотела, то сумела бы легко ее обманывать и о письме ни слова не говорить. Тогда мамочка начала меня убеждать, что Зилоти слабого здоровья, что у него, наверное, чахотка, что если я буду ему писать и мы захотим жениться, то едва ли папочка даст согласие в виду плохого здоровья «Александра Ильича» и тогда я доставлю ему такое огорчение, что «уложу его в гроб». Эти слова меня так испугали, что я, по глупости, по молодости, по излишней честности, дала слово мамочке не писать и сдержала мое обещание до конца. Пуще всего испугалась, могущих быть разговоров с отцом. Я почувствовала, к моему огорчению, что его боюсь. Да и говорить о чем? Могло быть отнято и то небольшое, что я имела.

Варе написала о получении письма от Саши (я в письмах к ней привыкла его так называть) рассказала о его болезни, мучительном настроении и умоляла ее написать мне всю правду о его здоровье вообще. Варя тотчас же ответила, что легкие у него в полном порядке, но очень нервен и впечатлителен в чем ничего удивительного нет. «Мама моя просит тебя, чтобы ты о Сашинем здоровье не беспокоилась».

Как я была ей благодарна и как тронута! Самая большая радость для меня стала переписка с Варей; я имела друга не только в ее лице, но и в лице ее матери.

В ноябре приехал Зилоти в Москву, во второй раз являться в воинскую комиссию. Пришел, по обычаю своему поздороваться с нами, сообщив, что в комиссии его снова забраковали из-за недостаточной по росту его, ширине груди. Стал рассказывать с энтузиазмом об основании им Общества Листа, для чего переехал уже летом в Лейпциг. Первым, кому он сообщил о своей мечте, был Артур Фридгейм. Он, как верный листианец, сочувствовал от всей души и помогал всем, чем мог. К ним присоединились издатели музыкальных газет, критики и музыканты. Решили прежде всего исполнить «Фауст-Симфонию». Дирижер лейпцигских театров Никиш (имя которого я услышала тогда впервые), согласился дирижировать.

Рассказал, что незадолго до концерта он и Фридгейм исполнили эту симфонию несколько раз в концертах Общества Листа, в зале старого Гевандхауза, на два фортепиано, для ознакомления широкой публики с нею. После оркестрового исполнения оба побежали к Никишу, бросились ему на шею, целовали его руки; «Ничего подобного мы в жизни не переживали».

Всё это нам было чрезвычайно интересно слышать при нашей любви к этой симфонии.

В этот приезд Зилоти почти всё время провел в Петербурге, где играл в концерте И. Р. М. О., под управлением Бюллова.

Дал несколько своих концертов. Брат его Сергей Ильич и отец старались ввести его в светские и придворные круги, что было ему «весьма скучно и неужно»; но огорчать брата и отца не желал.

Как-то Зилоти и Николай Сергеевич Зверев, с которым мы незадолго до того познакомились, вместе обедали у нас, запросто. Гостей не было. Родители

занимали Зверева, а мы, сидя с Зилоти поодаль, могли беседовать отдельно. Он был совершенно поглощен своей деятельностью в Обществе Листа, радовался, что Лист доволен. Рассказывал о Никише, какой он гениальный дирижер и интересный человек, а также о своей новой дружбе с Халиром. О своем успехе говорить не любил. Брал это, очень возможно, даже при всей своей скромности, как само собою понятное в жизни артиста.

Начал называть меня «ваше превосходительство», чтобы как-нибудь обращаться ко мне. До тех пор мы друг друга никак не называли.

Помню, что в этот день, за обедом, мы друг другу жаловались, что жить легко — лишь легкомысленным людям. Мы оба стали старше, серьезнее и еще упорнее в нашем молчании, не видя выхода. Словно нашла коса на камень.

В эту зиму я начала замечать, что он каждый раз уходил страшно грустный, а когда уезжал за границу, прощанье наше, почти без слов, казалось мне, а может быть и ему, днем тяжелой разлуки.

Глава XXX

М О Я Б О Л Е З Н Ъ

С осени началась у меня нервная болезнь, выразившаяся, в так называемых истерических параличах. То на несколько часов наступала слепота, и я страшно пугалась, то язык мой отказывался выражать мысли. Лежала я часто с чрезвычайно низкой температурой и невероятно медленным пульсом. «Наполеоновским», — дразнил меня врач.

Нашего дорогого доктора Эдуарда Ивановича Юнгера уже не было в живых. Втерся к нам, через дядю Яшу Гартунг, его приятель Альберт Христианович Репман, известный физик и врач. Наверное он был более физик, чем опытный врач, потому что меня совсем измучил. Мое состояние осложнилось кардиальгией. Страдания были ужасны. Репман делал мне уколы морфия. Я просто не понимала опасности, а мамочка в наивном доверии к врачам или просто из деликатности не протестовала. Уколы были настолько против моей натуры, что, не только не утоляли боли, но, наоборот, делали мое состояние лишь еще тяжелее. И настолько мне было невыносимо, что я отказалась от них, угрожая мамочке найти способ покончить с собой. Она перепугалась и уступила мне; я потребовала, чтобы мне нашли врача, которому можно было бы верить.

К мамочке ездил изредка известный гинеколог Оскар Яковлевич Прево. Я его любила и просила мамочку позволения лечиться у него, будучи убеждена, что он знает в терапевтии, во всяком случае более Репмана, который обиделся и перестал к нам ездить.

Вскоре после отъезда Зилоти, как-то за завтраком, уже под конец его, отец начал рассказывать и возмущаться, нашумевшей в Москве историей в одной артистической семье. И не глядя на меня, сказал «Не даром написана пьеса «Гений и беспутство», хуже артистов в семейной жизни никого нет. Если кто-нибудь из девочек вздумает выйти замуж за артиста, так и знайте, что я своего согласия никогда не дам». Слова его звучали, как заученный урок или как приготовленная тирада. Мамочка сидела ни жива, ни мертва. Отец, как бы демонстративно, встал из-за стола и ушел вниз в контору. Коротко — и ясно.

Мы с Сашей тихонько ушли в нашу комнату. Легла я на диван в спальне, меня лихорадило.

Зилоти звал меня в Веймар. Как хочется сейчас же уйти к нему. А уйти не смею, чтобы не лечь тяжестью на его плечи. Зарабатывать в Германии мне нечем. Учительниц музыки там и без меня много. Русский и французский языки им не нужны; да еще теперь, такая больная, куда я гожусь? Я должна, должна его забыть. Ему ведь всего 22 года и весь путь его впереди... К счастью, он не знает, как я люблю его, и меня понемногу забудет.

Я сердилась на отца и горевала.

Явился через некоторое время еще перекрестный «неврастенический» паралич, правой руки и левой ноги, приходя и уходя внезапно, казалось, без всякой физической причины. Болезнь моя начала меня удручать. Играть мне было трудно и я была в тоске. В бессонные ночи лежишь, а дума всё та-же звучит в ушах: должна его забыть, должна забыть.

Во второй половине зимы, т. е. в самом начале января 1886 года, Антон Григорьевич начал давать в Москве и Петербурге, по очереди, свою знаменитую серию «Исторических концертов». Давал их потом в Европе, в музыкальных центрах.

Эти концерты были большим счастьем для меня. Ходила я на них, возвращаясь полная энтузиазма, и больная, получая надежду и утешение, в которых я нуждалась. Исполнение Антона Григорьевича было титаническое, по простоте и величию. Оно осталось со мною навсегда. Мы ходили в эти концерты, попрежнему, вчетвером и всегда заходили в артистическую поблагодарить Антона Григорьевича за то, за что и благодарить нельзя, а можно только благословлять.

Вспоминается мне по поводу этих концертов очаровательное явление в лице Анны Алексеевны (если не ошибаюсь в ее отчестве) Задонской, поклонницы и бывшей ученицы Антона Григорьевича. Она приезжала из Петербурга на его концерты и несколько раз завтракала у нас. Она была до того поэтично-красива, до того мила и непосредственна, что не только нравилась нам и мамочке, но и отец наш ею восхищался. Один раз после завтрака у нас мы все пошли в галерею, отец хотел ей показать, как висит грудной портрет Антона Григорьевича. Был одновременно написан и другой, коленный, с дирижерской палочкой в руке, который был повешен в галлерее гораздо позднее. Задонская, увидев портрет, бросилась перед ним на колени; отец засмеялся: «Вот какая вы экспансивная!». — «Но я же его обожаю! Он святее всех Антониев Падуанских и Печерских». — «И я его обожаю», — ответил отец, почти захлебываясь от смеха. Задонская рассказала нам, как когда-то, во время урока с Антоном Григорьевичем, у нее никак не выходил ноктюрн Шопена. Расстраивалась, что не может понять, как его надо играть. Тогда Антон Григорьевич

взял ее за плечи, подвел к зеркалу и сказал: «Ну да, вы только взгляните на себя в зеркало, взгляните на ваши глаза, и вы поймете, что такое ноктюрн Шопена». Действительно глаза у нее были темно-синие. Столько было поэзии в них, а говорила она так безискусственно, как говорят умные дети, — что невозможно было не подпасть под ее шарм.

Отец мой старался на меня не смотреть, но я замечала, как он украдкой, внимательным, испытующим взором видел, как я таю. Он, собственно, растерялся и не знал, что предпринять, чтоб мне помочь и меня утешить. В этом я не могу сомневаться. Но переломить себя не мог, в сущности чувствовал себя виноватым в моей болезни, а поступок свой, принципиально, разумеется, считал правильным. Знал он мое поклонение Антону Григорьевичу и пришла ему мысль (а может быть через мамочку, не всё ли равно?) подарить мне тот самый рояль Беккера, на котором Антон Григорьевич играл все свои Исторические Концерты. При моем настроении принимать подарки от отца не хотела, но, почувствовав, что это был не подарок, а желание доставить радость мне — любителю-музыканту. Я поблагодарила его и сказала, что меня это очень трогает. Вскоре рояль уже стоял в нашей Толмачевской зале, рядом с «новым» Бехштейном, «старый» Бехштейн, наш любимый, стоял всегда в нашей комнате с Сашей.

Беккер был по механизму легче, чем Бехштейн для моей больной руки. Я могла хоть разбирать понемногу новые пьесы и играть наши любимые оперы. Видно было, как отец начал расцветать. Но разговаривать мы с ним не могли.

Мамочка, бедная, растерялась еще пуще отца. Ведь она, я знала душою, мучилась не менее меня. Она начала умолять меня развлекаться, выезжать. Это обычный обманчивый способ.

Радовалась, когда, бывало, вдруг меня что-нибудь заинтересует.

Приехал из Петербурга молодой композитор Аренский, для исполнения своей симфонии. Его фортепианный концерт играл Павел Августович Пабст. Вскоре после этого или немного позже — Аренский был приглашен профессором по курсу гармонии в Московскую Консерваторию. Я знала, что он ученик Римского-Корсакова. Мне захотелось с ним познакомиться и это устроила госпожа Эрдмансдёрфер, пригласив Аренского и нас. Он играл нам некоторые части своей симфонии, показался удивительно симпатичным и интересным, несмотря на большую некрасивость. «Das ist eine angenehme hässlichkeit», — сказала Полина Францовна, когда Аренский ушел. Почему-то мамочка его к нам не пригласила. Я уже перестала вообще спрашивать: почему? Подолжалось с самого начала зимы посещение театров, Малого и театра Paradies'a. Увлекались мы, вновь приехавшим Поссартом; много раз видели снова «Гамлета»; и раз семь смотрели, в том году поставленного «Манфреда» Байрона с музыкой Шумана. Эта музыка стала нередко раздаваться в Толмачах. Увлекались Людвигом Барнаем, чудесным Гамлетом, Макбетом, Уриэль Акостой и Кин'ом, в особенности, смелая красота и его глубокий, чудный голос, были неотразимы.

Начались в ту зиму приглашения на танцевальные вечера, особенно часто; наши родители просили нас не отказываться; нам сшили по нескольку чудесных вечерних платьев. Бывали в большинстве случаев вечера у неинтересных людей и бывало скучно. Симпатично было на вечере у Новиковых, на Пречистенском бульваре. Они только что переехали из Петербурга и были милыми, интеллигентными людьми. Дочь Ивана Алексеевича, Ольга Ивановна была рослая с петербургскими, хорошими манерами и чрезвычайно симпатичная. На этом вечере очаровала меня, чудно тан-

цовавшая, женственная Маруся Перевозчикова, впоследствии ставшая чудеснейшей актрисой Московского Художественного театра, Лилиной, и женой К. С. Алексеева-Станиславского. Там танцевала я с очень симпатичным Николаем Федоровичем Рахманиновым, который с большим интересом расспрашивал меня о семье Рахманиновых в Знаменке. Познакомились мы предыдущим летом на спектакле в Любимовке у Алексеевых с барышнями Абрикосовыми, Соней и Любой, которые были нашего возраста и очень милые. Соня был нервная, как я, недавно вернулась из Парижа от Шарко. Была она очень красивая, русского типа. Мы начали у них изредка бывать, днем и на вечерах.

Но самое интересное и невероятно приятное знакомство было с семьей Петра Петровича Боткина. В старинном помещицьем доме, окруженном садом, Маросейке, жили еще родители многочисленной, знаменитой семьи Боткиных, в которой были и врачи, и художники, и писатели, и коллекционеры, а одна из дочерей была женой поэта Фета. Отец этой семьи, Петр Канонович, был основателем их чайной фирмы. В мое время главой фирмы и семьи Боткиных был Петр Петрович. Его жена Надежда Кондратьевна, урожденная Шапошникова, была всю жизнь больная, постоянно лежала, умная, милая, казалась мне духовно выше их всех и очень несчастной. Три дочери их, Анна Петровна, Надежда Петровна и Вера Петровна были удивительно внимательные и, несмотря на их некрасивость, — с громадным шармом. Вера Петровна¹ была года на три старше меня.

Первый раз мы были в их доме на танцевальном вечере. Была масса молодежи. Это был самый веселый бал в моей жизни.

¹ Вера Петровна немного позже меня, в конце 80-х годов, вышла замуж за Николая Ивановича Гучкова, будущего голову города Москвы.

По воскресеньям с 4-х часов они принимали и мы, чувствуя себя там необыкновенно хорошо, зачастили к ним, иногда оставались и обедать. Бывало много барышен и еще больше молодых людей: Николай Иванович Гучков, Федор и Михаил Владимировичи Боткины, Николай Иванович Боткин — художник, Челноковы, Шапошниковы, Самгены, Кашперовы и много других лиц, которые сейчас ускользают из моей памяти. Всё это ухаживало и веселилось, а хозяйева только и думали, как бы быть приятными своим гостям; окружали всех вместе и каждого отдельно теплотой и лаской. Я в первый раз видела такое широкое, душевное гостеприимство, подобного которому до сих пор, до моей глубокой старости, — не встречала.

Так протекала зима и дело шло к весне. У нас попрежнему бывали, как началась передвижная выставка, Кузнецов и Бодаревский. Милейший Корзинкин, которому я больше играть не могла, попрежнему носил мне книжки: Платона, Спенсера и других философов. Попрежнему Дункер писал мне неудачно-иронические письма, оканчивая курс Института Инженеров Путей Сообщения в Петербурге. Ходили художники и старые, серьезные родственники. Всё то же самое! То же самое!

На отца я была настолько раздражена, что хотелось выкинуть что-нибудь безумное, чтоб доказать ему на зло, а отчасти и себе самой, что я не серьезный человек, а «вертопрах», как называл меня, говорят, Илья Семенович Остроухов. И пусть! Нервы всё равно были у меня никуда негодны. Просилась у мамочки уйти в сестры милосердия, но она попросту ответила: «Ну, куда тебе, особенно сейчас, Верушечка». И правда, ну куда я гожусь, хоть бы ненадолго забыться...

На вечерах у Боткиных и у Сапожниковых всё время почти танцевала с Шурой Кашперовым. Я знала его еще со времени вечеров у Юргенсонов. Он был

всего годом старше меня, был еще в кадетском корпусе, производил впечатление лентяя и ловеласа, но что-то серьезное мелькало на его красивом лице. Он идеально танцевал немецкий вальс, чудесно знал языки, был умницей, полон иронии, говорил певучим, глубоким басом, любил, по его словам петь, был музыкантен, как и вся его семья. Отец его был певцом, композитором; они были поволжскими помещиками, соседями писателя Алесандра Николаевича Островского².

У Кашперовых было много детей, некоторые из них бывали у Боткиных. Екатерина Владимировна была актрисой; Николай Владимирович военным — во всяком случае, в то время — высокий, тонкий, с серыми «морскими» глазами, с зачесанными назад волосами, словно какой-то архангел воинственный на византийской иконе. Встречала и Владимира Владимировича — очень милого по виду, небольшого роста. Большая, интересная, культурная семья. Заинтересовал меня Шура своей несообразностью: почти ребенок и в то же время философ. С ним можно было говорить о чем угодно: об искусстве, музыке, театре, литературе, можно было болтать вздор, смело шутить, не боясь быть неверно понятой.

Если б я попросила мамочку пригласить его к нам — я получила бы верный отказ. Я устроилась иначе: когда мамочка уезжала иногда днем надолго, я по телефону вызывала Шуру в нашу галерею. Там мы болтали, а как-то раз, самым нахальным образом, провела его из галереи, через нашу столовую, прямо в залу. Он пел мне, с моим аккомпаниментом, каватину Мефистофеля, во время молитвы Маргариты в церкви, в «Фаусте». Пел музыкально, красивым мягким басом. А я растрогалась, представляя себя Мар-

² Через много лет я познакомилась с Софией Владимировной Кашперовой, которая была в молодости невестой сына Островского; она похоронила его и безутешно оплакивала.

гаритой, а Фаустом — Зилоти. Я знала, что ни тетя Манечка, ни Саша, ни прислуга, обожавшая меня, — не выдадут. Изредка видались, а летом, когда он уехал на Волгу — переписывались. Я его не обманывала. И он, с первого дня, не делал себе иллюзий. Мы оба, не по возрасту, были разочарованы жизнью, понимали, что увлечение наше мимолетное, были совершенно откровенны, чувствовали, что у каждого на сердце что-то тяжелое и не расспрашивали.

Рассказывал, что его мать и сестра бранили его, как он, недоучившийся кадет, смеет ухаживать за барышней такой семьи, как наша. Он им отвечал, что он это понимает, но дружба с такой барышней останется лучшим воспоминанием его юности. Мать всё же просила его, чтобы он не писал мне. После поездки на Волгу он вернулся к семье, которая жила на даче в Мазилове, близ Кунцева. Мы чуть ли не каждое лето ездили туда ненадолго гостить, к тете Наде, дяде Яше и к бабушке. Я попросила у мамочки позволения туда поехать. Она ответила с несвойственной ей определенностью, что ни за что не пустит, т. к. в Мазилове живут Кашперовы: Кашперов еще мальчишка и это мое знакомство «ни к чему». Вышел «скандал в благородном семействе». Я и сама понимала, что это знакомство ни к чему, но я разозлилась, посчитала возмутительным такой «контроль». Меня, в 19 лет, опекать как подростка. Я наговорила с три короба. А в глубине души почувствовала облегчение, что перестану себя презирать. Написала Шуре правду, что, если его мать просила перестать писать, то моя — просто запретила — и баста. Никогда, в будущем, уже не встречала его.

С Варей не переставала переписываться. Она знала обо мне всё и жалела меня. Знала я, что и ее мать меня понимала и тоже жалела. И это было моим утешением.

По ночам я всё время много плакала. Стала, как говорят, «ревой», которой раньше никогда не была, и в душе своих слез очень стыдилась. Где-то я тогда прочла, что Лист часто и подолгу плакал во время своих романтических отношений с графиней д'Агу. Эта мысль о нем меня успокаивала.

Г л а в а XXXI

СМЕРТЬ ЛИСТА. ПОЕЗДКА ЗАГРАНИЦУ

Рука моя за лето понемногу перестала болеть, я могла снова серьезно заниматься игрой на фортепиано и была на седьмом небе. Уроки музыки я еще зимой перестала брать. Иосиф Вячеславович Рибб обиделся, истолковав это влиянием Зилоти и Зверева. Отчасти он был прав, я всегда была ему благодарна за музыкальное образование, данное им мне, но хотелось улучшить чисто-фортепианную технику. Зная, что Зверев был специалистом по этой части, я просила мамочку разрешить мне заниматься с ним, но она, чтобы не обидеть Риббу, наотрез отказала. Он никогда не был мне симпатичен, и я решила уроков с ним не возобновлять, чему помогла моя болезнь. Я прилежно засела сама за работу. Было еще только начало июля и можно было на даче, в тишине, много успеть.

Увлекалась не только Бахом в оригинале, но и листовскими переложениями его органных прелюдий и фуг. Нравилась мне также токката и fuga d-moll в переложении Тайзига. Последние вещи были новостью в нашем доме.

Увлекалась, разучивая фантазию f-moll Шопена, которую не слыхала ни от кого. Играла, как могла, уже несколько лет и была счастлива услышать ее, наконец, от Антона Григорьевича в его Исторических концертах. У мамочки было много нот в ранних изда-

ниях, как Шуберт, Шуман; а Шопен был в первом издании. Всё проигрывалось по множеству раз. У нас с мамочкой выработалось уже давно разделение наших «репертуаров». Всё, что играла она, я не трогала, зная, что этим делаю ей приятное. И учила то, чего она не играла. Например, мамочка играла Шопена скерци *h-moll* и *b-moll*, а я — *cis-moll* и *E-dur*; она играла баллады *G-moll* и *As-dur*, а я — *F-dur* и *f-moll*. Я учила в детстве все сонаты Бетховена подряд для музыкального образования, но не исполняла для гостей ни одной «мамочкиной» сонаты. Когда я стала взрослой девушкой, моими любимыми сонатами, которые я играла были: пасторальная, сонаты *op. 90 e-moll*, *op. 101 A-dur*, *op. 110 As-dur* и особенно соната *op. 109, E-dur*, для меня осталось на всю жизнь одной из любимейших вещей в музыке. Так мы делили пьесы всей фортепианной литературы.

Отец ценил это. Он любил игру обеих нас и понимал индивидуальность каждой.

Не имея в Куракине двух роялей, наш с Сашей «оркестровый» Лист спал, но разносились звуки «*Consolations*» и многих пьес из «*Années de Pèlerinage*». Лирический Лист становился мне всё ближе с каждым годом и скрывать этого мне более было не к чему.

Отношения с родителями улучшились. Отец, очевидно, перестал мучиться с тех пор, как я начала поправляться. Мамочка успокоилась, слыша пьесы Листа, счастливая тем, как я чувствовала, что я осталась верной себе. Я знала, что она боялась за меня, всё время моего раздражения на отца, чтобы я не сделала какогонибудь «*coup de tête*» или «*mariage de raison*». Ей бояться более было нечего. Со своей стороны я знала, что Зилоти я забыть не в силах и мечтала, что, когда он станет на ноги и, если меня не забудет и снова позовет меня к себе, — то я к нему убегу. Так решивши, плакать и сердиться на отца перестала. Мой

двоюродный брат Саша Мамонтов, очень мне преданный, обещал, что в любую минуту, когда я захочу бежать за границу, он мне достанет нужные деньги и устроит мне паспорт, имея где-то «руку». Оставалось терпеливо ждать и молчать.

Отец стал очень нежен, размечтался даже ехать с нами осенью путешествовать.

Приехал он как-то из города, смущенно-нежно поцеловал меня и прошел в спальню переодеться. Я пошла к себе. Выйдя в гостиную, которая лежала между нашими комнатами, он сел в большое кресло и тихо спросил: «Веруша, ты здесь?». «Да, папочка, а что?» — спросила я через открытую дверь, продолжая что-то делать. «Веруша, — услышался снова его голос, — не знаю как тебе сообщить большое горе для тебя» и остановился. Остановилось и мое сердце, и я ждала в ужасе. «Постарайся принять как можно спокойнее: Лист умер, в Байрете». Да, отец был прав, это было для меня большое, неожиданное горе. Само по себе — и вдвойне за Зилоти. Какое одиночество настанет для него!

Прошла в гостиную и нежно-нежно, молча, поцеловала отца. Была растрогана его пониманием и вниманием ко мне. Вышла мамочка, молча села на диван. Когда отец вышел из комнаты, она сказала мне: «Бедный Зилоти». — «Да, мамочка», — тихо ответила я.

Отец принес мне газеты, привезенные из города, и приносил их мне последующие дни; о жизни Листа и о его похоронах на кладбище в Байрете. В газетах писали, что он неоднократно выражал желание быть похороненным там, где его застигнет смерть. Через несколько дней газеты перестали писать и родители об этом тоже более не упоминали.

Одиночество Зилоти и вся незаместимость этой утраты меня сокрушали: еще труднее будет ему те-

перь продвигаться на своем пути. Хотелось написать ему несколько слов сочувствия. Я сознавала, что никого нет на свете, кто бы так понимал его горе и жалел его, как я. Но я боялась что мое письмо будет в своем роде «письмом Татьяны» и не сомневалась, что Зилоти, в час горя, сейчас же всё бросит и приедет за мной, своим другом. Как я могла на это решиться при тогдашних условиях? Зная, как он горд! И решила молчать, а сама горевала и бегала то и дело в комнату к тете Манечке, которая не только понимала меня, но и выражала мне это в ласковых беседах со мной. Я от нее ничего и не скрывала.

Через несколько недель Варя пишет мне, что Саша спрашивает, не собираемся ли мы за границу. А если да, то когда мы думаем быть в Берлине и где остановимся. Если его концерт в Лейпциге совпадет с таким временем — он хотел бы нас пригласить и просить приехать¹.

По непростительной минутной слабости, я написала Варе, что едем за границу в сентябре и в Берлине остановимся, как и в последний раз, в отеле Дю Норд.

А когда, в сентябре, мы подъезжали к Берлину, на меня напал такой страх, что я начала умолять мамочку не останавливаться в Hotel du Nord, а также не спрашивать меня о причине. И мы остановились в другом отеле. Я умоляла мамочку уехать поскорее из Берлина — и в тот же вечер, без единого слова, выехали мы с экспрессом в Аахен. Я бежала... Из Аахена — в Льеж, из Льежа — в Гент. В Генте я начала бояться то пространства, то узких улиц. В Лилле я заболела и умоляла мамочку поскорее свезти меня в Париж по-лечиться.

¹ Теперь я знаю, что предполагаемый концерт осуществился и был дан в память Листа, в котором Никиш дирижировал впервые в Лейпциге «Данте-Симфонию».

В Париже мы остановились в стареньком отеле, но проводили большую часть времени у Овденко. У меня начался сильный кашель — меня показали знаменитому Ратэн. Он нашел легкие в полном порядке, а кашель — на нервной почве. Савва Григорьевич Овденко хорошо знал Шарко, устроил нам сейчас же свидание с ним.

Шарко произвел на меня громадное впечатление. Похож он был на Наполеона. Глядя на него, я поверила во все творимые им чудеса силою внушения, о которых слышала от Сони Абрикосовой и от ее сестры Грани, бывшей товарки сына Шарко, по Сорбонне.

Сначала беседовал доктор с мамочкой, наедине. Потом, осмотрев меня, сказал мне, чтобы я постаралась устроить свою жизнь, как мне хочется и думает, что мои нервы сами собой поправятся. Я ответила ему, что знаю это, но прошу его мне помочь на тот случай, если бы моя жизнь не устроилась по моему желанию. Он дал нам адрес водолечебного заведения доктора Бенибарда. Туда мы с мамочкой должны были ходить два раза в день, пешком, что брало не менее получаса в один конец. Разгоряченной, мне давали ледяные души. Довольно сердитое средство!

Когда всё было налажено, отец уехал в Испанию, куда, оказалось, мы должны были с ним ехать. В Испанию, о которой я с детства мечтала. На Рождестве, при трескучих морозах, нередко плакала, что я в Москве, в холоде, а не в тепле — в Севилье.

Что же поделаешь? Более всех мне было жалко бедную Сашу, что из-за меня она должна была сидеть в Париже вместо интересного путешествия. Она переносила это так сердечно и мило.

Мамочка взяла напрокат пианино. Играть, к счастью, я могла. Особенно нравилось мне учить балладу Шопена, которая навсегда связалась с настроением того времени.

Я уже упоминала в этих записках, что мы встретились у доктора Бенибарда с милой Марией Семеновной Церленди, матерью Маши Пустоваловой; два раза в день видались в этой водолечебнице, вместе часто завтракали около Лувра; иногда заходили друг к другу и очень подружились. Жили в Hotel de Bade Шукины, наши знакомые по Кунцеву, Иван Васильевич, муж Екатерины Петровны, урожденной Боткиной и дочь его Нина, с которой мы постоянно видались. Ходили часто мы в драматические театры, а по воскресеньям — на концертах Колонн много переслушали французской музыки, особенно Берлиоза, которого Колонн дирижировал колоритно и увлекательно.

У Овденко мы обедали очень часто. Савва Григорьевич любил музыку и был сам любителем-скрипачем. Берег свою хорошую скрипку пуше глаза.

Изредка приходил к нам обедать один молодой чилиец, «маленький чилиец», как его называл Овденко. Он был скрипачом, учеником Парижской Консерватории. Мы с ним после обеда иногда играли. Савва Григорьевич был знаком со многими артистами. Знал известного престарелого скрипача, учителя многих знаменитостей, которого все в Париже с величайшим уважением именовали le Père Léonard. Как-то Овденко ему рассказал, что бывает у них русская девица, которая играет сонаты Баха, для скрипки и фортепиано; Леонард заинтересовался, пришел к Овденко запросто обедать, принес с собой скрипку и все шесть сонат Баха. Вечером мы с ним сыграли две сонаты. Леонард восхищался: «Какие русские музыкальные». Я была горда и счастлива, что такая честь выпала на мою долю. Я была первая, от которой я сама слышала эти сонаты, мамочка их играла еще барышней.

Париж, тот прежний Париж, я обожала. Здоровье мое, мне казалось, поправлялось.

В 20-х числах ноября я получила письмо от Вари. Она писала, что приехал в Москву Саша. «Выходя из

вагона сразу накинулся на меня: где Третьяковы? Зачем ты мне наврала, я им писал в Берлин заказным, мне мое письмо вернули». — «Третьяковы в Берлине почти не останавливались, они в Париже; Вера больна и там лечится». Саша начал приставать, чтобы Варя показала ему мои письма. Варя отказалась. Тогда он в отсутствии Вари, перерыл ее комод и прочел мои письма. Когда Варя вернулась домой, он покаялся и просил ее написать мне, что ему необходимо со мной поговорить, чтобы я непременно приехала к 6-му декабря. Он в Симфоническом собрании Музыкального Общества играет между прочим мою любимую сонату Бетховена ор. 109 и хочет, чтобы я ее слышала от него.

Это письмо было от Любы, со вложением Вариного. Принесла мне его мамочка как раз в то время, как я лежала, отдыхала, что делала ежедневно между завтраком и вторым «путешествием» в водолечебницу. Ложилась в то время и мамочка, т. к. уставала от ходьбы. Дверь между нашими комнатами оставалась всегда открытой и мы любили иногда, лежа, перекинуться словечком.

Прочитав и перечитав письмо, и немного придя в себя, я сказала мамочке, что хочу быть в Москве к 6-му декабря. «Имеет ли это что-нибудь общее со днем именин Николаши Третьякова?» — спросила мамочка с большим волнением в голосе. Я сообразила, что ее могло испугать мое решение *faire un mariage de dépis*, т. е. в конце концов, дать согласие Константину Густавовичу Дункер, брату Александры Густавовны. «Нет, мамочка, — весело сказала я, — 6-го декабря, в субботу, концерт Музыкального Общества. Играет Зилоти, и я непременно хочу его слышать». — «Сегодня же я пошлю телеграмму папочке в Гибралтар, что ты поправилась и готова ехать 1-го или 2-го декабря в Москву», — сразу согласилась ма-

мочка. Я вскочила с постели, побежала к мамочке и молча начала душить ее поцелуями.

На другое утро получили ответную телеграмму от отца, что выезжает и просит задержать спальные места.

Отец вернулся в хорошем настроении. Поздоровавшись, весело сказал: «Ну и загостились же мы этот раз за границей, пора и восвояси».

Всю дорогу рассказывал о чудесах Испании.

5-го декабря, рано утром, мы были уже в Толмачах.

Глава XXXII

СОГЛАСИЕ ОТЦА

Путь и все волнения меня настолько утомили, что мамочка уложила меня на сутки в постель, а сама то и дело навевалась. Она, как никто, умела своим появлением и милым лучистым взором сразу согреть. Да и тетя Манечка забегала ко мне каждую свободную минуту между хлопотами с нашим большим хозяйством; клала мне под подушку то грушу, то апельсин, то мандарин, и расспрашивала меня про моего «сердечного дружка». Разумеется, я тотчас же ей всё рассказывала.

6-го декабря, в субботу вечером, приехав в Дворянское собрание, как всегда, с депутатского подъезда, мы встретились в раздевальне с входящими туда Зверевым и Зилоти. «Ну, как я рад, что вы смогли приехать», — сказал он мне здороваясь и спросил, будем ли мы завтра в Консерватории на оратории Хенделя. «Разумеется будем», — ответила я. — «Мне необходимо поговорить с вами», — прибавил он, прощаясь и пошел в артистическую, а мы пошли в залу.

Последние года два у нас с Сашей были свои именныe места, как у действительных членов И. Р. М. О., и сидели теперь рядом с родителями.

Как играл Зилоти сонату E-dur, — я никогда не забуду. Играл так серьезно, просто; чудесно! После сонаты мамочка нас увезла домой. Действительно, сил у меня было так мало. И опять она уложила меня в по-

стель на всё воскресенье, до вечера. Вечером же — поехали в Консерваторию, которая в то время еще помещалась в старом здании. Зилоти ждал нас при входе в залу наверху. Мы сразу сели вместе в заднем ряду. Были в зале все профессора и масса музыкантов, во главе с Петром Ильичем, Ларошем и Танеевым.

Мы сразу увидели, что поговорить как следует не удастся. Говорили едва слышно. «Вы на меня не сердитесь, что я прочел ваши письма, — начал Зилоти без вопроса в голосе, — но мне надо было знать правду». — «Наоборот я очень рада, теперь вы знаете всё и мне так гораздо легче». — «Завтра я уезжаю дней на десять, играть в Харьков и как только вернусь — сейчас же приду к вам поговорить, с вами и решить, что будем делать». — «Вы знаете, что я согласна на всё, что вы решите. Теперь давайте тихо слушать музыку, чтобы не было подозрений», — прибавила я. Но мне было не до музыки. Я спрашивала себя какой может быть выход? Бежать без благословения родителей, отложить нашу свадьбу до бесконечности? Я так устала ждать, что, казалось мне, более сил не хватит. Как дожить до его возвращения из Харькова?

Слабость была ужасная. Мамочка беспокоилась, но ничего не спрашивала. Через несколько дней пригласила мне моего любимца, доктора Прево. Я ему верила. Он осмотрел меня у мамочки внизу, нашел меня далеко не в блестящем состоянии и собирался серьезно лечить. Как он только уехал, прибежала тетя Манечка. Я видела, как они обе с мамочкой были огорчены моим видом. Меня взяло такое отчаяние: опять болеть, опять лечиться, такая безвыходность впереди. Мне сделалось дурно. Я очнулась на постели у мамочки. Увидя в слезах ее и тетю Манечку, — я сама начала глотать слезы. Вдруг мамочка нежно говорит мне: «Верушечка, успокойся, ведь папочка согласен на твою свадьбу». — «На какую? Он навер-

ное воображает себе совсем другое». — «Нет, он будет счастлив, если вы повенчаетесь с Александром Ильичом».

Я была так поражена, что охватить этого ни головою, ни душою не могла. Не в силах была вымолвить ни слова. Взяла руки мамочки и тети Манечки в свои и прижала их к себе. Мамочка умоляла меня заснуть «часочек до обеда», там же у нее. Тетя Манечка убежала. Было, помню, пять часов. Мамочка села рядом в своем кабинете что-то писать. Обед прошел своим обычным чередом, все были в хорошем настроении; сидела я и всё еще не верилось, что это — сказка наяву!

Вечером, часов в девять, когда я сидела в нашей спальне на диване и что-то читала — пришел вдруг отец, тихонько сел на диван, рядом со мною и сказал: «Давай с тобой говорить так спокойно, как о платьях, о «тряпках». Я виноват перед тобой, что тебя так измучил, но я хотел, чтобы ты хорошенько обдумала и испытала свое чувство». — «Папочка, милый, это было жестокое испытание». — «Я знаю, но теперь и тебе, и нам ясно, что это не увлечение, а проверенное чувство привязанности на всю жизнь. Я спокоен, что ты знаешь, на что идешь, и выходишь замуж по рассудку». — «Папочка, миленький, я не думала, чтобы кто-нибудь мог допустить во мне хоть капельку рассудка». — «Я всё думал: ты так любишь детей и так любишь музыку. Выходя замуж за артиста, ты будешь иметь всё. Зилоти чудесный молодой человек и громадный талант. Я страшно счастлив за тебя и уверен, что ты скоро совсем поправишься. Теперь ведь необходимо вам вдвоем с ним поговорить и всё обсудить. Ведь вам — вместе жить. Когда ты можешь его увидеть?». Я сказала, что он уехал в Харьков играть и обещал придти ко мне, как только вернется. Отец просил сообщить Зилоти о сегодняшнем разговоре.

Отец, собираясь уходить, вдруг обратился ко мне с поразившим меня вопросом: «Скажи, почему ты в свое время не вышла замуж за Петра Ильича? Ведь он же за тобой ухаживал», — «Папочка, дорогой что ты?». Я счастлива и горда его вниманием ко мне. Мы, действительно, хорошие друзья с ним». — «А то я боялся, между вами уже слишком большая разница в годах». Я подумала: какой папочка наивный в жизни! — и порадовалась за него.

Прощаясь, мы с отцом, с облегченной душой, крепко обнялись. Позже пришла мамочка, затем тетя Манечка. Мы долго не могли разойтись, все стояли и радостно болтали.

«Ты теперь будешь спать?». — «Буду, мамочка».

На другое утро я написала Вале о нашем разговоре с отцом и просила ее сообщить маме и Саше, когда его встретит на вокзале. Просила, чтобы Саша предупредил о дне и часе, когда соберется придти ко мне.

Через несколько дней, 16-го декабря, я получила рано утром, с посланным, записочку от Зилоти, что приехал и придет сегодня же в два часа. Я сейчас же поделилась моей радостью с сестрой Сашей и побежала к родителям и к тете Манечке. Ровно в два часа раздался звонок и через минуту Зилоти вбежал быстро по лестнице, улыбаясь во всё лицо. Встретив его на верхней площадке, я провела его в нашу с Сашей гостиную и мы уселись на наших любимых французских складных стульях, вышитых золотом, близ камина. Я, от волнения, — спиной к окну.

«Как вы съездили в Харьков?» — скрывая мое волнение, спросила я. — «Ну что там Харьков? Вы лучше скажите, когда мы женимся», — весело сказал Зилоти, взяв меня за мизинец правой руки, лежавшей на столике, стоявшем между нами. «Как я счастлив, что всё благополучно устроилось! А ты знаешь, после того как старик скончался, меня забрала такая то-

ска, такое одиночество, что я уложил свой чемодан, чтоб ехать в Москву за тобой. В Берлине, перед моим отъездом я ужинал у моих друзей. За столом хозяйка спросила меня, уверен ли я, что ты пойдешь за меня замуж? Чувством я знал, что ты меня любишь, но ведь ты мне этого никогда не говорила. Я так смутился, что вернулся обратно в Лейпциг». Этим было всё сказано. Я была горда и тронута. Он взял мою голову своими длинными руками, накрест и прижал к своему коричневому бархатному пиджаку, пахнувшему шипром. Этот запах и запах тубероз навсегда связались с Зилоти.

«Я думаю, самое лучшее докончить сезон. После Пасхи мы обвенчаемся и я тебя увезу в Лейпциг. Идет?». — «Идет». — «Я хотел бы поговорить с твоим отцом и Верой Николаевной».

Я побежала вниз за мамочкой. Она моментально пришла вместе со мной. Ее чудные, серые, лучистые глаза светились, как звезды, она вся сияла. Назначила Зилоти свидание на вечер, у отца в кабинете, внизу. Я сбегала за тетей Манечкой, за сестрами Сашей и Любой. Саша и без слов была трогательно-мила. А Люба расплакалась. — «Ну что вы ревете? Перестаньте! — уговаривал Любу Зилоти. — Я, ей-Богу, человек хороший». — Все рассмеялись.

Когда Зилоти ушел, мамочка нежно спросила меня: «Верушечка, тебе больше ничего на свете не надо?». — «Ничего, мамочка!».

После обеда, часов в восемь, я слышала из своей комнаты звонок, шаги по проходу под лестницей «антрэ» и звук закрывавшейся двери в мамочкин кабинет. Я тихо и радостно сидела и ждала.

Вот открылась мамочкина дверь и закрылась. Слышу, несется по лестнице Зилоти на своих долговязых ногах и, влетев, как метеор, кричит мне: «Ну, теперь мы с тобой жених и невеста». Через минуту пришли

мои родители, поздравили нас, сказали, что очень счастливы и прошли в столовую, а мы с ним еще поболтали.

Рассказал мне, как иногда, еще лежа в постели, мечтал, что вдруг почтальон принесет от меня письмо; а то мечтал, что вот раздастся стук в дверь и я войду, закутанная в густую вуаль. Рассказал также, что моя карточка, в русской «куртушке», еще с Веймара стояла у него на письменном столе. Фридгейм и другие товарищи знали, что это портрет его невесты и дразнили: «Usurpaterchen». Так они звали Зилоти. «Ведь это же ненадолго, если женишься, — через шесть недель разойдешься». Нам казалось это невозможным и мы громко смеялись. Вдруг Зилоти вскочил: «Хочу успеть забежать к маме и ей всё рассказать». Проводив его, я побежала в столовую, к родителям. Они оба вместе рассказали мне, смеясь, что в конце разговора внизу мамочка спросила Зилоти, слышал ли он, как ужасно «бедная Вера Павловна кашляет?». — «Про кого это вы говорите?», — с недоумением в голосе, в свою очередь спросил Зилоти. Отец мой его поддразнил: «Хорош, не знает на ком женится». — «Ах, это вы про Веру говорите. Она ни разу даже не поперхнулась».

Глава XXXIII

О Б Р У Ч Е Н И Е

На следующее утро поехала я одна к бабушке Александре Даниловне. Она, всегда холодная с виду и неласковая, встретила меня сердечно, тепло и сразу благословила меня иконой «Нечаянной Радости», о чем я уже рассказывала в одной из предыдущих глав этих воспоминаний.

Я была ее крестницей. Отец мой ездил всю свою жизнь, ежедневно, «к маменьке поздороваться».

Нет сомнения, что она была в курсе всего, что происходило в нашей семье. Не мог отец ей не рассказывать всех подробностей моего «романа» с Зилоти. Она так искренно радовалась моему счастью, она слушала с таким интересом, глядя на меня своими, почти белыми, старческими, умными глазами, что мы с ней вдруг, неожиданно, стали друзьями.

На второй день нашей помолвки мы с Зилоти поехали к его матери и к Звереву.

Мать жила на Страстном бульваре, в доме женской гимназии, на самом верхнем этаже. При входе, в передней, мы сразу обняли друг друга. — «Мама», — шептала я. «Вера», — слышала я голос мамы. «Ну, покажись, какая ты», — быстро говорила мама, снимая с меня меховую шапку и рассматривая меня. Тут же была нежная встреча с Варей. Рядом с ней скакала на одной ножке Маша. Ей было тогда лет пятнадцать, была она прехорошенькая. Мама потащила меня

за руку через большую, общую комнату в свою проходную спальню, за перегородку. Там она быстро и угловато, от волнения, перекрестила меня и так же быстро начала говорить: «Я так рада, так рада за Сашу и за тебя! Я уже вчера послала открытое письмо Илье Матвеевичу в Старобельск, о вашей помолвке. Нарочно открытое письмо, чтобы прочли все на почте и узнал бы об этом весь город до него. Он так не хотел, чтобы Саша женился, что мы с Варей всё от него скрывали. Только ты, когда он придет, не обращай никакого внимания, если он чего-нибудь тебе наговорит. И Саше не говори ни слова, что я тебе сказала». Меня удивила и глубоко тронула мамина ласка, заботливость, откровенность, и, главное, ее доверие ко мне. С этого, первого, свидания жили мы с ней душа в душу, несмотря на многие недоразумения, случавшиеся в будущем, между семьями Третьяковых и Зилоти.

В то время было ей 53 года, а скончалась она во время революции, в Москве, около Вари, которая за ней ходила, и было ей около 90 лет. Мы жили уже в Америке. Помнится, я лежала в Нью-Йорке, со сломанной ногой, когда мы получили письмо от Вари, что мать скончалась среди ночи, во сне.

Была она высокая, гибкая, как лилия, красивая, со смуглым цветом лица и слегка монгольским разрезом прекрасных, серых глаз.

Если б я могла охарактеризовать ее одним словом — я бы сказала, что она была олицетворением благородства.

От мамы поехали мы к Звереву. Он жил в Оружейном переулке, близ Смоленского бульвара. Встретил нас Николай Сергеевич с таким «барственным» радушием, но и не без маленьких колкостей, что было характерно для него.

Я только тут его рассмотрела. Ему шла роль хозяина дома. Очень высокий, тонкий, с бритым острым

лицом, горбатым носом, умными серыми глазами, белыми, волнистыми, зачесанными назад волосами, прекрасно одетый, — он был аристократом, в лучшем смысле слова. Он был барином-шестидесятником, либералом. В молодости окончил Петербургский Университет, по юридическому факультету; одновременно с этим брал уроки музыки у знаменитого Александра Дюбука. После освобождения крестьян в 1863 году отдал всю землю своего подмосковного имения в собственность крестьянам. Его примеру последовала и его сестра, Анна Сергеевна. Они поселились в Москве. Он начал давать уроки музыки и стал скоро очень известным. Николай Григорьевич Рубинштейн, при открытии Консерватории в 1866 году, пригласил Зверева преподавателем по классу фортепьяно, чем он и оставался до самой смерти, в октябре 1893 года.

Николай Сергеевич познакомил меня со своей старенькой, высокой, представительной сестрой, Анной Сергеевной. Она была настолько доброй и радушной, что было невозможно не полюбить ее сразу. Там же была ее приятельница Александра Васильевна, которая мне тут же рассказала, что «Саша, вернувшись намерен от вас, спросил меня, как делают барышням предложение? Я ему сказала, что кавалер становится на коленки, целует ручку барышне и предлагает свою руку и сердце, а Саша мне на это говорит, смеясь: «Вот ничего этого я не сказал ей».

Пришли «зверята» из Консерватории: Мотя Прессман, которому было 16 лет, Сережа Рахманинов и Лёля Максимов, которым было приблизительно по 14-ти лет¹. «Мо», как звал Прессмана Николай Серге-

¹ «Мо», в будущем Матвей Леонтьевич Прессман, окончил Московскую Консерваторию по классу Сафонова, стал известным педагогом в России. Сережа — в будущем известный всему миру пианист, композитор и дирижер. Леля — Леонид Александрович Максимов — был одним из самых блестящих пианистов и всю

евич, был добродушным, полным. Сережа был маленький, толстый, с лицом круглым, как луна, и умо- рительно говорил «шам» вместо «сам»; у Лёли были очаровательные, черные глаза с изогнутыми бровями.

На другой день после нашего посещения матери Саши и Зверева, Саша прислал мне утром, с посыль- ным, записочку, что заболел, лежит и просит Веру Николаевну, чтобы она нас с сестрой Сашей отпу- стила его навестить. Там нас встретила Варя. Саша лежал в спальне Николая Сергеевича. Мы несколько дней подряд ездили к нему, куда он болел. А как немного поправился, начал собираться за границу, к началу второй половины концертного сезона.

Перед его отъездом нас, по русскому обычаю, обручили. Обручал нас Толмачевский батюшка Васи- лий Петрович Нечаев. Бабушка благословила меня той же иконой «Нечаянной Радости», а отец и мать — иконою Христа Спасителя. Этот образ отец подарил мне в день моего шестнадцатилетия и висел он с тех пор в головах моей постели.

После благословения, вечером, был у нас боль- шой обед. Накрыт был стол покоем, в нашей столо- вой. Петр Ильич придти в себя не мог от удивления: он не подозревал о нашем романе с Зилоти. Сел за столом с мамочкой напротив нас с Зилоти, никак не мог простить, что я скрыла от него свое увлечение. Через стол шептал мне: «Дрянная девченка, не могла ты мне раньше сказать, я бы тебе давно всё устроил». Я смеялась и уверяла его, что это случилось и так неожиданно рано, т. к. Саше недавно минуло всего 23 года. Где было ему еще раньше обзаводиться же- ной, такой обузой! «А я-то, старый дурак, спрашивал себя в Консерватории: чего это Третьякова мешает

свою короткую жизнь концертировал в России. Рахманинов и Максимов были оба учениками Зилоти в Московской Консерва- тории от 1888 по 1891 года.

Зилоти музыку слушать», — смеялся Петр Ильич и, обращаясь через стол к Саше Юргенсон, поддразнивал: «Ах, вот где было почтовое отделение!». Действительно, Варины письма пересылала Любе Саша Юргенсон, а Люба мне.

Уходя домой, Петр Ильич сказал Саше: «Прежде я был вашим учителем, а теперь я твой кузен и ты должен мне говорить *ты*. Ну, говори: «Прощай Петя!». Саша протестовал, говоря, что не в силах этого сделать. Петр Ильич ухватил его за горло, сказал, что задушит, а не отпустит, пока он его не послушается. Саша ежился, ежился и выпалил: «Прощай Петр Ильич». Так Саша и стал его называть полным именем, говоря «ты».

Это было последнее мое свидание с Петром Ильичом в наших милых Толмачах. Он вскоре уехал в Италию, до поздней весны. И венчалась я без него.

Кончая эти воспоминания, о двадцати годах, прожитых мной в Толмачах, я не уверена, что, при моем преклонном возрасте, успею написать, вторую книгу, о целом полвеке нашей совместной жизни, за границей и в С. Петербурге, где, должно быть, рассказала бы много подробностей о наших дальнейших дружеских встречах с Петром Ильичом. Потому хочу, хоть вкратце, рассказать здесь о них, а также о семье Чайковских. В год нашей женитьбы, поздно осенью 1887 года, приехал Петр Ильич в Лейпциг. Это был его первый приезд в Германию в качестве композитора и дирижера. Помню, Петр Ильич брал с собой Сашу в Берлин и в Прагу, где Зилоти играл *b-moll*-ный концерт. Жили мы за городом, в особняке с садиком. Почти ежедневно видались с Петром Ильичом в продолжение нескольких месяцев. В то время родился у меня старший сын, я не выезжала, а всего чаще собирались у нас по вечерам, с Григами, Бродским и Сапельниковым, с которым Петр Ильич был в

дружественных отношениях. Григ нам много и чудесно пела под аккомпанимент своего мужа.

Много виделись с Петром Ильичом в продолжение трех лет, когда Саша был профессором Московской Консерватории (с осени 1888 по весну 1891 года). Часто собирались у нас обедать и играть в винт одни мужчины. Изредка целой компанией, во главе с П. И. Юргенсоном, издателем Петра Ильича, ездили к нему в Клин. Особенно близко сошлись мы в Париже весной 1892 года; жили мы вместе в отеле Ришпанс, недалеко от церкви Мадлен. Почти всю зиму 1892-1893 года Петр Ильич дирижировал в Европе и Америке и то и дело проводил время в Париже, инкогнито, что ему редко, разумеется, удавалось. Мы жили тогда на авеню Трудэн, у подножия собора, который в то время отстраивался и мимо нас везли знаменитый колокол «La Savyarde». В свои приезды Петр Ильич приходил к нам ежедневно. Вместе обедали, чаще у нас, а иногда в ресторане, ходили вместе гулять, часто и в театр. В ту зиму в Париже жил также Модест, брат Петра Ильича, драматург со своим воспитанником Колей Конради, глухонемым, который, несмотря на это, был большой культуры. Они оба часто у нас обедали и проводили вечер, то одни, то с Петром Ильичом. Мы оба подружились с Модестом и остались близкими до его смерти в 1915 году.

В январе 1893 года в Париже родилась наша вторая дочка, Оксана. Покуда я поправлялась, Петр Ильич ежедневно навещал меня, сидел подолгу около меня на моей постели и беседам нашим не было конца. То и дело спрашивал меня с волнением в голосе: «Веруша, как ты думаешь, я еще долго проживу? Хоть лет пятнадцать? Я панически боюсь смерти!». Пожелал крестить «милую чучелку» — Оксану.

Когда уезжал в Россию, прощался, почти с отчаянием: «Скажи мне, что я долго буду жить!». А смерть жестоко его подкараулила и унесла в октябре того

же года, 25-го числа, в Петербурге... Странно всегда звучали слова Петра Ильича, что пока Зверев жив, и он жив, а как Зверев умрет — и он скоро умрет. Оно так и случилось. Зверев скончался в начале октября, за несколько недель до Чайковского.

Мне кажется, что я знала его бесконечное число лет, словно «всю жизнь», а на самом деле — всего одиннадцать с половиной лет, превратившихся в моем чувстве — в вечность. Паня, как звала Парашу вся семья Чайковских и к которой они относились с большой нежностью, прожила с Анатолием Ильичом более двадцати лет, «душа в душу», как она выразилась в письме ко мне после смерти своего мужа, в начале этого столетия, тоже в Петербурге. Анатолий Ильич был долгое время губернатором в Тифлисе. Саша Зилоти несколько раз концертировал на Кавказе в продолжение нашего десятилетнего пребывания в Европе, много бывал у Чайковских и подружился с ними обоими.

Глава XXXIV

САШИНА СЕМЬЯ

Саша уехал в Лейпциг перед самым Рождеством, до поздней весны. Я его не провожала и начала, счастливая, сразу жить минутой его возвращения.

На праздниках, помнится на второй день, часов в двенадцать пришел «с визитом» отец Саши, Илья Матвеевич, с младшим Сашиным братом, Митей, меня очаровавшим и ставшим очень скоро моим большим другом.

Илья Матвеевич был маленький, худенький, с характерным молдаванским лицом, маленькими серыми глазами, большим носом, коротким, бритым подбородком; носил коротенькие бакенбарды. Был он отставным военным и предводителем дворянства в Старобельске, Харьковской губернии, где у него было имение. Был совершенно новым типом для меня. Сказал мне много странностей, переплетенных почти-циничной (как мне казалось) философией и оставил меня — в полном недоумении. К счастью, мама Юлия Аркадьевна, меня просила не обращать внимания на его разговоры. Он скоро уехал на юг, в свое имение, которое, по его словам, должны были скоро продавать с торгов, что его беспокоило и огорчало. Я, собственно, узнала его через полтора года, осенью 1888 года, когда Саша принял, по просьбе Сергея Ивановича Танеева, место профессора в Московской Консерватории. Я поняла, что странности и кажущаяся цинич-

ность у Ильи Матвеевича происходили от того, что он был в личной жизни, глубоко несчастен. Был, наоборот, чистый, хороший человек, чрезвычайно добрый (передавший эту доброту всем своим детям), умный, энергичный, очень религиозный и правдивый, но был, по моему мнению, неврастеником.

Уезжая с Сашей за границу на долгий срок, в январе 1892 года, расстались мы, к сожалению, не простившись. Он требовал, чтоб я отказалась от поездки, обосновывая это тем, что он лучше меня сумеет сделать карьеру Саше и что Саша должен обеспечить раньше всего отца и создать ему положение, а потом уже думать о себе и своей семье. Я возражала, что Саша сам (без него и без меня) сумеет пройти путь, достойный его громадного таланта. Илья Матвеевич на меня сердился и тайно уехал из Москвы, накануне нашего отъезда. Вот подобные его действия я и объясняю неврастенией.

На святках, как-то днем, пришел ко мне знаменитый профессор русской словесности Федор Иванович Буслаев, чтобы познакомиться, по его словам, со мною — «Сашиной нареченной». Принес мне два тома своих сочинений, под заглавием «Мои досуги», с трогательной надписью. Федор Иванович был в то время уже в весьма преклонном возрасте, а потому его приходом я была особенно польщена, обрадована и тронута. Он просидел со мной несколько часов, окутал меня такой лаской, что я совсем растерялась и сразу его полюбила.

Хочу объяснить, как выпало на долю Саше исключительное счастье стать его учеником.

Федор Иванович был женат на Людмиле Яковлевне, урожденной Троновой, помещице Волоколамского уезда, Московской губернии. Троновы и Зверевы были соседями по имениям. Николай Сергеевич и Анна Сергеевна Зверевы были в молодости в дружеских отношениях с Людмилой Яковлевной и ее се-

строй Фаеной Яковлевной, сошлись и с Буслаевым после его женитьбы.

Когда Саша стал взрослым юношей, Николай Сергеевич просил Федора Ивановича пополнить и расширить знания Саши по всеобщей литературе. Обладая универсальностью знаний в науках и искусстве, он занимался с Сашей с трогательной любовью в продолжение нескольких лет, по несколько раз в неделю, не считая часов. Изучил с ним Библию, Данте, Шекспира, Гёте и других классиков иностранных и русских. Заставлял писать сочинения и когда, в будущем, Саша писал хорошим слогом, Федор Иванович с гордостью говорил мне: «Маленькая, ведь мой ученичок, мой ученичок».

Познакомилась я и с семьей Сатиных. Сашина тетка, сестра и крестница Юлии Аркадьевны, была совсем молодая женщина, 34-х лет, хорошенькая, живая, как ртуть, и очень сердечная. Мы с ней стали просто подругами в самое короткое время — и «навсегда». Ее муж, Александр Александрович, был богатырь, огромного роста, широкий, черный, как смоль, с серыми добрыми глазами. Родственники, друзья и все люди, приходившие в прикосновение с ним — его прямо обожали. Разумеется и я в том числе, и Саша. Все мы звали его «дядей Сатиным». Мне казалось, что я их знала всегда. Мне было у них уютно и, наверное, видалась бы я с ними часто до возвращения Саши, если бы не случилось в нашей семье большого горя, о котором расскажу в следующей главе.

Г л а в а XXXV

В А Н Е Ч К А

В начале ноября 1878 года родился у наших родителей второй сын, чудесный мальчик Ванечка.

Когда мамочку спрашивали в честь кого она дала это имя, она отвечала: «В Ивана-Царевича и в Иванушку-дурачка, героев русских сказок».

Ванечка рос красавцем-богатырем, но с невероятно впечатлительной, тонкой душой. И своей радостью внес в нашу юную жизнь вторую радость; первой — была Маша, которой было в то время года четыре, а нам с Сашей было 12 и 11 лет. Обожали мы Машу, заобожали сразу и Ваню.

Маша и Ваня — звучало тоже сказочно. Да и они сами были оба такие прелестные, обаятельно-красивые и милые.

Нас — детей стало три пары: я и Саша-сестра, Люба и больной, ненормальный Миша и наши маленькие любимцы Маша и Ваня.

Они оба родились в нижнем этаже, в спальне родителей, а росли в детской, в бельэтаже, где выросли и мы четыре старших, по очереди уступая место новорожденным, переезжали наверх, на третий этаж, под крылышко тети Манечки.

Во время царства Наталии Васильевны Фофановой (нашей с Сашей-сестрой воспитательницы, о ко-

торой я много уже писала), нас — двух старших перевели в прежнюю спальню родителей и смежный кабинет мамочки, из верхнего этажа — в бельэтаж. Спальня была душная, а кабинет холодный, имея две наружные стены. По совету Натальи Васильевны, сходящей с ума по гигиене, стенка между этими комнатами была снята; были поставлены, для поддержки потолка, две колонки резного полированного ореха; получилась одна громадная комната, окнами на две стороны, там, и спали, и учились. Когда мне минуло шестнадцать лет и Наталия Васильевна нас добровольно покинула, родители отделали эту комнату, устроив нам спальню в прежней своей спальне, а бывший кабинет мамочки стал нашей гостиной. Прибыл ковер, повесили оливковые шелковые драпировки между колоннами, поставили нам туда «старый» Бехштейн, два письменных столика, кресла, стулья. Это стало нашим заколдованным царством. На рояле лежали наши любимые ноты. Там упражнялась в игре на фортепиано сестра Саша, а я — в зале, на «новом» Бехштейне. Звуки фортепиано неслись почти целый день, через «антрэ», по всему дому, то из зала, то от нас.

Когда подросток Ванечка, он нередко забирался в нашу комнату послушать музыку, которую очень любил. Он был чрезвычайно музыкален, слышал и схватывал всё сразу. Там я стала давать ему уроки игры на фортепиано и параллельно объяснять ему гармонию и разрешение аккордов. Мы оба занимались с энтузиазмом и были эти занятия большим счастьем для меня. Память была у него феноменальная.

Волосы были у него светло-русые, волнистые и падали, подчас, на лоб высоким, непослушным клоком. Нос был с горбинкой, как у нашего папы-крестного, Сергея Михайловича Третьякова, глаза были серые, лучистые, мамочкины; как и у нее, то были они задумчивыми, глядя в бесконечность, то светились,

как звезды. Брови были тоже, как у мамочки, то изгибались вопросительно, а то выражали недоумение.

Сначала была у Маши и Вани няня Иллария Ефимовна, умная, желчная и злого характера; детей наших, по-своему, ревниво обожала. Когда они подросли, пригласила мамочка им воспитательницу, тихую, скромную Екатерину Григорьевну Померанцеву, одну из бесконечного числа мамочкиных стипендиаток.

После отъезда Наталии Васильевны, для уроков французского языка была приглашена г-жа Шеффер, вдова, воспитывавшая своего единственного сына Эдуарда дома, в Швейцарии.

Была она образованная, очень развитая, ярая кальвинистка. Она жила у нас и по летам в Куракине для практики французского языка нам и особенно Маше и Ване. Любы и Миши она не касалась. Их воспитательница, Ольга Николаевна Волкова, знала французский язык в совершенстве.

Ваня заменял ей сына; она понимала Ваню, его богатую, чуткую душу; понимала и все его шалости, старалась давать ему, четырехлетнему, но очень сильному и развитому, по возможности, много свободы, следуя, как товарищ, за ним по полям, лугам, лесам, на речку и много беседуя с ним, как со взрослым. Интересовался он всем и был необычайно чувствителен ко всему происходящему вокруг. Я сейчас удивляюсь, почему и тогда, и позже, не было у него знакомых мальчиков — товарищей; играл он либо с Машей, либо бывал с воспитательницей.

Родители без памяти любили его, но не баловали и не «носились» с ним; это была спокойная радость иметь, наконец, в семье своей здорового, нормального, одаренного сына, на которого оба родителя могли возлагать все свои надежды.

Г-жа Шеффер очень хорошо относилась к Екатерине Григорьевне, которую няня Иллария Ефимовна

ненавидела, ревнуя к ней детей наших и готова была ее сжить со света. Историям и интригам няньки не было конца.

Мы с сестрой Сашей принимали это близко к сердцу и, под влиянием Шеффер начали требовать от мамочки удаления Илларины Ефимовны из нашего дома. Как мучительно трудно и тяжело было мамочке разрубить этот «Гордиев узел». В нашем доме, где было столько прислуг и столько сплетен. Но сколько это мамочке ни стоило, она наше требование уважила и рассталась с Иллариной Ефимовной. Это был единственный случай, что мы с Сашей энергично вмешались в строй Толмачевской жизни. Милая и умная тетя Манечка держалась в стороне.

Ванечку родители перевели из детской спать к себе в спальню. Его кровать с тех пор стояла в ногах их постелей. Так мамочка, ласковая и нежная лишней раз поздно вечером, ложась спать, или среди ночи, могла перекрестить Ванечку, а утром — перемолвиться лишним словом.

Рассказывала мамочка, что как-то под Рождество, в сочельник, когда пришла ложиться, — услышала тихие, сдержанные рыдания: «Что с тобой, Ванечка? Болит что-нибудь?». — «Нет, но на дворе праздник, а я никому доброго не сделал». А было ему тогда лет семь, не более.

В сезоне 1885-86 мы обе, вместе с отцом, особенно увлекались немецким театром Георга Парадиза. Между многими интересными пьесами был поставлен для Эрнста Поссарта «Манфред» Байрона с музыкой Шумана. Помню, на одного «Манфреда» ходили мы более полдюжины раз; восхищались и часто играли мы обе эту музыку в нашей комнате. Ванечка всегда принимал участие в наших увлечениях и нередко забегал послушать «Онегина», «Кармен», «Руслана», «Манфреда».

В одно из воскресений сидела я у себя в комнате одна и начала играть музыку к «Манфреду», подряд; это было перед сумерками. Когда я дошла до прощания Манфреда с солнцем, — я услышала рыдания из под рояля. Нагнувшись, я увидела Ванечку. Он туда спрятался, чтобы послушать опять эту, знакомую ему, музыку, а мне не мешать. «Ванечка, что ты, милый?». — «Да понимаешь ли ты, что значит в последний раз видеть луч солнца?..».

Ванечка был счастлив, что я выхожу замуж и выбрала «Александра Ильича», которого он очень любил. Когда, после нашего обручения, Зилоти уехал в Европу, я снова заболела. Меня уложили в классной комнате (бывшей нашей детской, с лежанкой в углу, где, в будущем, после моего замужества, поселились родители и где мамочка, 25-го марта, в день Благовещения, в 1899 году, скончалась). Положили меня среди комнаты, к окнам; давали каждые полчаса мясной сок и ложечку шампанского; температура была, помню, ниже 34, а пульс 60. Запретили мне разговаривать. Это — мне-то? самой «словоохотливой», как выражался мой отец! И никого кроме родителей, тети Манечки и сестры Саши — ко мне не пускали.

Как-то, идя спать, Ванечка приоткрыл скважинку в моей двери; слышу шопот его: «Верочка, покойной ночи тебе, желаю тебе земного счастья».

Это было в первых числах января, а в двадцатых — его отняла у нас скарлатина, осложнившаяся менингитом. Ему перед тем, в ноябре, минуло восемь лет...

Во время Ваниной агонии, милая Варвара Ивановна и тетя Манечка, обнявшись плакали, причитая: «Какие мы счастливые с вами, что это горе случилось в присутствии родителей, а не без них. Ведь мы бы замучились в сомнениях, всё ли мы сделали, что было в наших силах?».

Они рассказывали мне, что, в бреду, Ванечка как-то весело сказал: «А я возьму папочкины калоши, поставлю их в передней на виду, позову Верочку, она подумает, что это Александр Ильич приехал. Как она рада будет...».

Глава XXXVI

СМЕРТЬ ВАНЕЧКИ

Ванечка скончался ночью. Рано утром пришла ко мне мамочка, тихая, спокойная, лишь слезы, как жемчужины, падали из ее глаз: «Верушечка, Бог взял у нас Ванечку. Одевайся поскорее, пойдем в столовую папочку утешать».

Горю бедного отца моего не было границ. Он плакал судоржно и горько, как ребенок, в абсолютном отчаянии. Самый невыносимо-тяжелый момент был, когда вскоре пришел пить кофе, мой брат Миша, шестнадцатилетний, неразумный, но не лишенный отзывчивости; он подошел к отцу и едва внятно сказал: «Как жаль, что Ванечка умер...».

А после кофе, когда Миша ушел к себе — отец, будучи глубоко религиозным, сказал тете Манечке: «Как неисповедима воля Божия, взять у нас здорового сына и оставить нам больного...». И стал тосковать пуще прежнего. Мы, девочки, облепили наших несчастных родителей, думали лишь об одном, как утешить отца, вместе с мамочкой, такой героиней.

Ванечка болел и скончался внизу, в спальне родителей, где родился и жил последние годы.

Меня к больному отец не пускал, говоря, что я уже на-половину не принадлежу к семье своей и он

ответственности за меня брать не смеет. И на похороны не пустил, а просил меня уехать до вечера к моей кухне Вере Мамонтовой, так как после выноса, должны были делать дезинфекцию в доме. Мне казалось тогда, как кажется и теперь, что мне было бы легче пережить это горе со всеми моими, среди полной его тяжести. Сестра Саша от Ванечки не отходила и я ей завидовала, хотя знала, что меня нежно берегли, но всё же, где-то глубоко закрадывалась горечь, точно действительно я стала наполовину чужая и это было мне невыразимо тяжело.

Пришла мамочка на другой день похорон. Начала просить сделать свадьбу мою с Зилоти теперь, как можно скорее. Просила, чтобы, повенчавшись, мы остались некоторое время в Москве, в какой-нибудь гостинице, чтобы дать ей возможность постепенно привыкнуть к мысли о моем отъезде за границу. Ей трудно было пережить уход из семьи двух детей сразу.

Мы послали телеграмму Саше Зилоти в Антверпен, где он в те дни должен был играть.

Зилоти отменил оставшиеся концерты и сейчас же выехал в Москву.

Я проводила почти всё время с тетей Манечкой, от которой не скрывала своей душевной окаменелости: горе парализовало радость приезда Саши, а радость парализовала горькое горе. Меня точно не было. «А ты молись и Бог пришлет тебе слезы, оживит твою душу, чтобы ты приняла с верой свое счастье. А твоего дружка Ванечку вечно будешь любить и помнить». Эти слова так тронули меня, так оживили; я долго плакала на плече у тети Манечки и начала, словно воскресшая, с благодарностью и нежностью ждать приезда Саши моего.

Нехватило бы сил у родителей моих венчать нас у Николы в Толмачах, где только что отпевали Ванеч-

ку. Дядя Костя (Константин Васильевич Рукавишников, муж мамочкиной сестры, нашей тети Дуни), навещавший нас ежедневно в нашем горе, просил, чтобы мы венчались в его церкви, т. е. церкви Рукавишниковского Исправительного Приюта. Венчание назначили на 6-ое февраля, последнюю пятницу перед Великим Постом — вечером, в 8 часов, с возможно меньшим освещением. Хор Московской Императорской оперы предложил пропеть венчание, под управлением мамочкиного брата Виктора Николаевича Мамонтова, постоянного регента этого хора.

Кто-то, что-то тихо устраивал. Отец пожелал, чтобы мое подвенечное платье и другие платья к отъезду были сшиты домом Пикаф, давнишним съемщиком в доме братьев П. и С. Третьяковых на Кузнецком мосту. И начали ко мне то и дело ездить с примерками.

Вслед за приездом Саши съехались, с разных концов России, и все его братья: Аркадий, смелой запорожской красоты; Володя, которого я уже знала несколько лет; Сережа — лейтенант балтийского флота и Митя, уже раз приходивший ко мне с отцом, все очень симпатичные и простые. Митя был мне ровесником. По моей просьбе поехали мы накануне свадьбы в студию И. Г. Дьяговченко на Кузнецком Мосту, чтобы сняться всем вместе с мамой Юлией Аркадьевной, на память об этом единственном дне в жизни ее, когда около нее собрались все семеро ее детей; я явилась восьмой в их семью. Отца Зилоти в городе не было, на свадьбу он не приехал. Не был на свадьбе и Николай Сергеевич Зверев, ни за что не хотевший придти. Отцу Зилоти не нравилось, что Саша женится не на дворянке, а на купчихе, а Звереву, — что Саша женится так рано. В этом было у обоих, мне кажется, чувство своеобразной ревности. Юлия Аркадьевна была ко мне необыкновенно мила. Мамочка моя, в неутешном горе своем, молча, украдкой, целовала меня;

ее ласка и молчание говорили мне больше, чем все слова мира. Ни жалоб, ни мольбы. Жизнь Ванечки пронёсшаяся, как метеор, была для нее подарком Божиим, данным и взятым, или проглянувшим и скрывшимся лучом солнца.

Г л а в а X X X V I I

М О Я С В А Д Ь Б А

Накануне свадьбы Саша Зилоти исповедывался и приобщался у своего учителя Закона Божия и церковного пения, по крюкам, отца Дмитрия Васильевича Разумовского, настоятеля церкви Вознесения на большой Никитской. Отец Разумовский был большая умница, большой знаток в богословии и был любимцем всей Консерватории. Он выразил желание совершить обряд нашего венчания.

В день нашей свадьбы, как полагалось по старинному Московскому обычаю, я своего жениха не видала. Одевала меня милая моя тетя Манечка, как самая близкая мне почтенная девица, тоже по обычаю старого времени. Она крестила каждый предмет моего одеяния, пришивала крошечные кусочки хлеба и соли, зашитые в ладонку, клала червонцы в мои туфли.

Я была покойна, а по горлу скатывались слезы, тихие и счастливые.

Траура по Ванечке никто не носил, ни одного дня. Мамочка надела на свадьбу кирпичное кашемировое платье, сестры — белые, какие были; тетя Манечка — черное бархатное с гранатовой брошкой на вороте.

Меня благословили, в нашей зале, бабушка и родители. Я стояла и кланялась в землю перед ними уверенно, лишь коленки мои изменили мне, когда я вставала перед иконой в мамочкиных руках. Я зашаталась

и нашла опору на ее плече, по моей щеке лились ее и мои счастливые слезы.

Сашин брат, Сережа, приехал за мной с чудным букетом.

Милая тетя Манечка, последняя, перекрестила меня, отпуская на всю жизнь из дорогих Толмачей.

Ехала я в церковь в карете с мамочкой, сестрой Сашей и Мишей, несчастным оставшимся братом, который «вез» образ, не понимая важности этой минуты.

Отец мой, при входе в церковь, когда запел хор встречу мне, взял меня под руку, нежно прижал мой локоть, довел меня до половины церкви и поставил на левой стороне.

Помню, как во всем моем беспредельном счастье, мне захотелось взглянуть на Сашу, какой у него сегодня вид. Я обернулась и, увидав его, стоящего далеко направо — поразились снова его оригинальной красотой. Стоявший сзади меня, мой кузен Николай Александрович Алексеев, шепнул мне в ухо: «Видишь, Веруша, не сбежал». Тут же увидела дядю Сатина, Сашиного посаженного отца и Федора Ивановича Буслаева и подумала, что его присутствие принесет нам счастье.

Через минуту отец Дмитрий Васильевич привел Сашу ко мне, держа его руку эпитрахилью и, взяв и мою руку так же, повел нас вместе к аналою в середине церкви. Он, со своим умным, добрым, «византийским» лицом, со своими стройными, музыкальными возгласами и тихими, проникновенными словами, любя Сашу, благословлял нас, чувствовалось, от всего сердца, от всей души.

Хор пел художественно-стройно, почти вполголоса. Тускло мигали свечи, в полутьме церкви пение разносилось по сводам, как-будто голоса каких-то неземных существ. Особенно «Отче наш» оставило на нас обоих впечатление, которое мы часто вспоминали.

Когда мы становились на разостланную перед нами полосу розового атласа, я сознательно подождала и дала Саше ступить первому, чтобы, согласно старой примете, дать ему первенство в нашей будущей семье.

А когда нас водили вокруг аналоя и пели «Иссайя ликуй», перед третьим разом, Сережа Зилоти, державший над Сашей венец, шепнул мне: «Верушка, еще можешь отказаться, время есть». — «Нет, ни за что», — счастливая ответила я ему.

По окончании обряда отец Димитрий Васильевич благословил нас крестом, поздравил и поизнес тихим голосом: «Любите друг друга», — трогательно и красиво.

Так как Толмачевский дом считался еще зараженным, то из церкви поехали мы в отель, имени которого я не помню, выбранный моими родителями, где-то около Никольского проезда.

Совсем не помню, кто именно был с нами, кроме самых близких нам обоим.

Осталось дорогим воспоминанием, как сердечна, трогательна в своей простоте была ко мне сестра Саша, подруга всей моей девичьей жизни.

Глава XXXVIII

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В МОСКВЕ

На следующий день пришел к завтраку Сережа Зилоти, Сашин любимый брат, с которым они выросли, будучи погодками, как выросли мы с сестрой Сашей.

Днем мы к первому поехали к Николаю Сергеевичу Звереву. Он пересилил себя, был любезен и ласков. Об Анне Сергеевне и говорить нечего. Ласковее ее и быть невозможно. Была суббота, и Николай Сергеевич пригласил нас на следующий день, к обычному у них воскресному обеду, в 4 часа. От Зверева мы заехали к маме Юлии Аркадьевне и обедали в Толмачах, в семье. Через несколько дней переехали мы из неуютной гостиницы, в более уютный «Славянский Базар», на Никольской, с чудесным рестораном. Саша любил в те времена холодный кровавый ростбиф. Мамочка, заехавшая к нам как-то утром, долго смотрела как Саша, перед утренним кофе уплетал кусок за куском. Приехавши домой, рассказывает она тете Манечке и прибавляет: «Господь с ним, пусть его кушает». Эти слова остались на всю жизнь поговоркой у нас в доме.

Зашла к нам в Славянский Базар, со мною познакомится, «Нютка», Анна Ивановна Страхова, Сашина товарка по Консерватории, жившая тоже долго у

Зверевых и дружившая с Анной Сергеевной. Мы с ней сразу сошлись. Она стала мне верным, любящим другом.

У Зверева мы обедали каждое воскресенье, покуда оставались в Москве, и перевидали многих его учеников, бывших и настоящих. Приезжали мы к обеду всегда заранее. Как-то Николай Сергеевич окончив урок, привел с собой в гостиную маленького кадетика, очень скромного, симпатичного, лицом напоминавшего лягушечку, это был четырнадцатилетний Саша Скрябин. Он нам сыграл скерцо h-moll Шопена, а затем свой собственный этюд cis-moll, только что им сочиненный.

Часто Николай Сергеевич заставлял кого-нибудь из учеников играть нам, то Сережу Рахманинова, то Лелю Максимова, то Самуельсона, то Кеннемана. Вся молодежь оставалась у него обедать. Стол накрывался человек на двадцать пять. Еда была первоклассная в простоте и изобилии. Бывали щи с кашей или борщ с ватрушками, рубленные котлеты с разной зеленью, огурцами и соленьями и традиционный песочный пирог с абрикосовым вареньем.

С Николаем Сергеевичем установились у нас чудесные отношения, с дразнением и колкостями, не от злого языка, но от доброго сердца. Он как-то рассказал мне, что перед нашей помолвкой приехал к нему Павел Михайлович, спросить, почему Зилоти женится на его дочери? «Я ответил, что не знаю почему, но знаю, что не на деньгах». Павел Михайлович поблагодарил и прибавил, что именно это подтверждение ему хотелось слышать от него, учителя и воспитателя Зилоти.

Павел Михайлович чрезвычайно уважал Николая Сергеевича, за всю его деятельность, которую высоко ценил. Гораздо позже, после смерти обоих, узнали мы случайно, что отец мой ездил навещать больного Зверева. Как-то нашел его дающим урок, в гостиной.

Он лежал на полу, на матрасе, рядом с фортепиано. Сраженный тем, что видел, участливо расспрашивал больного о его работе и зарплате и, вернувшись домой, послал Николаю Сергеевичу чек, дававший ему возможность «отдохнуть» и не давать уроков. Николай Сергеевич скончался в октябре 1893 года, от рака желудка.

Бывали мы часто вечерами у Буслаевых. Жена его Людмила Яковлевна и свояченица его, Фаена Яковлевна, были очень некрасивые, очень милые — и обожали Сашу, полюбили и меня. Федор Иванович баловал нас своей лаской и своими беседами, всегда такими интересными. Всё вспоминал нашу свадьбу. Как Саша стоял, улыбаясь, а я «порхала» около него в церкви, во время поздравления. Я могла это слушать без конца, как выражение любви Федора Ивановича к нам.

Несколько раз обедали мы у Сатиных. У них мы чувствовали себя совсем своими, какими остались, более чем через полвека, и сейчас. Дети их, все четверо были очень симпатичны, особенно их старший сын Саша, с которым я очень подружилась, живя в их Тамбовском имении Ивановке. Саша был — само очарование, сама тонкость, сама доброта и сама деликатность.

Встретили мы там учителя детей Григория Львовича Грауэрмана. Он был керченский уроженец, врач, окончивший университет в Москве. Лицо южанина, волосы — вороньего крыла, глаза — кишмиш. Очаровательная улыбка смягчала и освещала лицо нашего будущего долголетнего друга. Тогда он пел довольно зычным баритоном и знал всю «романсную» и оперную литературу наизусть.

Ежедневно заезжали мы днем к маме Юлии Аркадьевне. Обедали обычно в Толмачах. Там, по вечерам, Саша часто играл в утешение моим родителям.

Из моих родных бывали мы и обедали запросто, вместе с моей семьей, у бабушки Александры Даниловны, которая жила всё в том же «Ильябыденском» доме, лишь перестроенном, вместе с дядей Яшей и тетей Надей Гартунг.

Петра Ильича в городе не было. Я уже упоминала, что он уехал после Рождества в Италию.

Несколько раз виделись с Сергеем Ивановичем Танеевым, удивительно умным и симпатичным.

Несколько недель в Москве пролетели быстро, и пришла пора собираться нам в путь-дорогу, чтобы поскорее Саше начать работать, готовить репертуар для будущего сезона.

Наградили меня, против моего желания, старой мамочкиной «Каммерюнгферой» Линой Карловной, той самой, которая, первая, взяла меня на руки после моего рождения. Нашили мне всего слишком много. Я ужаснулась куче нашего багажа. Но мамочка так желала, и я покорилась.

Все мои, каждый по своему, радовались нашему счастью. Обе матери баловали меня своими ласками и советами, а я их любила, ими гордилась, ими, такими красавицами, такими музыкальными и такими чудесными. Они обе были идеальным типом русских женщин, и такими непохожими друг на друга. Между ними и мной не было никогда ни малейших недоразумений и храню я память их с великой любовью и нежностью.

Из Толмачей всего грустнее мне было уезжать от тети Манечки. Мои родители и сестры ездили за границу часто и обещали то и дело меня навещать. Тетя Манечка за границей никогда не была, и я знала, что ко мне не приедет; Толмачей, с их многочисленными жителями, покинуть не сможет. В минуты нахлынувшей тоски расставания Саша говорил мне: «А ты думай, что ты не от них едешь, а со мной едешь».

Выехали мы на 6-ой неделе Великого Поста. Уезжала я такая счастливая, что и описать было бы невозможно: уезжала с Сашей Зилоти, «in die grosse Welt», как сказал Гёте, помнится, во второй части своего Фауста.

Июль, 1939.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Предисловие проф. М. Карповича	7
От автора	13
Глава 1. Первые воспоминания	17
Глава 2. У Николы в Толмачах	23
Глава 3. Наши Толмачи	29
Глава 4. Третьяковы	45
Глава 5. Разгуляй	65
Глава 6. Наше детство	83
Глава 7. От детства к отрочеству	99
Глава 8. В родительском доме	109
Глава 9. Галерея	115
Глава 10. Наше отрочество	125
Глава 11. Кисловка и Введенское	131
Глава 12. Кунцево	137
Глава 13. Художник Риццони	145
Глава 14. Крым	149
Глава 15. Максимов и Крамской	153
Глава 16. Знакомство с Чайковским	161
Глава 17. Коншины	173
Глава 18. Концерт Рубинштейна	179
Глава 19. Смерть Николая Григорьевича	183
Глава 20. Лето в Куракине	189

	Стр.
Глава 21. Мамонтовская платформа	199
Глава 22. <i>Наши художники</i>	
В. Г. Перов	209
В. Г. Маковский	212
И. Е. Репин	216
В. М. Васнецов	221
В. И. Суриков	225
Н. Н. Ге	230
В. В. Поленов	233
В. В. Верещагин	236
Глава 23. Знакомство с Л. Н. Толстым	245
Глава 24. Всероссийская выставка на Ходынском поле	251
Глава 25. Концерты Музыкального Общества ...	255
Глава 26. Зилоти	261
Глава 27. Поездка за границу	269
Глава 28. Снова дома	283
Глава 29. Письмо от Зилоти	287
Глава 30. Моя болезнь	293
Глава 31. Смерть Листа. Поездка за границу.....	303
Глава 32. Согласие отца	311
Глава 33. Обручение	317
Глава 34. Сашина семья	325
Глава 35. Ванечка	329
Глава 36. Смерть Ванечки	335
Глава 37. Моя свадьба	339
Глава 38. Последние дни в Москве	343

Цена: \$2.75



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью - Йорк